



А К В И Л О Н

RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
INSTITUTE OF WORLD HISTORY

**PROFESSIONAL HISTORIOGRAPHY
AND HISTORICAL MEMORY**

EXPERIENCE OF INTERACTION AND INTERSECTION
IN THE COMPARATIVE HISTORICAL PERSPECTIVE

2017

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ

**ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ
И ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ**

ОПЫТ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

2017

УДК 930
ББК 63.3
П 84

РЕЦЕНЗЕНТЫ

доктор исторических наук В.С. Мирзеханов
кандидат исторических наук А.Г. Васильев

Издание подготовлено при поддержке
Программы фундаментальных исследований Президиума РАН
«Механизмы формирования исторической памяти в обществе
и принципов исторической политики»

**Профессиональная историография и историческая память:
опыт пересечения и взаимодействия в сравнительно-
исторической перспективе** / Под ред. О.В. Воробьевой,
О.Б. Леонтьевой. — М.: Аквилон, 2017. — 256 с.

Сборник посвящен осмыслению способов взаимодействия профессиональной историографии и исторической памяти в широком интеллектуальном, политическом и культурном контекстах, а также роли этого взаимодействия в формировании национальной идентичности. Авторы исследуют историописание как одну из форм репрезентации исторической реальности и конструирования исторической памяти, выявляют причины глубокой укорененности национальной модели в историографической практике и прослеживают эволюцию этой модели в современном мире, в условиях становления транснациональных идентичностей. Издание посвящено юбилею главного научного сотрудника Института всеобщей истории РАН, профессора, члена-корреспондента Российской академии наук, Президента Российского общества интеллектуальной истории Лорины Петровны Репиной.

Для историков, культурологов и всех, интересующихся проблемами современного исторического знания.

ISBN 978-5-906578-27-3



А К В И Л О Н

© О.В. Воробьева, О.Б. Леонтьева,
общая редакция, составление, 2017
© Коллектив авторов, 2017
© Издательство «Аквилон», 2017

*Репродуцирование (воспроизведение) данного издания любым способом
без письменного соглашения с издателем запрещается*

ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Проблема взаимодействия истории и памяти, поставленная во второй половине XX века классиками мемориального поворота, приобрела новые оттенки в конце XX – начале XXI века в связи с очередным витком активизации исторической политики. Одним из ее направлений является использование хорошо знакомых версий национальных историй в качестве инструментов для манипулирования исторической памятью и достижения определенных политических целей. В этой ситуации особую актуальность приобретает изучение разных способов «присвоения прошлого», в том числе взаимосвязей между профессиональной историографией, национальной идентичностью и коллективной памятью, с тем чтобы, вскрыв властную природу исторических концептуализаций, понять причины устойчивости национального дискурса и разработать стратегии критики национальной историографии и исторического образования.

В контексте злободневности этой темы Президиумом РАН была предложена Программа фундаментальных исследований «Механизмы формирования исторической памяти в обществе и принципов исторической политики», в рамках которой был задуман проект «Профессиональная историография и национальная память: опыт пересечения и взаимодействия в сравнительно-исторической перспективе». Его основной задачей стало осмысление способов взаимодействия профессиональной историографии и исторической памяти в широком интеллектуальном, политическом и культурном контекстах, а также роли этого взаимодействия в формировании национальной идентичности. Таким образом, тема поддержки различных форм национализма посредством исторических текстов сыграла в этом проекте особую роль. Первоначальным вызовом для национальных историографий стала, конечно, Европа. Тем не менее нам до сих пор мало что известно о взаимосвязи историографических традиций и формировании национальных идентичностей за пределами крупных европейских государств. Преодоление европоцентризма и стремление расширить европейскую перспективу за счет других частей света придали этой проблеме транснациональную

перспективу и поставили много новых вопросов: о способах культурно-историографического трансфера, преемственности и пересечении более древних и современных национальных повествований, способах репрезентации нации в различных исторических культурах и т.д. Поиски ответов на эти вопросы интересны тем, что способны раскрыть механизмы и условия властного дискурса о национальной идентичности и лежащих в его основе исторических повествований.

В отечественной историографии осмысление и актуализация проблематики исторической памяти связаны с деятельностью главного научного сотрудника Института всеобщей истории РАН, профессора, члена-корреспондента Российской академии наук, Президента Российского общества интеллектуальной истории Лорины Петровны Репиной. Будучи ведущим специалистом в области современной историографии и методологии истории, Л.П. Репина часто обращается к проблемам развития теоретических и конкретно-исторических исследований социальной и культурной памяти. В своих трудах она исходит из того, что совершившийся на рубеже XX-XXI вв. «мемориальный поворот» – поворот исторической науки к проблемам изучения памяти – стал не просто еще одним шагом в череде методологических поворотов и эпистемологических новаций нашего времени, но и симптомом серьезных перемен в самом статусе исторической науки и социогуманитарного знания в целом. Изменился сам образ исторической науки, иными стали представления о ее познавательных возможностях и о роли ученого в процессе познания прошлого: пришло понимание, что историческая наука является частью исторической культуры, исторического сознания общества, и в этом качестве она неразрывно связана с проблемами формирования коллективной идентичности общества. Как подчеркивает Л.П. Репина, обращение ученых к изучению исторической памяти – то есть к вопросу о том, как формируются представления об общем прошлом в культуре социума, – привело к существенному расширению «территории историка»: выйдя за дисциплинарные пределы историографии, ученые вступили на новое исследовательское поле – *истории исторической культуры*. Осознание, что историк интерпретирует прошлое, будучи погружен в свою культурную среду и исходя из концептуальных предпосылок своего времени, поставило на повестку дня необходимость теоретической рефлексии научного сообщества

над собственной историографической практикой и профессиональной этикой; работы самой Л.П. Репиной, с их неизменно глубоким и точным анализом историографической и социокультурной ситуации, являются ярким примером такой рефлексии.

Отличительной особенностью современной научной ситуации часто называют наличие неформальных коммуникативных структур, сообществ, объединяющих ученых-единомышленников поверх институциональных и дисциплинарных границ. Являясь активным членом международных объединений историков (Международного общества интеллектуальной истории, Совета Международного Конгресса исторических наук и др.), Лорина Петровна Репина успешно работает над созданием таких структур и в отечественном научном пространстве. Самый яркий тому пример – Российское общество интеллектуальной истории, чьим организатором и президентом она является с 2001 года. Научная интуиция, помноженная на талант общения и человеческое обаяние, позволяет Лорине Петровне создавать широкие сети межрегиональных и междисциплинарных взаимодействий, аккумулировать научные силы вокруг общих задач. Л.П. Репина стала инициатором целого ряда ярких проектов, направленных на изучение исторической памяти и культуры историописания: под ее руководством была осуществлена подготовка и издание таких коллективных монографий, как ««Цепь времен»: Проблемы исторического сознания» (М., 2005); «История и память: Историческая культура Европы до начала Нового времени» (М., 2006); «Время – История – Память: историческое сознание в пространстве культуры» (М., 2007); «Диалоги со временем: Память о прошлом в контексте истории» (М., 2008); «Образы времени и исторические представления: Россия – Восток – Запад» (М., 2010); «Кризисы переломных эпох в исторической памяти» (М., 2012), и других. Эти коллективные труды – как и постоянная рубрика «История, память, идентичность» в альманахе «Диалог со временем», главным редактором которого является Л.П. Репина, – сыграли важную роль в формировании интеллектуальной повестки современной отечественной историографии: они привлекли внимание научного сообщества к проблематике исторической памяти, сформировали у читателя, в том числе молодых специалистов, представление о возможных аспектах изучения этой пробле-

матики, о разнообразии подходов к ее разработке, о дискуссионных проблемах и неизведанных научных маршрутах.

Задача настоящего сборника, посвященного юбилею Лорины Петровны Репиной, – в том, чтобы дополнить имеющиеся исследования исторической памяти изучением исторического опыта взаимодействия и пересечения между профессиональной историографией и национальной памятью, осмыслить многосложную контекстуальную обусловленность этого взаимодействия в сравнительно-исторической перспективе и в режиме *longue durée*: от средневекового историописания, выступающего в качестве «прелюдии», – к апогею и кризисам национальной историографии в XIX–XX вв., и далее, до возникновения постнеклассического национального повествования на рубеже XX–XXI веков. В первой части данного коллективного труда рассматриваются общие теоретические вопросы взаимосвязи исторической науки, исторической памяти и коллективной идентичности; во второй части проводится содержательный анализ условий, форм и стратегий переплетения профессиональной историографии и исторической памяти на конкретном материале стран, в том числе неевропейских, где национальные истории развивались как антиколониальные. Обсуждение этих проблем, как надеются авторы сборника, позволит уточнить способы взаимодействия между профессиональным и непрофессиональным знанием в деле формирования национацентричной, региональной и – шире – континентальной идентичности; осмыслить пути влияния профессиональных исторических повествований на процессы конструирования коллективной идентичности и принятие политических решений; проанализировать условия успешности/провалов проектов моделирования памяти посредством историзации отношения к прошлому; и, наконец, скорректировать исследовательский инструментарий и понятийный аппарат изучения исторической памяти.

ИСТОРИЯ И ПАМЯТЬ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ

О.В. Воробьева

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ: АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ*

Проблема взаимодействия истории и памяти имеет множество аспектов. Историки давно обратили внимание на такие проблемы, как дискурсивные стратегии памяти, коммомеративные практики, способствующие сохранению и трансляции памяти, на взаимодействие в триаде история/память/политика и другие. Одним из наиболее важных, но на данный момент менее всего разработанных аспектов этой проблемы является взаимодействие исторической памяти и профессиональной историографии в режиме долгого времени, то есть начиная от возникновения профессионального историописания и до современных нам исторических повествований. Причиной актуализации этой проблемы является понимание того, что историки не отражают историю такой, какой она была на самом деле, а интерпретируют ее и тем самым конструируют прошлое. Известный французский историк Б. Гене писал по этому поводу следующее: «Социальная группа, политическое общество, цивилизация определяются, прежде всего, их памятью, то есть их историей, но не той историей, которая была у них в действительности, а той, которую сотворили им историки...»¹.

* Статья написана в рамках проекта «Профессиональная историография и историческая память: опыт пересечения и взаимодействия в сравнительно-исторической перспективе» Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Механизмы формирования исторической памяти в обществе и принципов исторической политики». В иной редакции данная статья вышла: Преподаватель XXI век. 2015. Т. 2. № 4. С. 240-250.

¹ Гене Б. История и историческая культура средневекового Запада. М., 2001. С. 19.

Например, в XIX веке, в условиях завершения процесса формирования европейских наций, практически во всех европейских странах историография служила задачам нациостроительства, сосредотачиваясь на производстве национального дискурса и формировании с его помощью национальной идентичности – процесса, в свою очередь глубоко увязанного с исторической памятью, ибо история той или иной общности людей (как разделяемая ими версия коллективного прошлого) является таким типом памяти, который имеет особое значение для групповой идентификации в настоящем. Особенно ярко этот процесс протекал в Германии и в странах к востоку от нее, то есть в тех странах, которые всеми силами пытались установить свою национальную идентичность и получить независимость. Если говорить словами Б. Андерсона, националистический импульс заставил историков сначала придумать обитающее на некоей территории сообщество людей, чтобы затем заняться поисками в его прошлом подходящих и вдохновляющих факторов, способных оправдать его формирование, узаконить его существование, стимулировать и усилить среди его представителей стремление к единению и родству².

С этого момента серьезное внимание стало уделяться собиранию и изданию средневековых источников, призванных стать основой для создания именно национальных историй. Явную националистическую ориентацию имел начатый в 1819 г. немецкий проект по изданию «Исторических памятников Германии». Средние века отныне рассматривались немецкой историографией как пик развития германской истории, когда выдающуюся роль в Европе играла Священная Римская империя, предшествовавшая разделу Германии. К середине XIX века подобные проекты начали осуществляться и в других европейских странах – от Испании до Великобритании и Скандинавии. Как справедливо заметила Л.П. Репина, «зафиксированные коллективной памятью образы событий в форме различных культурных стереотипов, символов, мифов» выступали отныне как «интерпретационные модели, позволяющие индивиду и социальной группе ориентироваться в мире и в конкретных ситуациях»³.

² *Anderson B.* Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. New York, 1991.

³ *Репина Л.П.* Культурная память и проблемы историописания (историограф. заметки). Препринт WP6/2003/07. М.: ГУ ВШЭ, 2003. С. 10.

Аналогичные процессы чуть позже начали происходить и в бывших колониальных странах. Так, рост национализма на Ближнем Востоке в XIX веке проявился в попытках исламских историков найти и идентифицировать себя с культурным и историческим наследием (обычно до-исламских времен), соответствующим их воображаемому национальному прошлому. В Египте примером подобной интенции может служить работа Рифаа ат-Тахтави «История Египта», в которой он во всеуслышание объявил о том, что, в отличие от других культур, египетская культура блистает уже на протяжении столетий. В самом своем начале, «во времена фараонов он (Египет) стал колыбелью для всех народов мира». Во времена последовавшего за этим греко-римского периода он сохранил свое культурное развитие и превратился в научный центр всего древнего мира, а после появления ислама – в полюс исламской культуры и помог распространению цивилизации в Европу. Даже в его собственное время, полагал ат-Тахтави, Египет сохранил свою силу и славу, свидетельством чего стала его победа над французами в начале XIX века и решительное продвижение вперед во главе с Мухаммедом Али⁴.

Сходные попытки предпринимали османы, сирийцы, тунисцы и персы. Иракские историки, например, именно тогда по-настоящему осознали свое ассирийское прошлое, тунисцы сделали ставку на прошлую славу карфагенян, ливанцы обратились к достижениям финикийцев; персидские историки попытались отделить Персию от исламской традиции и превознести ее как многоязычную и полиэтническую империю древнего мира, а зороастрийскую мифологию – как квинтэссенцию иранской культуры, воплощающую национальный «дух и характер» современного Ирана⁵. Намного труднее в создании национально-ориентированного исторического нарратива пришлось туркам, поскольку их знания о ранней турецкой истории оказались весьма фрагментарными, если не сказать больше. Поскольку османы считали себя законными исламскими правителями мусульманской империи и наследниками великих правителей мусульманского прошлого, их историки уделяли мало внимания до-исламской истории турок и Турции.

⁴ См.: Reid D.M. *Whose Pharaohs? Archaeology, Museums, and Egyptian National Identity from Napoleon to World War I*. Berkeley, CA, 2002. P. 108-110.

⁵ См.: Tavakoli-Targhi M. *Refashioning Iran: Orientalism, Occidentalism and Historiography*. Basingstoke, 2001. P. 96-104. «Иран» в качестве официального названия государства появился не раньше 1935 г., хотя до этого население уже использовало это слово для обозначения своей страны.

Но и турецкие историки (Али Суави ('Alī Su'āvī, 1839–1878)⁶ и Сулейман Паша (Süleymān Pasha, ?–1892)⁷) стали прикладывать усилия к тому, чтобы проследить истоки до-исламской турецкой истории и военного искусства ранних турок⁸. Следует отметить, что вплоть до последней трети XX века, а именно до появления постколониальной критики и очередной волны панарабизма и исламского фундаментализма, националистический дискурс оставался ведущим⁹.

Но, пожалуй, самым показательным примером может служить история Индии и сложный процесс формирования индийской идентичности. Г. Иггерс так сформулировал эту проблему: «придуманная нация: синтез Неру»¹⁰. Это конструирование индийской идентичности и нации посредством историографии началось еще в XIX веке, когда индийские историки, возмущенные заявлениями британских колонизаторов о том, что у них якобы нет исторического чувства и Индию нельзя рассматривать как единое государство, приступили к такому синтезу. Кстати, они довольно быстро осознали роль профессиональной историографии в этом деле. В частности, Р.Ч. Датт, автор трехтомного труда по Древней Индии, был уверен, что «в вопросе формирования национального сознания и национального характера ни одна дисциплина не обладает столь мощным потенциалом воздействия, как критическое и внимательное изучение исторического прошлого страны»¹¹. Как заявил историк-романист Банкима Чандры Чаттерджи: «У нас нет истории! Нам нужна история!» «Кто напишет такую историю?» – спрашивал он, – «Ты ее напишешь, я ее напишу, все напишут такую историю»¹².

⁶ Али Суави (Ali Suavi) (1838–20.V.1878, Стамбул) – турецкий писатель, журналист, общественный деятель, один из основателей и руководителей «Новых Османов».

⁷ Сулейман Паша (1838–1892) – государственный деятель, писатель, герой Шипки и преподаватель Дарульфуруна.

⁸ Lewis B. *Emergence of Modern Turkey*. L., 1968. P. 336; Kura E. *Ottoman Historiography of the Tanzimat Period* // Lewis B., Holt P.M. (ed.) *Historians of the Middle East*. Oxford, 1962. P. 426–427.

⁹ См.: Иггерс Г., Ван Э. Глобальная история современной историографии. М., 2012. С. 368–390.

¹⁰ Там же. С. 268.

¹¹ Цит. по: Gottlob M. (ed.) *Historical Thinking in South Asia: A Handbook of Sources from Colonial Times to the Present*. New Delhi, 2003. P. 27.

¹² Цит. по: Lal V. *The History of History: Politics and Scholarship in Modern India*. New Delhi, 2003. P. 41.

Таким образом, написание национальной истории Индии, начиная с XIX века, стало настоящим национальным проектом.

На самом деле синтезов было три. *Первым вариантом* воображения нации был индусский. В статьях историков этого поколения история Индии – это история индусов, потомков доблестных ариев, а приход мусульман прервал естественный ход истории и все последующие усилия индийского народа якобы были направлены на восстановление этого единства. Основой этого образа была уже упоминавшаяся арийская теория с опорой на древнюю ведическую традицию, а непосредственным продолжением блистательной ведийской эпохи было время героев Рамаяны и Махабхараты. Затем следовала не менее славная эпоха Маурьев, после чего началось нашествие варваров-мусульман с последующим появлением кастовой системы, падением морали, подлинной религии и т.д. – таковы истории Индии, написанные Б.Г. Тилаком («Скрытое значение Гиты»), Ч. Басу («Хиндутва. Подлинная история индусов»), Р.К. Мукерджой («Фундаментальное единство Индии»), В.Д. Саваркар («Хиндутва, или кто является индусом»), М.С. Голвалкар и другими авторами. Показательна риторика этих трудов: «индусы – прямые потомки доблестных ариев, с самого начала времен, *еще до того, как Запад научился есть жареное мясо вместо сырого* (курсив мой. – О.В.), были единой нацией с общей родиной... Хиндустан жил в бесконечной славе и могуществе тысячи лет и распространял свое духовное и культурное величие на весь мир – от Мексики до Японии»¹³. Интересно, что М.С. Голваркар пытался доказать, что арии были не пришельцами, а коренным населением Индии. Просто северный полюс, где ранее проживали арии, сначала находился на территории Индии, а потом сместился¹⁴.

Вторым вариантом воображения нации был мусульманский вариант, только теперь на место индусских героев пришли герои империи великих Моголов: «Подумайте на минуту, кто вы такие? Что представляет собой наша нация? Мы – те, кто правил Индией на протяжении шестисот или семисот лет. Из наших рук английское правительство получило это страну. Неужели правительство так глупо, что предполагает, будто за семьсот лет мы забыли наше величие и нашу империю. *Мы не питаемся одной рыбой и не отка-*

¹³ Цит. по: Ванина Е.Ю. Индия: история в истории. М., 2014. С. 167.

¹⁴ Там же.

зываемся пользоваться ножом и вилкой в страхе порезать пальцы (курсив мой. – О.В.). Наша нация одной крови с теми, кто заставил трепетать не только Аравию, но уже и Европу с Азией. Это наша нация создала Индию», – писал Сайид Ахмад-хан в своей книге о причинах индийского восстания 1857 г.¹⁵

Постколониальное индийское правительство продолжило свою работу в деле нациостроительства. В своей инаугурационной речи на Всеиндийском историческом конгрессе президент Раджендра Прасад заявил, что «правдивая и полная история славного и далекого прошлого нужна Индии не меньше, чем история ее уникальной и беспрецедентной борьбы, в результате которой Индия вновь оказалась на карте мира»¹⁶. В этом деле индийцам очень помог Д. Неру, первый премьер-министр страны и уважаемый историк. В книге «Открытие Индии» (*The Discovery of India*, 1946), написанной в тюрьме в то время, когда независимость Индии была уже неминуема, Неру вплотную подошел к понятию индийской нации и сущности того, что значит быть индийцем, и предложил *третий вариант* определения Индии и индийскости; его Индия представляла собой «пергаментную рукопись, с которой со временем был стерт первоначальный текст и один за другим наносились все новые и новые слои (palimpsest); однако нанесенные на нее слои за слоем мысли и чаяния не были скрыты или стерты полностью»¹⁷. В результате получилась «синтезированная», но не «сплавленная» культура со своей собственной национальной и даже шире – цивилизационной идентичностью. Применение теории палимпсеста во временном измерении подразумевало то, что в индийской истории не могло быть таких периодов, которые можно было бы считать неуместным вмешательством в однородное течение истории коренного населения – а именно такие, якобы исключаящие все «чужеродное», границы прошлого националисты-индуисты пытались изобразить в качестве доминантной черты Индии.

Еще раз подчеркну, что создаваемая национальной воображением и для его подпитки историография неизбежно становилась телеологичной, поскольку историки пытались проследить и зафиксировать формирование своей нации в отдаленном прошлом для пре-

¹⁵ Там же. С. 175-176.

¹⁶ Цит. по: *Lal V. The History of History: Politics and Scholarship in Modern India*. New Delhi, 2003. P. 82.

¹⁷ *Nehru J. The Discovery of India*. Oxford, 1988. P. 58.

образования существующей культурной традиции и формирования новой исторической памяти. При этом задачей было не просто зафиксировать истоки своей нации, но и превознести ее, изобретая для этого всевозможные способы. Например, в начале XX века все китайские историки пытались доказать, что представители китайской расы являются не коренным населением современного Китая, а переселенцами из Центральной Азии, а именно из Халдеи, откуда они вышли примерно пять тысяч лет назад¹⁸. Другими словами, они попытались связать происхождение китайской цивилизации с колыбелью человечества. Интересно, что в 20-е гг. XX века турецкие историки для повышения своей национальной самооценки также пытались апеллировать к этому региону, только теперь уже как к колыбели древнетурецкой культуры¹⁹. Показательно, что для обоснования своей точки зрения историки активно прибегали к мифам. Например, корейские историки ввели в профессиональную историографию миф о Тан Гуне – легендарном основателе корейского народа, а китайские – легенду о Желтом императоре, мифическом прародителе китайского народа²⁰. И если китайская историография впоследствии отказалась от использования этого мифа в профессиональном дискурсе, то корейские историки и сегодня эксплуатируют этот миф.

Другими словами, претендуя на научность, пытаясь отделить историю от ее легендарно-мифологических трактовок и предлагая новую версию истории, историки, по сути, создавали новый миф. Это не значит, что они сознательно искажали информацию, предоставляли неточные сведения или использовали их некритично. Это означает, что у историков, как, впрочем, и у других агентов исторической памяти, существуют внешние ограничители, накладываемые обществом, культурой и требующие обязательного и внимательного изучения.

Между тем следует отметить, что в отличие от других агентов и хранителей исторической памяти, не менее идеологически и культурно ангажированных, профессиональная историография все же наце-

¹⁸ Смотри об этом: *Wang Q.E. China's Search for National History // Wang Q.E., Iggers G.G. Turning Points in Historiography: A Cross-cultural Perspective. Rochester, 2002. P. 185-203.*

¹⁹ *Vryonis S.J. Turkish State and History: Clio meets The Grey Wolf. Thessaloniki, 1991. P. 70-77.*

²⁰ См.: *Иггерс Г., Ван Э. Глобальная история современной историографии. М., 2012. С. 49; Gu J. The Autobiography of a Chinese Historian. Leyden, 1931.*

лена на решение совсем иных задач, в том числе – на противостояние социально мотивированным ложным истолкованиям прошлого, не способным пройти проверку научным исследованием. Выявлению социального заказа и общественного спроса, в том числе, может помочь анализ эволюции жанров историографии и типов исторических нарративов. Например, негативное отношение к аннало-биографическому жанру в Китае росло одновременно с упадком и прекращением традиционной для китайской историографии задачи изображения политической лестницы и легитимности существующей династии в условиях противостояния западному влиянию, а быстрый рост исследований по исторической географии отражал растущее беспокойство китайцев по поводу посягательств иностранных государств на китайские границы. Задача историографии по поддержанию существующего морального и политического порядка не устраивала в это время и Японию, пытающуюся отлучиться от синтоистского мира и приспособиться к западному влиянию. В результате прежняя задача историописания была заменена на новую – продвижение нации по пути цивилизации, превращение себя в азиатского лидера и уравнивание себя с Западом. Однако чтобы стать Западом, Япония должна была найти свой Восток, что и проявилось в ее бурном интересе к азиатской истории. Кроме того, принятие западного стиля историописания необходимо было увязать с собственными японскими элементами прошлого, доказав их естественность и преемственность. В результате в конце XIX века японскими историками был вытеснен из небытия третий жанр историописания (помимо аннало-биографического жанра и хроники), использовавшийся якобы задолго до прихода европейцев – жанр исторической дискуссии, направленный на решение этих проблем²¹. Наконец, существенное различие между профессиональной историографией и другими способами фиксации и трансляции исторической памяти заключается в том, что историк «может вновь открыть то, что было полностью забыто, забыто в том смысле, что никаких свидетельств о нем не дошло до нас от очевидцев. Он даже может открыть что-то, о чем до него никто не знал. Это он делает, частично обрабатывая свидетельства, содержащиеся в его источниках, частично используя так называемые неписьменные источники...»²².

²¹ *Иггерс Г., Ван Э.* Глобальная история современной историографии. М., 2012. С. 163-164.

²² *Коллингвуд Р. Дж.* Идея истории. Автобиография. М., 1980. С. 27.

Я подробно остановилась на этих примерах, потому что они, как призма, высвечивают многие аспекты и проблемы взаимодействия профессиональной историографии и исторической памяти.

Прежде всего, из сказанного становится очевидным, что историческая память является дифференцированным и изменчивым феноменом, она постоянно обновляется, воспроизводится, проверяется, трансформируется, в том числе при помощи историографии. Особенно заметным этот процесс становится в периоды крупных социальных сдвигов, политических катаклизмов, которые дают мощный импульс к изменению восприятия образов и оценке значимости исторических лиц и исторических событий. Одним из первых это блестяще продемонстрировал Ж. Дюби в своей знаменитой книге «Бувинское воскресенье. 27 июля 1214 г.» (1973). Через анализ одной-единственной битвы он фактически показал не только специфику отношения к войне в XII–XIII веках, но и роль времени/памяти в интерпретации этого события: в XIV веке, когда французский король стал союзником императора Священной римской империи, о Бувинском воскресенье благополучно забыли и вспомнили лишь в 1870-м, после поражения французов в битве при Седане, сделав это событие способом «подогревания» французского патриотизма²³. Впоследствии о роли времени/памяти в осмыслении события писали Пьер Нора, П. Рикер, Мишель де Серто, Ф. Досс и др., показывая тесную зависимость событийной маркировки на шкале времени от историка и от опыта действующих лиц (Р. Козеллек)²⁴. «События, которые являются значащими по одному <временному> коду, не остаются таковыми по другому», – соглашался с Р. Козеллеком К. Леви-Стросс²⁵. Одно и то же событие может восприниматься или не восприниматься в качестве такового современниками события и потомками/историками. И это естественно, потому что, в отличие от современников, историк обладает другой перспективой – «он знает, что случилось потом» (И.М. Савельева, А.Н. Полетаев), он способен соотнести происходящее с определенным социально-историческим контекстом и усмотреть в происшедшем качество события, которое

²³ Дюби Ж. Битва при Бувине (27 июля 1214 г., воскресенье). М., 1999.

²⁴ Koselleck R. Futures Past: The Semantics of Historical Time: trans. from German. Cambridge, Mass., 1985. P. 234.

²⁵ Леви-Стросс К. Неприрученная мысль [1962] // Леви-Стросс К. Первобытное мышление / пер. с фр. М.: Республика, 1994. С. 111–336.

современниками таковым могло и не казаться²⁶. Соответственно, при работе с памятью о событии перед историком сразу встает несколько вопросов: Какая память о событии осталась в сознании его современников? Насколько дифференцированной или, наоборот, гомогенной является эта память? Каковы были пути дальнейшей трансформации этой памяти в последующие периоды осмысления события, а также причины и задачи этой трансформации?

Проблему взаимосвязи профессиональной историографии и исторической памяти можно увязать и с определенным типом исторической культуры общества. Профессиональное знание влияет на коллективные представления о прошлом, но, в свою очередь, оно существует в каком-то культурном контексте, испытывает воздействие определенного типа исторической культуры, массовых и до конца неотрефлексированных историком стереотипов и предрассудков. А любые предрассудки и стереотипы укоренены в традиции. Зная и понимая их, человек способен понять традицию, значит, понять время, в котором живет он и «объект понимания». Благодаря предрассудкам, как справедливо заметил Г.-Г. Гадамер²⁷, обеспечивается формирование единого смыслового континуума между интерпретатором и интерпретируемым. Таким образом, следует понимать, что, принимая непосредственное участие в процессе формирования исторической памяти, историк, в свою очередь, находится в плену определенной традиции и попадает в зависимость от сотворенного с его же помощью исторического сознания.

Л.П. Репина в своей работе «Культурная память и проблемы историописания (историографические заметки)» обращает внимание на еще одно важное свойство взаимодействия профессиональной историографии и исторической памяти, а именно на роль образов, которые сначала запечатлеваются у переживших событие участников и современников, затем транслируются потомкам, реставрируются или реконструируются в последующих поколениях, подвергаются «проверке» с помощью методов исторической критики. Потому что факты обычно быстро утрачиваются, и, чтобы их запомнили, историки должны трансформировать их в образы и организовать в рассказы опять-таки в соответствии с распространенными

²⁶ Савельева И.М., Полетаев А.Н. История и время в поисках утраченного. М.: Языки русской культуры, 1997. С. 147.

²⁷ Гадамер Х.-Г. Истина и метод. М.: Прогресс, 1988.

жанрами историографии. Однако любой образ можно передать только в том случае, если он упрощен, то есть сложность образа должна быть сведена к минимуму, и конвенционален, то есть иметь смысл для всего сообщества или группы. Затем при создании исторического нарратива происходит концептуализация, в результате которой также утрачивается часть фактов, потому что они противоречат существующим установкам. И спустя некоторое время возникает некая стабилизированная версия, которую мы называем «историей»²⁸.

Сегодня профессиональная историография сталкивается и с другой проблемой, а именно с резким сокращением временного лага между моментом совершения события и началом изучения истории. В условиях, когда живы свидетели событий, а также их непосредственные потомки, воспринявшие информацию о событии из первых рук, влияние историографии на память проблематизируется, сталкиваясь с альтернативными версиями прошлого. В результате образуются места усиления исторической преемственности и, наоборот, места их разрывов, забвений, умолчаний. Об этом много писал Й. Рюзен, показавший, что историк в состоянии способствовать преодолению кризиса исторической памяти, разрывов или, наоборот, усилить этот разрыв, вытеснив некоторые события за пределы памяти²⁹.

Одной из недавно проявившихся проблем взаимодействия историографии и памяти является изменение функций историка в обществе³⁰. Если ранее именно он являлся главным компонентом механизма формирования исторической памяти, то сегодня у него появились конкуренты. В этих условиях важным становится выявление всех контрагентов историка, изучение того, как они связаны, как влияют и на память, и на саму историографию. А их достаточно много: государство, СМИ, Интернет; огромную роль сегодня играют такие организации, как издательства (от которых зависит, что публиковать: серьезное историческое произведение или беллетристику), грантодающие организации, определяющие направле-

²⁸ Ретина Л.П. Культурная память и проблемы историописания (историограф. заметки). Препринт WP6/2003/07. М.: ГУ ВШЭ, 2003. С. 27.

²⁹ Рюзен Й. Утрачивая последовательность истории (некоторые аспекты исторической науки на перекрестке модернизма, постмодернизма и дискуссии о памяти) // Диалог со временем: альманах интеллектуальной истории. М., 2001. Вып. 7. С. 8-26.

³⁰ См. об этом: Рюзен Й. Кризис, травма и идентичность // Диалог со временем: альманах интеллектуальной истории. М., 2003. Вып. 11. С. 85-140.

ния исследований и выпячивающие или, наоборот, затемняющие, уводящие в маргинальность определенные направления поисков.

Одними из традиционных контрагентов историка, безусловно, являются литература и искусство. Например, многие люди воспринимают Вторую мировую войну именно так, как она описана в литературных произведениях, и с негодованием отвергают любые попытки развенчать ее героическую версию. Бородинская битва также скорее ассоциируется в сознании россиян с ее описанием, данным в стихотворении М.Ю. Лермонтова «Бородино» или в «Войне и мире» Л.Н. Толстого. И это не случайно. Как справедливо заметила Л.П. Репина, историография и литература имеют общую цель – воздействие на историческое сознание, хотя и делают это разным способом. История идет от прошлой реальности через так называемую объективную сторону жизненного опыта и субъективное осознание этого опыта, удерживание этого опыта в коллективной памяти – к исторической рефлексии по поводу этого прошлого в форме исторического нарратива. Литература и искусство, также опираясь на это прошлое, больше апеллируют к эмоциональным компонентам исторического сознания, исторической памяти, исторической идентичности³¹. В этом различии кроется еще одно измерение проблемы взаимодействия историографии и исторической памяти: к сожалению, историки зачастую пишут так, что не вызывают никаких чувств у читателей и поэтому существенно проигрывают другим контрагентам по формированию исторической памяти.

Наконец, важным является вопрос о взаимосвязи проблемы «историография и память» с трансформацией самой исторической науки. Меняются способы изучения истории, появляются новые методы, исследовательские стратегии, направления исследований, проблемные поля (история повседневности, история телесности, история эмоций, визуальные исследования, когнитивные исследования и т.д.). Влияют ли эти изменения на взаимодействие историографии и памяти? И если да, то каким образом?

³¹ Репина Л.П. «Малая история» в Большой литературе: «Война и мир» Л.Н. Толстого глазами историка «эпохи постмодерна» // Методологические и историографические вопросы исторической науки. Томск, 1999. С. 50.

А.А. Линченко

**ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА КАК ФАКТОР
ДЕМИФОЛОГИЗАЦИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ:
ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ***

О различных формах и практиках мифологизации исторической памяти, исторического сознания и исторического знания написано достаточно много. Не меньше написано и о функциях исторической науки в современном обществе. При этом отечественные и зарубежные авторы, отмечая преодоление мифов о прошлом в качестве одной из важнейших функций исторической науки, довольно мозаично обрисовывают данный процесс. На первый взгляд, здесь все достаточно очевидно. Вопрос о преодолении мифов о прошлом исторической наукой может и должен быть увязан с вопросом о познавательных особенностях самой исторической науки, о специфике и характере получаемого и транслируемого ею знания о прошлом. Этот вопрос оказывается также соотношенным с проблемой критериев исторической истины, критериев демаркации научного исторического знания и различных псевдонаучных форм знания о прошлом. Наконец, еще одной стороной проблемы является тщательное изучение историками различных практик мифологизации, мифов о прошлом, форм их бытования и воспроизводства. Признавая правоту данной исследовательской стратегии, можно было бы отметить, что проблема преодоления мифов о прошлом исторической наукой может быть рассмотрена не только с позиций методологии и теории истории или социологии знания, но и с позиций социальной философии и философии науки. Это означает, в первую очередь, изучение самого механизма демифологизации как социокультурного процесса, выявление роли в этом процессе исторической науки, поиск и выявление наиболее приемлемой модели исторической науки, которая могла бы быть более эффективной в отношении к мифологии и ее знаниям о прошлом. Еще более интересным представляется интересующая нас пробле-

* Статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ 17-33-01056 а2 «Мифы о прошлом в современной медиа-среде: практики конструирования, механизмы воздействия, перспективы использования».

ма в свете активно употребляющегося сегодня нового термина – «историческая культура», который в своих различных определениях явно переносит размышления о демифологизирующей роли исторической науки из эпистемологического в социально-культурный контекст. При каких условиях историческая наука могла бы выступать значимым фактором демифологизации современной исторической культуры? Ответ на этот центральный для нашей статьи вопрос мы предварим кратким обращением к понятиям «демифологизация» и «историческая культура».

*Социальная мифология, мифы о прошлом,
демифологизация*

Всякий, кто берется изучать современную мифологию, вынужден отталкиваться от определенной трактовки мифа, интерпретации которого многозначны. В этой связи в нашем исследовании мы будем руководствоваться теоретической моделью мифа, представленной в работах Ролана Барта, которая по праву считается одной из основополагающих в деле изучения современной социальной мифологии.

В своей книге «Мифологии» Р. Барт отмечал, что «миф представляет собой коммуникативную систему, некоторое сообщение. Отсюда явствует, что это не может быть ни вещь, ни понятие или идея: это форма, способ обозначения. <...> Миф ничего не скрывает и ничего не демонстрирует – он деформирует; его тактика – не правда и не ложь, а отклонение»¹. По мысли Ролана Барта, мифология как слово, как форма представляет собой особое явление: «Миф – система двойная; он как бы вездесущ – где кончается смысл, там сразу начинается миф. <...> Миф имеет ценностную природу, он не подчиняется критерию истины, поэтому ничто не мешает ему бесконечно действовать по принципу алиби; если означающее двулико, то у него всегда имеется некая другая сторона; смысл всякий раз присутствует для того, чтобы через нее отстранился смысл»². Более того, для Ролана Барта миф – это вторичная семиотическая система, которая может быть описана, как и первичная система языка, через понятия «означаемого», «означающего» и знака. Однако то, что в первичной системе было знаком

¹ Барт Р. Мифологии. М.: Академический проект, 2014. С. 263.

² Там же. С. 281-282.

(итог ассоциации понятия и образа), во вторичной системе оказывается всего лишь означающим. Таким образом, для Барта миф – это коннотативная система. Взаимоотношения «означаемого», «означающего» и знака раскрываются Бартом в контексте понятий «смысл и форма». По мнению Ролана Барта, в мифе имеет место непрестанный взаимопереход двух ипостасей одного и того же объекта – «смысла» и «формы». «Означающее в мифе предстает в двойственном виде, будучи одновременно смыслом и формой, с одной стороны, полным, с другой стороны – пустым»³. Для нас предельно важно, что «смысл» в этой конструкции – самодостаточен. «В смысле уже заложено некоторое значение, и оно вполне могло бы довольств. если бы им не завладел миф и не превратил внезапно в пустую паразитарную форму. Смысл уже завершен, им постулируется некое знание, некое прошлое, некая память»⁴. И вот это конкретное, сюжетное содержание мифа захватывается вторичной семиотической системой, обращается в пустую форму, наполняемую уже новым, внесюжетным, идеологическим содержанием.

Ролан Барт дает нам несколько важнейших характеристик современного мифа. Во-первых, современный миф – это разрозненное, изолированное слово. Современные мифы не складываются в единую «фабульную» систему, подобную архаической мифологии. «Современный миф дискретен: он высказывается уже не в виде оформленных больших рассказов, а лишь в виде “дискурса”»⁵. Во-вторых, то, что миф оформляется сегодня как дискурс, но не как повествование, показывает, что современные мифы служат не разрешению, не изживанию противоречий, а их «натурализации», «обезвреживанию» и оправданию. В-третьих, поскольку миф как вторичная семиотическая система надстраивается над привычными нам понятиями и образами культуры, то в современной культурной ситуации критика мифа в основе своей сближается с мифотворчеством, с ремифологизацией. В-четвертых, сила мифологии сегодня состоит в том, что она буквально «пропитывает» всю социальную действительность. В своей универсальности она встает непреодолимой преградой между человеком и миром, между соз-

³ Там же. С. 274.

⁴ Там же. С. 275.

⁵ Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры. М.: Издательство им. Сабашниковых, 2001. С. 474.

нением и реальностью. Это связано с тем, что миф всегда принадлежит «метаязыку». Благодаря метаязыку вещи социализируются, обретают общественную значимость. Здесь черпает свои силы миф: «метаязык фактически составляет для мифа некий резерв... Бывают предметы, чья мифичность до поры как бы дремлет, они являют собой лишь смутный контур мифа, и их политическая нагрузка кажется почти безразличной. Но их отличие – не в структуре, а только в отсутствии случая для ее реализации»⁶.

Как видно, определение Ролана Барта позволяет нам говорить о мифологии как явлении, не укладывающемся полностью в узкие рамки фальсификации. Именно фальсификация зачастую рассматривается как наиболее предпочтительная форма воздействия мифологии на представления о прошлом. Соответственно этому, демифологизирующая роль исторической науки рассматривается из данной перспективы, что не вызывает сомнений, но представляется крайне узким подходом.

Необходимо заметить, что в современных исследованиях «под социально сконструированными историческими мифами подразумеваются представления о прошлом, воспринимаемые в данном социуме как достоверные “воспоминания” (как “история”), составляющие значимую часть картины мира и играющие важную роль как в ориентации, самоидентификации и поведении индивида, так и в формировании и поддержании коллективной идентичности и трансляции этических ценностей»⁷. Из данного определения следует, что исторические мифы выполняют важную роль в общественной жизни, «пропитывая» социальную действительность. Это, вне всяких сомнений, усложняет саму постановку вопроса о демифологизирующей роли исторической науки.

Не добавляют оптимизма и попытки выявления мифогенного потенциала внутри самой исторической науки. Так, отечественный исследователь В.Н. Сыров, развивая подход Ролана Барта, показывает, что идентификация тех или иных представлений о прошлом как мифов может осуществляться на уровне отбора и интерпретации свидетельств, выбора способов конфигурации источников в исторический нарратив, а также способов применения историче-

⁶ Барт Р. Мифологии. С. 307.

⁷ Ретина Л.П. Историческая наука на рубеже XX-XXI вв.: социальные теории и историографическая практика. М.: Кругъ, 2011. С. 453.

ского знания. Он отмечает, что «историческое повествование может быть скрупулезно точным в соответствии источникам, но оставаться мифом. Поэтому призыв быть честным в опоре на свидетельства еще не спасает от мифологизации. Все дело в способе их сотворения»⁸. В своем исследовании он показывает: определяющим условием формирования исторических мифов является убеждение в том, что обоснование правомерности тех или иных современных целей и задач является единственно возможным способом актуализации ценности исторического знания и единственным условием формирования самого исторического знания. Поэтому следующим после фальсификации понятием, попадающим в фокус нашего внимания при обращении к историческим мифам, оказывается односторонность. Это может быть понято как отбрасывание или игнорирование той или иной информации, что также будет искажением, а значит, будет содержать элементы мифологического. Указанный исследователь отмечает, что «в этом смысле миф действительно ничего не искажает или не нуждается в искажении или прямом вымысле. Из всего информационного инвентаря достаточно выбрать необходимое для его создания, что позволяет спекулировать как на соответствии т.н. “реальности”, так и на интеллектуальных операциях, предполагающих селекцию существенного и несущественного»⁹.

Итак, как видно, есть слишком много оснований занять скептическую позицию относительно потенциала исторической науки в деле демифологизации наших представлений о прошлом. Вряд ли кто-то будет сегодня говорить о возможности историка достичь теоретической позиции, позволяющей отделить друг от друга интерпретацию и факты, так сказать, на онтологическом уровне их взаимодействия. Это представляется тем более очевидным в свете современных трактовок истории как определенного уровня исторической памяти, истории как «искусства памяти» (П. Хаттон). Наконец, вспомним Артура Данто и его вывод о том, что «одно и

⁸ Сыров В.Н. Что считать историческими мифами? // Конструктивные и деструктивные формы мифологизации социальной памяти в прошлом и настоящем. Сборник статей и тезисов докладов международной научной конференции, Липецк, 24-26 сентября 2015 г. Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2015. С. 7.

⁹ Там же. С. 8.

то же событие будет приобретать разные значения... в соответствии с разными множествами более поздних событий, с которыми его можно связать»¹⁰.

Радикализируя тезисы Барта, В.Н. Сыров делает следующий вывод: «стоит предположить, что есть задачи (или способы решения этих задач), для решения которых историческое знание в принципе непригодно. Либо стремление использовать историю для их достижения ставит ее в такое положение дел, когда она становится наиболее уязвимым для заражения его мифами. Рискнем предположить, что такая ситуация складывается во всех случаях, когда прошлое используется для обоснования современности»¹¹.

Как видится, позиция Р. Барта и В.Н. Сырова представляет собой достаточно сильный вариант скептицизма в отношении темы «историческая наука и миф». Впрочем, оба автора предлагают нам и определенные пути демифологизации. Как известно, Р. Барт предлагал нам особую стратегию демифологизации: «Одолеть миф изнутри чрезвычайно сложно, ибо действия, посредством которых от него пытаются избавиться, сами становятся его добычей: в конечном счете миф всегда может сделать так, чтобы им обозначалось оказываемое ему сопротивление. Так что, возможно, лучшее оружие против мифа – в свою очередь мифологизировать его, создавать искусственный миф: такой реконструированный миф как раз и оказался бы истинной мифологией. Если миф – похититель языка, то почему бы не похитить сам миф?»¹². Однако будет ли это научная демифологизация? Сам Ролан Барт просто не стал бы ставить вопрос в такой плоскости. Язык для него – это форма, которая не может быть реалистической или ирреалистической, она может быть мифической или нет. Наконец, она может быть контрмифической. В своей работе он стремится показать роль литературы в создании этого «искусственного мифа».

Традиция скептицизма в отношении возможностей науки сегодня представляется гораздо более обоснованной, нежели рассуждения о силе и возможностях науки в отношении мифа. Впрочем, если встать на точку зрения сторонников мифологических основа-

¹⁰ Данто А. Аналитическая философия истории. М.: Идея-Пресс, 2002. С. 20.

¹¹ Сыров В.Н. Указ. соч. С. 11.

¹² Барт Р. Мифологии. С. 296.

ний современной науки (К. Хюбнер, П. Фейерабенд, А.Ф. Лосев) и рассматривать науку как проявление мифологии, продуцирующей новые мифы, то возникает вопрос к такой предельно широкой трактовке мифологии. Ведь если понятие рассматривается логически как ни с чем не соотносимое и ничему не противостоящее, то оно вообще рискует утратить свое содержание. Однако неприемлемой является и противопоставление науки и мифологии как принципиально разных мировоззренческих систем. Подобная антиномичность зачастую означает, что проблема может быть неверно сформулирована.

Отечественный исследователь В.Н. Сыров предлагает нам несколько иное понимание исторической науки, которое могло бы быть в меньшей степени открытым для инфицирования мифами. Он пишет об истории различий как способе преодоления мифогенности исторического знания. Речь идет о критике истории как непрерывного, преемственного процесса, о формировании современных форм идентичности без опоры на опыт прошлого. Это позволит заложить новый онтологический базис исторической науки и ее новую онтологию. «Такая онтология стремится минимизировать набор своих исходных допущений, а имеющиеся – трактовать как следствия накопленного и переосмысленного исторического опыта»¹³.

Исследователи давно утвердились в мысли о том, что современные формы научной рациональности (постнеклассическая рациональность) не исключают внерациональное и иррациональное, но стремятся отыскать их подлинное место в культуре. Также неоднократно подчеркивалось, что вряд ли сегодня уместно говорить о кризисе рациональности как таковой; скорее речь может идти о кризисе тех ее исторических типов, принципы которых не соответствуют реалиям нашего времени. В этой связи критерии критицизма и апелляция к рациональности продолжают оставаться важным источником демаркации научного знания и знания ненаучного. Постнеклассическая рациональность имеет дело с историчностью самого разума. Она акцентирует внимание на процессах коммуникации, осуществляемой в определенном социокультурном пространстве и времени и детерминированной исторически конкретными системами ценностей. Более того, именно культура ока-

¹³ Там же. С. 16.

зывается важнейшим источником сохранения сложных взаимоотношений рационального и иррационального, а познание может быть интерпретировано как осмысление социокультурной реальности.

В рамках постнеклассической научной рациональности демифологизация представлений о прошлом может быть понята как обнаружение несостоятельности претензий мифологических конструкций на окончательное объяснение и истолкование исторических событий и представлений о прошлом. В одной из лучших диссертаций последних лет, посвященных проблемам демифологизации, Е.Б. Ивушкина отмечает, что между структурами мифологического сознания и структурами научного знания наличествует радикальное различие в когнитивности. Она подчеркивает: «О семантической нерелевантности мифологических структур свидетельствует вопиющая нелепость большинства из них, ничем неограниченная произвольность мифологических построений. Объяснительная сила мифологических структур неизбежно приводит к противоречию со здравым смыслом, наличным опытом и правилами логики. Рациональное познание и его высшая ступень – наука – принципиально расходятся по критериям теоретической валидности (обеспечиваемой то ли логическими, то ли экспериментальными средствами) и семантической релевантности с мифологическим сознанием. Объяснительные потенции мифологии и науки опираются на разные основания»¹⁴. И еще одно высказывание: «Демифологизация культуры – это отход от некритичного и безоглядного трансцендирования в мир образов семантически нерелевантного сознания. Достижения науки и распространение научных, эмпирически обоснованных знаний приводят к отказу массового сознания от объяснительных схем (парадигм), признаваемых несомненными лишь в силу их общепризнанности, опирающейся на пророческое провозвестие, и повсеместную инкультурацию»¹⁵.

Именно с позиций культуры мы можем рассматривать и вопрос соотношения конструктивной и деструктивной роли мифологизации прошлого. Если миф вообще замещает действительность в эмоционально-образной форме, то социальный миф, с одной стороны, компенсирует недостаток информации о социальной дейст-

¹⁴ *Ивушкина Е.Б.* Роль науки в демифологизации общественного сознания. Автореф. дис. ... д-ра филос. наук. Ростов-на-Дону, 2004. С. 8.

¹⁵ Там же. С. 9.

вительности и тем самым неизбежно искажает ее, а с другой стороны – выступает средством согласования и сближения позиций различных компонентов социальной сферы. Можно также сказать, что конструктивное в исторической мифологии есть обратная сторона деструктивного, а вернее, обе стороны постоянно присутствуют в едином процессе мифотворчества или мифологизации. Представляется, что взгляд на роль социальной мифологии в трансформации, воспроизводстве и трансляции представлений о прошлом предполагает, что полем различения конструктивного и деструктивного является сама историческая культура, точнее, ее способность вырабатывать исторический смысл и адаптировать его к постоянно изменяющимся условиям исторического бытия.

Но как нам понимать саму историческую культуру? Постараемся посмотреть на данное понятие с позиций социальной философии.

*Историческая культура как предмет
социально-философского осмысления*

Различные попытки дать определение «исторической культуре», структурировать ее, на наш взгляд, используют расширительный ее смысл. Более того, большинство данных определений принадлежит историкам, социологам и особенно дидактикам истории, в то время как для философии данное понятие по-прежнему остается в тени исследований памяти и исторического сознания. В качестве примера приведем четыре попытки определения «исторической культуры» в работах Б. Гене, Д. Вульфа, Й. Рюзена и А.В. Дмитриева. Одним из первых данное понятие начинает использовать французский историк Бернар Гене, который, изучая специфику средневековой исторической культуры, писал: «Социальная группа, политическое общество, цивилизация определяются прежде всего их памятью, то есть их историей, но не той историей, которая была у них в действительности, а той, которую сотворили им историки... Меня интересует историк, но еще больше его читатели; исторический труд, но еще больше его успех; история, но еще больше историческая культура»¹⁶. Еще одно определение исторической культуры дает нам английский историк Дэвид Вульф: «Историческая культура порождает и питает официальное историописание

¹⁶ Гене Б. История и историческая культура средневекового Запада. М.: Языки славянской культуры, 2001. С. 19.

эпохи и сама, в конечном счете, подвергается его обратному воздействию, но она также проявляет себя и в других отношениях... Историческая культура состоит из привычных способов мышления, языков и средств коммуникации, моделей социального согласия, которые включают элитарные и народные, нарративные и не-нарративные типы дискурса. Она выражается как в текстах, так и в общепринятой форме поведения – например, в способе разрешения конфликтов через отсылку к признанному историческому образцу, такому как “древность”. Характерные черты исторической культуры определяются материальными и социальными условиями, а также случайными обстоятельствами, которые, как и традиционно изучаемые интеллектуальные влияния, обуславливают манеру думать, читать, писать и говорить о прошлом. Сверх того, представления о прошлом в любой исторической культуре являются не просто абстрактными идеями, зафиксированными для блага последующих поколений... Скорее, они являются частью ментального и вербального фона того общества, которое использует их, пуская в обращение среди современников посредством устной речи, письма и других средств коммуникации. Это движение и процесс обмена элементов исторической культуры можно для удобства назвать ее социальной циркуляцией»¹⁷. Заставим читателя набраться терпения и представим еще одно определение исторической культуры, данное немецким историком Йорном Рюзеном. С его точки зрения, историческая культура есть, по сути, историческое сознание, схваченное в действии, она представляет собой все формы и способы восприятия прошлого в контексте настоящего и будущего. Сюда входят и бессознательное, и политизация истории, различные аспекты запоминания, места памяти и идентичности¹⁸. Она охватывает все случаи «присутствия» прошлого в повседневной жизни. Необходимость перехода к концепту «исторической культуры», по мысли Й. Рюзена, связана с тем, что опыт времени переживается и интерпретируется в различных культурах по-разному: «История в том смысле, в котором ее понимаем мы, не может быть обнаружена во всех культурах и во

¹⁷ Woolf D. *The Social Circulation of the Past: English Historical Culture 1500-1730*. Oxford, Oxford Univ. Press, 2003. P. 9-10.

¹⁸ Rüsen J. *Historische Orientierung; Über die Arbeit des Geschichtsbewusstseins, sich in der Zeit zurechtzufinden*. Cologne, Weimar, and Vienna: Böhlau, 1994. S. 238.

все времена. Однако в каждой культуре человеческий ум концептуализирует время по-своему и совершенно различным путем дифференцирует его измерения – прошлым, настоящим и будущим»¹⁹. Обращаясь к этой точке зрения, которую в отечественной литературе неоднократно высказывал Ю.М. Лотман, несколькими страницами далее он добавляет, что каждая культура с помощью своего специфического нарратива пытается выстроить свою тотальность осознания времени и исторического смысла. Й. Рюзен также попытался структурировать историческую культуру, выделяя в ней эстетическую, политическую и когнитивную составляющую. Исследования западных историков были подхвачены отечественными учеными. Так, в нашей литературе получили исследование вопросы исторической культуры в эпохи Античности, Средневековья, раннего Нового времени²⁰, формирования и трансформации исторической культуры императорской России в XIX столетии²¹. Как отмечается, «понятие исторической культуры охватывает многообразные отношения между профессиональной историографией и более обширной сферой общественных представлений об истории (историческим сознанием) в разные эпохи и периоды»²². И действительно, понятие «историческая культура», получившее первоначальное рассмотрение в рамках проблем «преодоления прошлого» в ФРГ, продолжает рассматриваться в контексте дебатов о политике памяти, идеологии, взаимоотношения профессиональной истории и массовой памяти²³.

Социально-философская интерпретация исторической культуры требует от нас соотнесения ее с базовыми категориями, описывающими темпоральное пространство как пространство исторического. Поскольку мы уже затрагивали данный вопрос²⁴, представим

¹⁹ *Rüsen J. Making Sense of Time. Toward a Universal Typology of Conceptual Foundations of Historical Consciousness // Time and History. The Variety of Cultures / ed. J. Rüsen. L.: Berghahn Books, 2005. P. 8.*

²⁰ История и память: историческая культура Европы до начала нового времени / Л.П. Репина (ред.). М.: Кругъ, 2006.

²¹ Историческая культура императорской России: формирование представлений о прошлом. М.: Изд.дом ВШЭ, 2012.

²² Там же. С. 11.

²³ *Geschichtskultur. Theorie – Empirie – Pragmatik / B. Mütter, B. Schönemann, U. Uffelman (Hg.). Weinheim, Deutscher Studien Verlag, 2000.*

²⁴ Полякова И.П., Линченко А.А. Повседневная историческая культура как предмет философского осмысления // Экология ЦЧО РФ. 2015. № 1 (34). С. 145-151.

нашу попытку социально-философской концептуализации понятия «историческая культура». Философский смысл понятия «историческая культура» может быть прояснен в контексте анализа онтологического ряда: историческое бытие – историческое сущее – историческая реальность – историческая культура – историческое сознание.

С этой точки зрения, историческая культура представляет собой определенную сторону и универсальную среду исторического бытия, воспроизводящую его способ схватывания временности, способ самоосмысления исторического бытия в виде определенной совокупности картин исторической реальности, характерных для соответствующего типа и эпохи культуры (*онтологический аспект*). Историческая культура с *гносеологической* точки зрения может быть понята как совокупность различных форм и типов знаний о прошлом, транслируемых посредством многообразных мемориальных культур, реализующих различные сознательные и бессознательные практики запоминания, воспоминания и забвения. Каждая такая мемориальная культура, а также тип знания о прошлом в свою очередь формируют свою картину исторической реальности и свое место в бытии-как-истории (историческом бытии). Историческое сознание в этой связи как раз выступает одной из рефлексивных форм бытования самой исторической культуры, ее внутренней стороной. Образ истории как самоистолковывающейся реальности позволяет нам увидеть и *аксиологический аспект* исторической культуры, которая предстает как совокупность ценностных ориентаций, выступающих основанием для явных или менее явных форм самопонимания, служащих средством обретения темпоральной идентичности в потоке универсальной историчности. Вместе с тем, наличие в исторической культуре материальных и идеальных сторон позволяет нам говорить еще и о *праксиологическом аспекте* изучения исторической культуры. Речь идет о понимании исторической культуры как предмета, условия, момента и результата преемственности человеческой деятельности, всего многообразия форм исторического опыта, воплощенного в практиках запоминания и забвения. Понимая определенный схематизм анализа нами философского статуса понятия «историческая культура», отметим, что схема анализа той или иной проблематики сквозь призму базовых разделов философии позволяет нам дать именно комплексный взгляд на данное понятие и его место в словаре современной философии. В этой свя-

зи нельзя не выделить и антропологический аспект. С *антропологической* точки зрения, историческая культура предстает как процесс передачи и схватывания из поколения в поколение человеческой способности обретения временности, выражаемый посредством соотношения традиционного и нового.

В этой связи большое значение приобретает анализ культуры в рамках широко распространенной в нашей стране культурно-исторической теории (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьев), а также в рамках деятельностного подхода (С.Л. Рубинштейн, А.В. Брушлинский, В.А. Лекторский, В.С. Швырев). Особое место занимает в этой связи философская концептуализация культуры в работах Э.В. Ильенкова. В современных исследованиях (В.А. Лекторский, А.Д. Майданский) деятельностный подход и культурно-историческая теория давно уже рассматриваются как более широкая философия практики, не сводимая к советскому марксизму и соотносимая скорее с практическим поворотом современной философии, интерпретируемой как постметафизическая (Ю. Хабермас).

«Уметь видеть предмет по-человечески, – писал Э.В. Ильенков, – значит уметь видеть его “глазами другого человека”, глазами всех других людей, значит в самом акте непосредственного созерцания выступать в качестве полномочного представителя “человеческого рода”»²⁵. Человек в данном случае действует как общественный человек, он относится к собственной сущности, к самому себе как к родовому существу. И добавим – как к существу историческому. В этой связи резонно добавляет В.В. Давыдов: «Для того, чтобы одно поколение людей могло передать другим поколениям такие свои реально проявляющиеся умения (способности), оно должно предварительно создать и соответствующим образом оформить их общественно значимые, всеобщие эталоны. Возникает необходимость в особой сфере общественной жизни, которая создает и языковым способом оформляет эти эталоны – они могут быть названы идеальными формами орудий, вещей, реального общения (то есть формами вещей вне вещей). Это и есть сфера культуры»²⁶. Еще более определенно выра-

²⁵ Ильенков Э.В. Об эстетической природе фантазии // Ильенков Э.В. Об эстетической природе фантазии. Что там, в Зазеркалье? М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2014. С. 20.

²⁶ Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. М.: ИНТОР, 1996. С. 37.

жается М. Коул, говоря о культуре «как о посреднике и контексте, как о том, что окружает и, одновременно, переплетается»²⁷. Предельно важно, что для М. Коула культура есть «исходная единица анализа», «первичное единство материального и символического»²⁸. Подход Э.В. Ильенкова и его последователей позволяет нам видеть в исторической культуре не просто посредника, но активную среду, которая осуществляет взаимодействие между различными формами исторической памяти и исторического сознания. Задача исторической науки в таком случае стремится к тому, чтобы сама историческая культура могла выступать субъектом своей демифологизации. А это предполагает высокий уровень рефлексивности исторического сознания как в отношении автобиографической, семейной, групповой, коллективной исторической памяти, так и в отношении религиозной исторической памяти, знаний о прошлом, воплощенных в правовых, моральных, эстетических представлениях.

Хотелось бы обратить внимание читателя на блестяще проанализированную Э.В. Ильенковым диалектику абстрактного и конкретного. Как известно, абстрактное и конкретное понимались советским мыслителем как формы движения мысли, воспроизводящей некоторое объективно расчлененное целое. «Необходимой предпосылкой такого движения мысли является непременно осознание – вначале очень общее и нерасчлененное – того целого, в рамках которого аналитически выделяются его абстрактные моменты... Это абстрактно обрисованное целое (а не определенное море единичных фактов) “должно постоянно витать в представлении как предпосылка” всех последовательно совершаемых актов анализа... частей данного целого. В итоге целое, обрисованное вначале лишь контурно, схематично, в общем виде, представляется в сознании как внутренне расчлененное целое, т.е. как конкретно понятое целое, как верно отраженная конкретность»²⁹. Э.В. Ильенков отмечал, что «способ восхождения от абстрактного к конкретному... не только можно, но и непременно нужно рассматривать как универсальный метод мышления в науке вообще. <...> Только этот способ мышления, отправляющийся от абстрактно-

²⁷ Коул М. Культурно-историческая психология. Наука будущего. М.: Когито-Центр, 1997. С. 167.

²⁸ Там же. С. 141.

²⁹ Ильенков Э.В. Философия и культура. М.: Политиздат, 1991. С. 291.

всеобщего определения исследуемого объекта и последовательно, шаг за шагом прослеживающий все основные всеобщие зависимости, характеризующие в своей совокупности это целое уже конкретно, приводит в конце концов к развитой системе всеобщетеоретических понятий, отражающей то живое, саморазвивающееся целое, которое с самого начала было выделено как объект анализа и “витало в воображении” как предпосылка и одновременно как цель работы мышления»³⁰. В отношении интересующей нас темы это означает рассмотрение процесса демифологизации исторической культуры как движения от демифологизации отдельных мифов к демифологизации самих социокультурных контекстов влияния мифологии. Эффективность процесса демифологизации в таком случае оказывается напрямую связанной с возможностями исторической науки воздействовать на все пространство исторической культуры, что в свою очередь предъявляет к ней уже упоминавшиеся стандарты постнеклассической рациональности. Демифологизация также оказывается не прямым устранением элементов мифологического из исторической культуры, а обнаружением их подлинного места в ней, что в свою очередь открывает возможности их включения в рациональный контекст исторической культуры, позволяет сделать их частью общественной рациональной деятельности. Демифологизация оказывается, таким образом, преодолением разрывов между различными сферами исторической культуры, она оказывается стратегией согласования различных знаний о прошлом, представленных в мифологии, религии, повседневной жизни людей и, конечно, научных исторических знаний. Очень уместной в этой связи представляется трактовка задач, стоящих перед исторической наукой, в работах Ю. Хабермаса. Он пишет: «Дистанция между историческими науками и публичным процессом передачи традиции увеличивалась. Опровержимость знания и конкуренция между вариантами толкования ведут скорее к проблематизации исторического сознания, нежели к формированию идентичности <...> На уровне усвоения интересубъективно разделяемых традиций, не находящихся в распоряжении ни у одного индивида, ...выбору может соответствовать лишь автономный и осознанный характер публично ведущейся дискуссии... В

³⁰ Там же. С. 293.

модусе этого спора об интерпретациях свершается публичный процесс передачи традиций. И исторические науки – как и другие экспертные культуры – втягиваются в эту дискуссию лишь в аспекте своего публичного использования, но не как науки»³¹.

*Стратегии демифологизации исторической культуры
в исторической науке*

Тезис о том, что историческое сознание является внутренней стороной самой исторической культуры, чрезвычайно важен для нас, поскольку намечает пути понимания роли исторической науки (как важнейшей формы исторического сознания) в демифологизации исторической культуры. Это означает, что стратегии демифологизации исторической культуры во многом соотносимы со структурой самого исторического сознания. Безусловно, историческое сознание может пониматься в герменевтическом или феноменологическом ключе. Наконец, зарубежные авторы пишут о постановке проблемы исторического сознания в контексте аналитической философии³². По-видимому, также и различные модели науки (постпозитивистская, аналитическая, феноменологическая, герменевтическая, критическая, постмодернистская) могут выступать своеобразными площадками для выявления различных аспектов роли исторической науки в демифологизации наших представлений о прошлом.

Избранный нами ранее контекст деятельностного подхода заставляет нас обратиться к исследованиям структуры сознания в работах А.Н. Леонтьева и С.Л. Рубинштейна. В этой связи исходным основанием для нас будут являться формы деятельности, выделенные А.Н. Леонтьевым и проанализированные с философско-антропологической точки зрения в последних работах С.Л. Рубинштейна: познавательная, ценностная (созерцательная) и практическая³³. Выбор именно этой структуры в качестве базовой для анализа целостности исторического сознания вызван следую-

³¹ Хабермас Ю. Историческое сознание и посттрадиционная идентичность. Западная ориентация ФРГ / Политические работы. М.: Праксис, 2005. С. 130-131.

³² Fischer R.K., Wimmer M.F. Das historische Bewusstsein in der analytischen Philosophie // Wo steht die Analytische Philosophie heute? Wien; München, 1986. S. 170-189.

³³ Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. Человек и мир. СПб.: Питер, 2003. С. 23.

щими обстоятельствами: во-первых, именно данные формы деятельности являются кардинальными выражениями отношения человека к миру в силу их универсальности; во-вторых, данную структуру целесообразно использовать в силу того, что историческое сознание – это, прежде всего, знание о прошлом, представленное историческим опытом, традицией, исторической памятью и прочим; в-третьих, такие типы деятельности, как труд, игра и обучение, при всей их всеобщности в отношении исторического сознания все равно включают в себя познавательное, ценностное и практическое отношение к прошлому; в-четвертых, все указанные компоненты опять же присутствуют в различных видах деятельности – специализированной и неспециализированной, отделенной и неотделенной. Наконец, выделение познавательного, ценностного и практического компонентов исторического сознания может быть прослежено в индивидуальном/групповом/массовом видах, на обыденном и теоретическом уровнях исторического сознания, в различных типах исторического сознания, производных от соответствующей эпохи. Обоснованное С.Л. Рубинштейном понимание человека как единства познавательного, созерцательного и деятельностного позволяет нам говорить о возможности деятельностного понимания исторического сознания как целостности. Также отметим, что мы с более широких деятельностных позиций подходим к похожей модели структурирования исторической культуры Й. Рюзена, предлагающего выделять в ней познавательное, эстетическое и политическое измерения³⁴.

Итак, говоря о философской интерпретации базовых стратегий демифологизации исторической культуры со стороны исторической науки, позволим себе выделить познавательную, ценностную и практическую стратегии. На наш взгляд, подобная структура позволит выработать в дальнейшем дифференцированный подход к проблемам демифологизации исторической культуры. Мы имеем в виду тот факт, что, несмотря на свою целостность, мифология как общественное явление представляет собой не только особую мифологическую реальность (онтологический аспект), но и является определенной совокупностью мифологических знаний

³⁴ *Rüsen J.* Historische Orientierung; Über die Arbeit des Geschichtsbewusstseins, sich in der Zeit zurechtzufinden. Cologne, Weimar, and Vienna: Böhlau, 1994. S. 219.

(гносеологический аспект), выступает как определенная система ценностей и мифологическая вера (аксиологический аспект), наконец, она воспроизводится в соответствующих практиках и ритуалах (праксиологический аспект). Еще сложнее дело обстоит с языком мифа, который по сути не укладывается ни в один из представленных элементов мифологии, связывая их между собой. Таким образом, демифологизация исторической культуры оказывается перед изначальным вопросом о том, что является собственно предметом демифологизации (мифологизированное знание, вера, оценка, практики), с какой целью данная демифологизация будет осуществляться, каковы средства подобной демифологизации и каким представляется ожидаемый результат от соответствующей стратегии демифологизации.

Дальнейшее развитие данной точки зрения будет предполагать выявление и анализ конкретных контекстов и аспектов демифологизации исторической культуры. Разумеется, это дело дальнейших исследований. И данные стратегии уже намечаются в современной практике деятельности историков. В качестве примера приведем один из выводов статьи И.М. Савельевой и А.В. Полетаева, подчеркивающих возможности и готовность историков изменяться в современном мире. Так, разбирая один из вызовов исторической науке, связанный с огромным влиянием масс-медиа на массовое историческое сознание, они отмечают: «По отношению к процессу “омассовления истории” в исторической дисциплине сформировались разные стратегии. Первая, более очевидная, состояла в активизации деятельности профессиональных историков “на ниве народного просвещения”. Многие специалисты стали чаще участвовать в производстве медийных знаний, особенно телевизионных. Известных историков нередко можно увидеть в качестве консультантов и комментаторов серьезных исторических передач на западном телевидении... Новые веяния проявились и в исторических сочинениях. В историческом сообществе с конца 1970-х гг. возрождается стремление писать литературно и сделать свои “главные” научные труды достоянием не только профессионалов, но и просто образованной читательской аудитории <...> Вторая стратегия... предполагает отчужденное отношение к воздействию медийного исторического знания на массовые представления. В этом случае в качестве реакции на наступление массовой

культуры историки выработали своего рода “асимметричный ответ”. Вместо того, чтобы противостоять медийному знанию, они сделали его объектом изучения в рамках анализа массовых представлений о прошлом»³⁵.

Таким образом, с позиций постнеклассического понимания научной рациональности есть основания для оптимистической оценки возможностей исторической науки в отношении демифологизации исторической культуры. Однако это представляется возможным только в контексте трансформации эпистемологических критериев получения и верификации научного исторического знания в критерии социокультурные, позволяющие не столько устранять элементы мифологического из исторической культуры, сколько выявлять их подлинное место в ней, открывать возможности их включения в рациональный контекст исторической культуры, делать их частью общественной рациональной рефлексии и деятельности.

³⁵ Савельева И.М., Полетаев А.В. Историческая наука и ожидания общества // Общественные науки и современность. 2009. № 5. С. 143-144.

С.Е. Эрлих

ТРИ В ОДНОМ.

НАРРАТИВЫ ПАМЯТИ, ИДЕНТИЧНОСТИ И ЭТИКИ

Коллективная память «материализуется» в виде нарративов (повествований, рассказов)¹. Эти нарративы одновременно являются носителями идентичности, то есть указывают, кого считать «своими», а кого – «чужими». Вместе с памятью и идентичностью в нарративе заложена этика – нормы отношения к «своим» и «чужим». Следовательно, нарратив – это «три в одном»: память, идентичность, этика.

Каковы эти нарративы? Их видов тоже три: волшебная сказка, героический миф, миф самопожертвования. В каждом последующем из этих нарративов память углубляется во времени, идентичность (множество «своих») расширяется в пространстве, что приводит к изменению этических норм.

Волшебная сказка состоит из трех основных элементов. Первый – самопожертвование: герой вступает в смертельный бой с чудовищем. Второй – жертвоприношение: герой побеждает чудовище. Третий – возвращение с добычей домой. Самопожертвование и жертвоприношение – это средства. Добыча – это цель.

Героический миф состоит из двух элементов: самопожертвования и жертвоприношения. Самопожертвование – средство, жертвоприношение – цель.

Миф самопожертвования состоит из одного элемента. В данном случае самопожертвование – цель, которая обходится без средств.

Если мы сопоставим цели трех нарративов памяти, идентичности и этики с так называемой пирамидой персональных потребностей Абрахама Маслоу и социальной «индоевропейской триадой» Жоржа Дюмезиля, то увидим «странные сближения» трех триад. Волшебная сказка – обеспечение материальных («физиологических») потребностей – «работники». Героический миф – потребность в безопасности – «воины». Миф самопожертвования – потребность в самореализации – «жрецы».

¹ *Wertsch J.W. Collective Memory // Memory in Mind and Culture. Cambridge University Press, 2009.*

Подобно тому, как в структуре личности и общества сосуществуют названные потребности и социальные функции, волшебная сказка, героический миф и миф самопожертвования постоянно конфликтуют как в душе каждого из нас, так и в общественном пространстве. В то же время мы можем выделить исторические эпохи, когда в обществе господствовал один из этих трех нарративов.

В догосударственную эпоху присваивающего хозяйства первобытные люди руководствовались волшебной сказкой. Это объясняется наблюдениями швейцарского религиоведа Вальтера Буркерта. Он пишет, что крыса, которая вылезает из норы на поиски добычи, в точности воспроизводит ходы волшебной сказки¹. Можно сказать, что волшебная сказка – это программа мелкого хищника, переведенная на язык культуры. Это древнейший нарратив человечества, еще не до конца порвавшего со своим животным началом. Он создает узкую идентичность, способную объединять только маленькие группы. В современных условиях «локальная» идентичность волшебной сказки скрепляет семью и бандитские формирования. Не случайно «мафия» значит «семья». Память, создаваемая на основе сказочного нарратива, тоже неглубока. Сегодня она обычно ограничивается тремя поколениями. Идентичность, согласно которой «свои» – это только члены семьи или банды, формирует этику эгоистического отношения к окружающему миру.

В государственную эпоху производящего хозяйства на первый план выдвигается героический миф. Идентичность носителей этого мифа постепенно расширяется. На стадии аграрного общества в эпохи древних и средневековых государств она преимущественно ограничивалась господствующей верхушкой. «Верхи» зачастую не считали, что они имеют общую этничность с «низами». В средневековье понятие «нация» охватывало только господ. В период индустриального общества идентичность героического мифа охватила всех граждан современных государств-наций, приобрела «национальный» масштаб. Память, в свою очередь, углубляется. В традиционных обществах она доходила до основателей государственности из первоначальных летописей. В период модерна память в поисках «праэтноса» обращается к археологическим ис-

¹ Burkert W. Creation of the Sacred: Tracks of Biology in Early Religions. Cambridge; Massachusetts, London: Harvard University Press, 1996. P. 58-63.

точникам, порой достигая палеолита. Этика героического мифа носит двойственный характер. По отношению к «своим» она альтруистична, так как учит жертвовать жизнью за «свой» народ. По отношению к «чужим» становится еще более эгоистичной и агрессивной, чем этика волшебной сказки. Это объясняется тем, что цель героического мифа – жертвоприношение врага.

Американский социолог Майкл Манн в книге «Темная сторона демократии» указывает, что практика геноцида эпохи модерна во многом порождена сменой идеи богоданного государя на принцип «власти народа». Древним и средневековым правителям было довольно того, чтобы их разноплеменные подданные исправно платили подати. Суверенный «народ» эпохи модерна считает справедливым единолично распоряжаться «своими» государством и страной. Под «распоряжением» понимается право притеснять, сгонять и даже уничтожать «чужеземцев» и «инородцев». Манн напоминает, что первая демократия эпохи модерна уничтожала индейцев и эксплуатировала чернокожих невольников¹. С тех пор ситуация в США изменилась. Остаткам индейцев выплачиваются компенсации, чернокожим американцам принесено официальное извинение. Бывшие внутренние «чужие» постепенно становятся «своими». Но по отношению к внешним «чужим» США по-прежнему продолжают вести себя жестоко и цинично. Уже в XXI веке под предлогом борьбы за права человека свержаются неугодные режимы в Ираке и в Ливии. При этом американское руководство не обеспокоено тем, что, например, в другом государстве Ближнего Востока – многолетнем союзнике США Саудовской Аравии – Декларация прав человека нарушается не вопреки, а согласно действующему в этой стране законодательству. Это не значит, что США – «плохие», а, скажем, Россия – «хорошая». По сравнению с Россией, где «своими» для представителей власти являются только представители власти, западные демократии, считающие «своими» всех сограждан, – это несомненный шаг вперед. США являются примером предельного развития идентичности и этики в обществе, опирающемся на агрессивный нарратив героического мифа. Совокупность «своих», на которых распространяются этические нормы, ограничивается национальными граница-

¹ Mann M. The Dark Side of Democracy. Explaining Ethnic Cleansing. Cambridge University Press, 2005. P. 55-110.

ми. Это та рамка, за которую государство-нация эпохи модерна не в состоянии переступить.

Английский социолог Мартин Элбрау в книге «Глобальный век» отмечает, что государство-нация жестко связано с капитализмом. Это две стороны одного процесса модернизации¹. Достаточно вспомнить историю страны классического капитализма – Великобритании. Вначале крестьяне сгоняются с земли. Потом их загоняют в работные дома. Для дальнейшего развития капиталу понадобились внешние рынки. Начался захват колоний и колониальные войны. Во второй половине XX в. выяснилось, что содержать колонии нерентабельно: дешевле эксплуатировать богатства третьего мира, освободившись от всяких социальных обязательств. Все эти акции, требующие немалых полицейских и военных сил, капитал и государство-нация совершают в тесной связке.

Бенедикт Андерсон, Эрнст Геллнер, Иммануил Валлерстайн много писали, что нация – это продукт модерна, который появляется в XIX в., но пытается выдать себя за вечную «примордиальную» сущность. Часто остается за рамкой, что капитализм – это тоже по большому счету явление XIX в. В отличие от нации, этот конструкт настаивает на своей вечности не столько в прошлом, сколько в будущем. На мой взгляд, оба феномена модерна – и нация-государство, и капитализм – преходящи, хотя бы по той причине, что породили проблемы, которые не в состоянии разрешить.

Среди множества вызовов, которые не могут получить адекватного ответа в рамках национальных государств и капитализма, необходимо выделить ядерную и экологическую угрозы. Первая грозит человечеству мгновенной смертью. Вторая угроза не столь очевидна и потому гораздо опаснее.

Академиком Никитой Моисеевым и другими учеными доказано, что в ядерной войне не будет победителей. Поскольку все земляне погибнут вне зависимости от того, на чьей территории произойдут ядерные взрывы, то создавать сколь угодно эффективные противоракетные средства бесполезно. Несмотря на это, продолжают разработки еще более мощных модификаций оружия массового поражения. Даже если у руководителей ядерных держав

¹ *Albrow M. The Global Age: State and Society beyond Modernity. Cambridge: Polity, 1996. P. 28-51.*

достанет ума ни в коем случае не пускать его в ход, есть немалая вероятность, что им смогут овладеть международные террористы.

Экологическая проблема порождена, прежде всего, *гонкой потребления*, которая диктуется потребностью капитала в расширенном воспроизводстве. Многие уже столкнулись с проблемой бытовой техники, которая выходит из строя вскоре после окончания срока гарантии. О необходимости следовать последнему крику моды и говорить не стоит. Все это приводит к истощению невозполнимых ресурсов, к губительному для всего живого загрязнению среды, к трате времени и сил на обеспечение демонстративного престижного потребления. Можно заботиться об экологии своей страны, но если вода, почва, воздух будут отравлены в других частях планеты, то губительные последствия затронут весь мир. Глобальное потепление и озоновые дыры также не признают государственных границ.

Третья глобальная проблема связана с тем, что современное развитие техники позволяет автоматизировать выполнение большинства рутинных операций, именуемых трудом. Но в обществе, основанном на формуле «товар – деньги – товар», технический прогресс не воспринимается как освобождение человечества, а оборачивается трагедией потери рабочих мест. «Роботы против рабочих», – так формулируется проблема новых «луддитов»¹. Социал-дарвинистская идеология, согласно которой право заниматься творческой деятельностью принадлежит только избранным «элоям», а «морлоки» обречены на бессмысленный в современных условиях труд, не может быть преодолена в рамках национальных государств и капиталистического строя жизни.

Первым шагом для решения проблем, которые современные государства-нации и постмодерный, так называемый «глобальный капитализм» разрешить не в состоянии, должно стать создание постгосударственных и посткапиталистических форм памяти, идентичности и этики, которые бы соответствовали нашей глобальной эпохе ин-

¹ Byhovskaya A. Robots versus workers // OECD Observer. 2016. Q3, № 307. URL: http://oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/5591/Robots_versus_workers.html (дата обращения – 13.05.2017); Tech Predictions for 2017 and Beyond // Digital and Social Media Leadership Forum. 2017. 3 January. URL: <https://dsmlf.info/tech-predictions-2017-beyond/> (дата обращения: 5.01.2017).

формационной цивилизации. Ее специфика состоит в беспрецедентном изменении цели общественной деятельности. До сих пор львиная доля общественного времени уходила на обретение материальных благ. Разница между присваивающим хозяйством первобытных людей и двумя стадиями производящего хозяйства – аграрной и индустриальной – состояла лишь в количестве продуктов материального потребления. Информационная революция – это в полном смысле переход количества в качество. В отличие от неолитической и промышленной революций, она направлена не на увеличение производительности труда, а на то, чтобы преобладающая часть общественного времени была занята духовным производством – творчеством. Опросы показывают, что стремление к материальным ценностям сегодня присуще представителям «развивающихся», т.е. аграрных и индустриальных наций. В развитых странах, переходящих к глобальной информационной цивилизации, материальная мотивация отходит на второй план, уступая место «самореализации и постматериалистическим ценностям»¹.

Ограниченность материальных ресурсов приводила и приводит к ожесточенной борьбе за них, которая то и дело выливается во внутригрупповое и межгрупповое насилие. Переход от «дикости» и «варварства» к «цивилизации» заключался в установлении государственной монополии на насилие. Благодаря этому постепенно сформировались правила конкуренции за материальные блага согласно законам частной собственности. «Попутным» результатом одержимости общества материальным стала «материализация» творчества посредством авторских прав. Попытка Маркса определить творчество как «сравнительно сложный труд», который представляет собой «возведенный в степень или скорее помноженный простой труд», является не только интеллектуальным поражением гения, но и показывает, в какой степени «экономический материализм» пророка коммунизма определялся буржуазным духом индустриального времени. О том, что «инновационная» творческая деятельность, в отличие от «клишированной» трудовой деятельности, не поддается калькуляции, свидетельствуют как нищета большинства художественных гениев, так и материальное преуспевание многих из их посредственных коллег.

¹ Norris P, Inglehart R. Cosmopolitan Communications. Cultural Diversity in a Globalized World. Cambridge University Press, 2009. P. 307.

Между материальным и духовным производством существует принципиальное различие, которое гениально сформулировано в следующем афоризме: «Если у вас и у меня есть по одному яблоку, и мы с вами ими обменяемся, то у каждого из нас останется по одному яблоку. Если у вас и у меня есть по одной идее, и мы с вами ими обменяемся, то у каждого из нас станет по две идеи»¹. Идеи, в отличие от материальных продуктов, неотчуждаемы. По своей природе они не могут быть собственностью ни одного лица, ни сколь угодно многочисленной группы. Пока большинство людей было вовлечено в материальное производство, творчество – производство идей (информации) было вынуждено «прогибаться» под материальные отношения собственности. Глобальный век становится временем, когда большинство населения занимается производством информации. В ближайшей исторической перспективе в материальном производстве будет участвовать примерно столько же людей, сколько сегодня занято в аграрной промышленности развитых стран – порядка 2%. По этой причине «спиритуальные» законы творчества со временем преобразуют по своему образу и подобию маргинальное для информационной цивилизации материальное производство и основанные на нем отношения собственности. По данным опросов, носители «постматериалистических» ценностей все меньше связывают себя с национально-государственной идентичностью, все больше отождествляются с глобальным человечеством. «Материалисты» же, прямо по Марксу («Патриотизм – идеальная форма чувства собственности»), – поголовно патриоты своих национальных государств².

Глобальной информационной цивилизации нужен новый нарратив. Каким он может быть?

Напомню, что нарратив героического мифа – это волшебная сказка, у которой отсечена цель добычи. Если, в свою очередь, из героического мифа удалить цель жертвоприношения, то возникнет

¹ «If you have an apple and I have an apple and we exchange these apples then you and I will still each have one apple. But if you have an idea and I have an idea and we exchange these ideas, then each of us will have two ideas». Безосновательно приписывается Бернарду Шоу. – Сайт «Quote Investigator». URL: <http://quoteinvestigator.com/2011/12/13/swap-ideas/> (дата обращения – 4.04.2017).

² *Albrow M. The Global Age: State and Society beyond Modernity.* Cambridge: Polity, 1996. P. 195.

нарратив, цель которого – самопожертвование. Эта цель не оправдывает, а отменяет средства. Тем самым в мифе самопожертвования снимается отчуждение, о котором мечтал молодой Маркс (это самая ценная и до сих пор актуальная часть его наследия). В европейской культуре существуют две авторитетных версии мифа самопожертвования: истории Прометея и Христа. Прометей пожертвовал печенью, потому что ему, как пишет Эсхил, стало жалко людей. Христос взошел на крест, чтобы подтвердить делом слово любви к ближнему. В двух названных версиях нарратива самопожертвования речь идет о том, что «свои» – это не эллины и не иудеи, а все люди. На этой основе можно строить глобальную память, идентичность и этику, которые позволяют выйти за губительные для современного человечества национальные и капиталистические рамки. Человечество вымрет, если не осознает, что мы все «свои», что чужих людей нет, что наше отечество – это вся планета Земля.

Пространство нарратива самопожертвования – «глобально». В этом состоит отличие порождаемой им идентичности от «локальной» и «национальной» идентичностей, соответственно, волшебной сказки и героического мифа. Планетарная «предельность» пространства глобальной идентичности определяет временные пределы глобальной памяти, упирающейся в эпоху «большого взрыва». На стадии «глобальности» исчезают групповые интересы, питавшие прежние формы памяти. Память-идентичность становится тождественной истории-истине (Морис Хальбвакс). Глобальная этика, включающая весь род людской в число «своих», приводит к революционным изменениям сознания. Она приравнивает войны к таким «табуированным» преступлениям, как кровосмешение и каннибализм (Зигмунд Фрейд), заставляет ужаснуться тому, что усилия лучших умов приближают ядерную и экологическую катастрофы. Этика, основанная на нарративе самопожертвования, утверждает, что самореализация – это не право так называемой «элиты», а обязанность каждого. Становится стыдно, что в современном мире, несмотря на неслыханное развитие техники, множество людей зарабатывают на пропитание либо в качестве двигателя ручных орудий, либо в роли нервного придатка к станкам, машинам и компьютерам.

Маркс упорно искал «движущую силу», которая сможет снять отчуждение. Его ставка на промышленных рабочих не оправда-

лась: даже гениям не всегда дано заглянуть в будущее. Но сегодня не надо быть гением, надо просто внимательно взглянуть на окружающий мир. У нарратива самопожертвования появился, как сейчас принято говорить, «носитель»: это волонтерское движение, которое не просто увеличивается количественно (например, в современной Великобритании им занимается не менее 20% населения страны¹), но и давно пересекло национальные границы. Названия таких волонтерских организаций, как «Корпус мира» и «Врачи без границ», говорят сами за себя. Представители этих и других волонтерских организаций, подобно русским народникам, отправляются учить и лечить «униженных и оскорбленных». Отличие состоит в том, что для многих волонтеров нашего времени понятие своего «народа» перешагнуло границы государства, этноса, религии, расы и охватывает всю Землю. Волонтеры по всему миру – это пока еще «вещь в себе». Они действуют в согласии с этикой нарратива самопожертвования, не осознавая до конца своей общей памяти и идентичности. Задача ученых, людей литературы и искусства, журналистов, других творцов и трансляторов смыслов состоит в том, чтобы сформулировать и донести эту память и идентичность до носителей волонтерской этики, превратить их в «вещь из себя и для иного», т.е. в сознательный авангард современного человечества. На смену престижному потреблению эпохи модерна должно прийти престижное жертвование на благо глобального человечества. На этом пути есть огромное число препятствий. Но если ничего не делать, то ничего и не получится.

¹ Rochester C., Paine A.E., Howlett S., Zimmeck M. Volunteering and Society in the 21st Century. Palgrave Macmillan, 2010. P. 38.

А.В. Святославский

**МЕЖДУ ВЫМЫСЛОМ И РЕАЛЬНОСТЬЮ:
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА И ПУБЛИЦИСТИКА
КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК**

Предлагаемая вниманию читателей статья посвящена литературным произведениям документально-публицистического и беллетристического рода как историческим источникам. Работа во многом носит обзорно-аналитический характер, поскольку мы постарались собрать целый ряд показавшихся нам полезными мнений известных ученых по данной проблематике. Впрочем, для начала обратимся к категории письменных источников как таковых, не делая различий между их видами. На первый взгляд, априори подразумевается, что слабые места, присущие беллетристике, публицистике и произведениям драматургии как историческим источникам и не позволяющие в принципе ставить вопрос об исторической верности созданных в них образов, преодолены в научных историографических работах. Однако, как ни удивительно, и к ним подчас предъявляются те же претензии, что и к плодам авторского художественного вымысла. А.Я. Гуревич в начале 1990-х гг. следующим образом обозначил эти слабые места применительно к методологии исторического исследования. «Мы обрели свободу, – писал он, – в том числе свободу мысли, – хотя бы внешне, формально. Но подлинная свобода научного творчества возможна лишь при условии, что историк напряженно вдумывается в эпистемологические основания своего исследования, творчески и критически осваивая при этом достижения гуманитарного знания своего времени. Эта работа только начинается и затрагивает сравнительно небольшую часть историков. Дело в том, что наши коллеги в большинстве своем довольно беззаботны в отношении к методу и теории познания, а потому, даже избавившись от повинности клясться именами “основоположников” и обновляя тематику своих изысканий (подчас меняя “черное” на “белое” или наоборот), они остаются во власти тех изживших себя принципов и обветшавших познавательных приемов, которые были им внушены в

“доброе старое время”»¹. Это о родном, российском. Однако далее Гуревич обращается к постмодернистской «болезни» конца XX в., которая все более ошутимо заражала умы на Западе (а сегодня, добавим, и в России), известной под разными названиями как нарратология, деконструкция, теория «смерти автора» и тому подобное. Методологически сторонники нового подхода к анализу текста, рождение которого было ознаменовано, в частности, появлением очерка Р. Барта «Смерть автора» (1967), обратившись к интересующей нас проблеме соотношения научных, публицистических и художественных произведений, дошли до абсурдного предела. Различия между указанными видами произведений были по существу сняты введением специфического представления о тексте как о самодостаточной реальности. Текст исторического ли источника, историографического ли исследования, или художественного произведения – словом, любой текст объявлялся источником бесконечного количества интерпретаций, которые *должно* производить совершенно независимо от авторских установок, мотиваций, исторического контекста, то есть всего, что когда-то составило основу методологии культурно-исторической школы. Гуревич следующим образом объясняет сущность этой методологической революции на Западе: «Текст историка, утверждают постмодернисты, – это повествовательный дискурс, нарратив, подчиняющийся тем же правилам риторики, которые обнаруживаются в художественной литературе. Если последовательно стоять на подобной точке зрения, то не окажется ли, что любая версия истории в равной мере имеет право на существование и безразлична к истине: она способна выразить, собственно, лишь взгляды и оценки автора исторического сочинения, взгляды, по сути своей субъективные. Но если писатель или поэт свободно играет смыслами, прибегает к художественным коллажам, позволяет себе произвольно сближать и смешивать разные эпохи и тексты, то историк работает с историческим источником, и его построения никак не могут полностью отвлечься от некоторой данности, не выдуманной им, но обязывающей его предложить по возможности точную и глубокую ее интерпретацию»².

¹ Гуревич А.Я. Историк конца XX в. в поисках метода // Одиссей. Человек в истории. 1996. М.: Наука, 1996. С. 5.

² Там же. С. 7.

В настоящей работе мы обращаемся к материалу исторической публицистики и беллетристики (границы между ними не всегда могут быть легко обозначены) как историческому источнику. Эти виды словесности давно стали полем горячих споров и дискуссий в области литературоведения и литературной критики именно с позиций оценки правильности, или, как чаще говорят, *верности* отражения реальной действительности. Жанры исторической повести, исторического романа и, тем более, очерка массовой читательской аудитории почти всегда представляются полноценным историческим источником, совершенно идентичным любому другому историческому документу, от которого массовый читатель требует полной объективности в отражении исторических событий и изображении исторических лиц. Тем самым в массовой культуре стирается грань между двумя понятиями термина «история»: историей как *res gestae* и историей как *rerum gestarum*. Иначе говоря, беллетристика и публицистика до сих пор воспринимаются многими как источник абсолютно достоверного отражения событий истории. Является ли беллетристика и публицистика историческим источником для профессионала-историка? Однозначно – да. Но только источником специфическим, имеющим мало общего с массовым пониманием этого рода литературы, воспринимаемой в массовой культуре как объективное свидетельство об исторических событиях и лицах, возникающих на ее страницах.

Откуда берется такое неверное в сущности отношение к беллетризованной словесности в масскульте? Возможно, это является результатом господства позитивизма – не как философского течения, но как свойственной массовой психологии XX века привычки видеть явления точной науки в проявлениях культуры, в том числе художественной. Дело усугубляется тем, что законы исторической беллетристики побуждают автора вводить так называемый внелитературный материал, описывая реальные лица и события (Кутузов и Наполеон в «Войне и мире» Л.Н. Толстого), то есть обращаясь к «темам, имеющим реальное значение вне рамки художественного вымысла»³.

³ Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика: Учеб. пособие / Вступ. статья Н.Д. Тмарченко; Комм. С.Н. Бройтмана при участии Н.Д. Тмарченко. М.: Аспект Пресс, 1999. С. 129.

Для читателя, условно говоря, элитарного, то есть отдающего себе отчет в том, что в искусстве мы видим в первую очередь портрет автора, а не реальные события истории, проблема «правильности», тем не менее, остается. Она касается претензий читателей, критиков, литературоведов (в т. ч. представителей господствующей идеологии) к тому, что жертвой искажений стали *прообразы и прототипы* тех героев, которые действовали на страницах произведений или на театральной сцене. При этом можно различать претензии к «искажению» облика реального человека, с одной стороны, и претензии к неверному изображению типического, с другой, – типических лиц, поступков, типичных ситуаций, типичных образов мышления и т.д. В последнем случае автору ставится в вину неверное отображение той или иной культурной действительности, культурной среды.

И тогда возникает следующий вопрос: намеренно ли автор становится на путь «искажения» истины, или он являет читателю свое видение, будучи убежден, что он вполне объективен. Особенно болезненно воспринимается сатира и антиутопия, поскольку читателю предстоит самому догадаться, насколько масштабны и типичны объекты осмеяния, или же они носят локальный характер («если *кто-то кое-где* у нас *порой* честно жить не хочет», как пелось в характерной советской песне на слова поэта А. Горехова).

Каковы могут быть причины умышленного искажения или недоговаривания? Они лежат в области идеологии, политики, социального управления, проявляясь в пропаганде, в сфере образования и просвещения, в освещении событий в СМИ. Вообще-то, если речь идет о средствах массовой информации, намеренное искажение фактов нередко рассматривается как нарушение этики журналиста, однако журналистские кодексы и принципы, включая известные максимы Герберта Пола Грайса, на практике нарушаются повседневно и повсеместно. В то же время попытки ввести произвол в освещении событий в некое этическое русло предпринимаются. Так, Национальная коммуникативная ассоциация США в 2007 г. приняла «Кредо коммуникативной этики» (NCA Credo for Communication Ethics), где основными принципами информирования о событиях и лицах были названы правдивость, точность, честность и обоснованность информации. Пункт «обоснованность» соответствует известному правилу Лейбница, гласящему, что не

может считаться истинным положение, если оно не подкреплено ссылкой на другое положение, истинность которого доказана. На практике это правило нередко подменяется риторическим приемом «ссылки на авторитет», широко использовавшимся, например, в недавнем советском прошлом, — когда утверждение, высказанное классиками марксизма-ленинизма или признанными в свое время авторитетами исторической и философской науки, будь то М.Н. Покровский, М.Б. Митин или сам И.В. Сталин, считалось по определению истинным. Так, одним из «железобетонных» слогов-обоснований была в то время вырванная из контекста ленинской статьи «Три источника и три составных части марксизма» фраза «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно»⁴. Эта максима отменяла необходимость логических доказательств.

Что касается замалчивания истины, то его нередко объясняют «пользой дела», считая, что обладание истиной может повредить носителю массовой культуры, не готовому к ее восприятию. На этом с древности строится вся эзотерика для избранных. Любой современный учебник отечественной истории может быть при большом желании заподозрен в предвзятости, выражающейся в отборе фактов, выстроенных под определенную концепцию. Показательно письмо М. Горького Е.Д. Кусковой, где он, рассуждая о том, как следует сочувствующему СССР писателю-эмигранту изображать во многом несовершенную советскую действительность конца 1920-х гг., высказывал следующие мысли: «Мне кажется, что людям вашего типа следовало бы обращать внимание не на мою грубость, а на совершенно изумительную циническую грубость эмигрантской прессы. На ее поражающую лживость и вообще на понимание ею моральной грамотности. Односторонность? Но ведь Вы в письме Вашем тоже односторонни — и как еще! Между нами тут есть, разумеется, существенное различие: у Вас есть привычка не молчать о явлениях, которые вас возмущают, я же не только считаю себя вправе и могу молчать о них, но даже отношу это умение к числу моих достоинств. Это — аморально? Пусть будет так. Но не считайте это парадоксом или вообще какой-то словесной уловкой. Суть в том, что искреннейше и непоколебимо ненавижу правду, которая на 99 процентов есть мерзость и ложь. Вам, вероятно, известно, что будучи в России, я

⁴ Ленин В.И. ПСС. Изд. 5-е. Т. 23. М.: Политиздат, 1973. С. 43.

публично, и печатно, и в товарищеских беседах выступал против “самокритики”, против оглушения и ослепления людей скверной, ядовитой пылью будничной правды. Успеха я, разумеется, не имел. Но это меня не охлаждает, я знаю, что 150 млн. массе русского народа эта правда вредна и что людям необходима другая правда, которая не понижала бы, а повышала рабочую и творческую энергию. Такая правда, возбуждая доверие человека к воле своей, к разуму, уже посеяна в массе; она дает превосходные результаты»⁵. Фактически, говоря о необходимости звать народ «вперед и выше», в приведенном письме Горький закладывает фундамент принципов социалистического реализма, понимаемого как специфический советский *романтический* реализм с его попыткой отыскать образ счастливого «завтра» в реалиях сегодняшнего дня и представить эти элементы идеального как характерное и типичное для самой политической системы реального сегодняшнего социализма. Впрочем, проблема «лжи во спасение», как известно, была поставлена Горьким значительно ранее – созданием образа Луки в пьесе «На дне». В дальнейшем уже советской критике пришлось немало поработать, чтобы убедить смотревших и читавших пьесу, что Горький *осудил* этот принцип лжи во спасение в лице Луки, хотя никто не знает достоверно, о чем думал Горький в 1902 г., когда создавалась пьеса, а цитированное нами письмо от 1929 г. говорит о своего рода самоцензуре Горького в избрании реальных, но отталкивающих сторон жизни.

Оставим теперь проблему намеренного утаивания и искажения в отражении действительности и обратимся ко второй категории умолчаний и искажений, связанных с особенностями авторского видения. Здесь, впрочем, мы вступаем в область теории отражения как таковой, безотносительно искусства и беллетристики. В известной детской книжке Николая Носова дворовый пес Бобик, увидев себя в зеркале, с возмущением отвечает пытающемуся убедить его в верности зеркального отображения Барбосу: «Что ты!.. Там какая-то противная собака, и лапы у нее кривые»⁶. Действительно, нередко и беллетристы, и историки видят действительность не такой, какая она видится другим, а такой, какой *хотелось*

⁵ Кускова Е.Д. Трагедия Максима Горького // Новый журнал. Нью-Йорк, 1954. № 38. С. 241.

⁶ Носов Н.Н. Бобик в гостях у Барбоса / Издание И.П. Носова. М.: «Махаон», 2016. С. 7.

бы видеть ее автору, – просто в силу того, что они люди и ничто человеческое им не чуждо.

Впрочем, с точки зрения эстетики, обвинения в адрес беллетристов в искажении истины видятся нелепыми, поскольку теория художественного творчества учит нас тому, что именно наличие «зазора» между реальной и художественной картиной мира и является необходимым условием художественности. Художник со своим субъективным видением мира всегда присутствует в тех картинах действительности, которые он живописует, даже если при этом исходит из принципов реализма в искусстве как *жизнеподобия*. Более того, сама теория отражения говорит о том, что не может быть формирования двух абсолютно идентичных образов при восприятии одного и того же объекта реальности двумя реципиентами. Иницилируя коммуникационный акт, коммуникатор способствует формированию своего собственного образа в сознании реципиента путем интерпретации (не случайно основатель семиотики Ч. Пирс и назвал соответствующий компонент своей семиотической триады *интерпретантой*, представляющей собой результат осмысления реципиентом полученной информации). Субъективное начало в восприятии присутствует всегда. В теории межкультурной коммуникации это явление получило название культурных очков⁷. Человек в процессе коммуникации видит мир через очки своей культуры, своего фонового знания, своей индивидуальной природы, своего жизненного опыта.

Философ М.С. Каган, рассуждая о формировании художественного образа, писал: «образная внутренняя форма искусства порождается не мышлением самим по себе и не переживанием – эти механизмы психики созидательной способности не имеют, а силою “продуктивного воображения” (И. Кант), *творческой фантазии*, которая и осуществляет непосредственно, с помощью мышления и ориентируемая переживанием, идеальное реконструирование реальности, практические операции в пределах духовного воссоздания бытия... Не случайно поэтому синонимом понятия “искусство” стало “художественное творчество”, тогда как выражение “научное творчество” является метафорой, обозначающей способность *открытия* нового,

⁷ См., например: Klein, Helen A. Cognition in natural settings: The Cultural lens model // Cultural Ergonomics: Advances in Human Performance and Cognitive Engineering, ed. M. Kaplan. Oxford: Elsevier, 2004. P. 249-280.

а не *созидания* нового – ведь наука познает бытие, а искусство *творит* мнимое бытие – “художественную реальность”, творчество же, в точном смысле этого слова, есть именно *создание* некоей новой формы бытия, хотя бы и мнимой [курсив М.С. Кагана. – А.С.]»⁸.

К затронутой нами теме относится и интересное рассуждение о формировании образа действительности у Альберта Эйнштейна, писавшего: «Человек стремится каким-то адекватным способом создать в себе простую и ясную картину мира для того, чтобы оторваться от мира ощущений, чтобы в известной степени попытаться заменить этот мир созданной таким образом картиной. Этим занимаются художник, поэт, теоретизирующий философ и естествоиспытатель, каждый по-своему. На эту картину и ее оформление человек переносит центр тяжести своей духовной жизни, чтобы в ней обрести покой и уверенность, которые он не может найти в слишком тесном головокружительном круговороте собственной жизни»⁹.

А как относится к проблеме профессиональный историк? Об ответственности историка при отображении личности в свете проблемы объективного/субъективного Поль Рикёр пишет следующее: «Историк идет к людям прошлого со своим специфическим человеческим опытом. Момент, когда субъективность историка приобретает способность постигать, наступает тогда, когда история воспроизводит ценности прежней человеческой жизни вне всякой критической хронологии. Это восстановление в памяти ценностей, которое в конечном счете является единственным доступным нам способом возрождения людей, если не считать нашей способности переживать то, что они переживали, невозможно без кровной “заинтересованности” историка в этих ценностях, без глубинной причастности им; речь не идет о том, что историк должен разделять веру своих героев, в этом случае мы имели бы не историю, а апологетику, то есть жизнеописания святых; историк должен суметь с помощью гипотезы признать их веру, иными словами, окунуться в проблематику этой веры, постоянно держа ее в “подвешенном состоянии” и “нейтрализуя”, как если бы она была ныне существующей верой»¹⁰.

⁸ Каган М.С. Эстетика как философская наука. СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1997. С. 265-266.

⁹ Эйнштейн А. Мотивы научного исследования // Эйнштейн А. Собр. науч. трудов. Т. 4. М.: «Наука», 1967. С. 40.

¹⁰ Рикёр П. История и истина / Пер. с фр. СПб.: Алетейя, 2002. С. 44.

Критические замечания, дискуссии, споры и тяжбы вокруг проблемы правдоподобия пронизывают насквозь всю историю литературы. Так, в конце XIX – начале XX века в печати вспыхнула полемика вокруг образа старца Зосимы из романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы», в которую оказалось вовлечено несколько крупнейших деятелей русской культуры. Достоевский, воспользовавшись впечатлениями от своей поездки с Вл. Соловьевым в Оптину пустынь, создал весьма яркий и весомый для реализации замысла романа образ старца Зосимы – с оглядкой на реального старца, преп. Амвросия Оптинского. Однако живший в те годы в Оптиной известный философ К.Н. Леонтьев выступил с резкой критикой романного Зосимы как *не соответствующего* реальному образу Амвросия. Леонтьев обвинил Достоевского в том, что тот смущает читательскую публику, потому что-де в образ Зосимы Достоевский вложил *свои* мысли и слова, а не мысли и слова реального Амвросия. «В Оптиной “Братьев Карамазовых”, – утверждал Леонтьев, – правильным православным сочинением не признают, и старец Зосима ничуть ни учением, ни характером на отца Амвросия не похож. Достоевский описал только его наружность, но говорить его заставил совершенно не то, что он говорит, и не в том стиле, в каком Амвросий выражается. У отца Амвросия прежде всего строго церковная мистика, и уж потом – прикладная мораль. У отца Зосимы (устаами которого говорит сам Федор Михайлович!) – прежде всего – мораль, “любовь”, “любовь” и т. д., ну а мистика очень слаба. Не верьте ему [Достоевскому – А.С.], когда он хвалится, что знает монашество, он знает хорошо только свою проповедь любви – и больше ничего»¹¹.

Казалось бы, Достоевский не ставит задачу написания жития преп. Амвросия, и всем это должно быть ясно. Но это не ясно Леонтьеву, и тогда в полемику втягивается целый ряд известных имен: В.В. Розанов, Н.Н. Страхов, Вл. Соловьев, Д.А. Стахеев, причем Розанов, подводя итоги, замечает, что авторитет монашества в России благодаря образу Зосимы только вырос, и, стало быть, даже с ортодоксально церковной точки зрения ничего плохого не произошло¹².

¹¹ Из переписки К.Н. Леонтьева / Предисл. и прим. В.В. Розанова // Русский вестник. 1903. № 4. С. 652.

¹² Подробнее об этом в нашей статье: Святославский А.В. Ф.М. Достоевский и преподобный Амвросий Оптинский: К дискуссии

Как показывает опыт литературной борьбы, поднятая проблема особенно остро стояла там, где трудно провести четкую грань между литературой документальной и литературой художественной, в частности, в жанрах публицистики: дневниках, мемуаристике, путевых записках и тому подобном. В русской литературе существует целый ряд известных и безусловно талантливых авторов, в значительной мере проявивших себя как мастера этого «пограничного» вида литературы. Назовем среди них Глеба Успенского, В.А. Гиляровского, К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, А.С. Макаренко... Так, например, очерк самой своей жанровой спецификой располагает к размышлению о зыбких границах документального и художественного, а ведь из очерковой литературы подчас складывались целые книги, а авторы их подпадали под обвинения в субъективной трактовке фактов и изображении лиц. Пришвин, опубликовавший в 1926 г. книгу путешествий «Родники Берендея», стал жертвой достаточно жесткой, чтобы не сказать больше, критики со стороны тогдашнего директора Переславского краеведческого музея М.И. Смирнова за неверное изображение действительности. Отметив возможный интерес к книге со стороны публики, далекой от переславских реалий, Смирнов тем не менее считал, что «переславцев, прекрасно знающих свои места, окружавших их лиц, и в частности, и в общем, его [Пришвина – А.С.] книжка не удовлетворила и раздосадовала, как дешевенькое зеркало, в котором вы не узнаете свою физиономию. Слишком много в ней фальшивого, утрированного ради эффекта»¹³.

Еще более неприятной в аспекте исторической достоверности оказалась история создания романа «Молодая гвардия» Александром Фадеевым. Во-первых, после выхода романа в 1946 г. зазвучала (в этот раз – читательская) критика в адрес автора, который-де изобразил подпольщиков Краснодона, героев романа «Молодая гвардия», чересчур идеализированно. На встрече с читателями Фа-

вокруг образа старца Зосимы из романа «Братья Карамазовы» // Культура Российской провинции: Век XX – XXI веку. Мат-лы Всерос. науч.-практ. конф. 23-26 мая 2000. Калуга: Издат. Дом «Эйдос», 2000. С. 148-158.

¹³ Смирнов М.И. М.М. Пришвин в Переславле-Залесском // М.И. Смирнов и М.М. Пришвин в Переславле-Залесском (1925–1926) / сост. Т.В. Смирнова. Сергиев Посад: ООО «Все для Вас Сергиев Посад», 2013. С. 60.

деев вынужден был оправдывать свою «литературную ретушь», исходя из принципов соцреализма (не случайно все чаще называемого в наши дни романтическим реализмом). Продолжая утверждать, что в «Молодой гвардии» изображены обычные, но в то же время *передовые* юноши и девушки, он, в частности, сказал: «Вообще всякая повседневная жизнь полна мелочей, обыденных, скучных, случайных, которые, однако, изрядно заполняют жизнь и часто кажутся важнее, чем они есть на самом деле. Их вовсе не обязан показывать художник <...> Изображая молодогвардейцев, пришлось отбросить мелкое, лишнее, повседневное и рассказать главное. В этом и состоит задача всякого истинного художественного произведения»¹⁴. Но этими замечаниями дело не ограничилось. Куда более серьезной была критика по указанию «сверху», ударившая по первой редакции романа «Молодая гвардия», где не было «должным образом» показано партийное руководство молодежным подпольем Краснодона. Роман пришлось переделывать, хотя поначалу Фадеев пытался оправдаться, как раз апеллируя к праву художника не следовать буквально реальной действительности. Но главная беда Фадеева (а, возможно, отчасти вина) состояла, как показало время, совсем в другом – в неадекватном и некорректном по отношению к памяти героев Краснодона изображении ряда конкретных лиц в романе, имевших под собой реальные прообразы. Известна прогремевшая еще в 1960-х гг. история с мнимым «предателем» Стаховичем, под которым подразумевался реальный Виктор Третьякевич, в действительности оказавшийся после обнаружения авторитетных документов-источников не предателем, а героем, к тому же игравшим основную роль в организации подполья (в романе же роль главного организатора отдана Олегу Кошевому). Целый ряд других «натяжек» и искажений в разрекламированном романе в итоге даже повредил репутации как покойных, так и живущих краснодонцев. Беда это или вина Фадеева? Здесь сказалась опасность работы беллетриста с недостоверными источниками, поскольку, в отличие от своих ранних произведений («Разлив», «Разгром»), здесь Фадеев писал о реалиях, для него совершенно посторонних, не связанных с его личной судьбой; писал

¹⁴ Фадеев А.А. Встреча с читателями // Фадеев А.А. Собр. соч.: в 7 т. Т. 5. М.: Худож. литература, 1971. С. 453.

о событиях, в отношении которых он не был «включенным наблюдателем», как сказали бы социологи. И предоставленные ему документы (в том числе протоколы допросов), и субъективные свидетельства очевидцев (в том числе матери Олега Кошевого) нуждались в очень тщательной источниковедческой экспертизе, в которой писателю-беллетристу должны были помочь профессиональные историки, к тому же при условии достаточного ресурса времени (первая редакция романа создавалась в спешке) и возможности доступа к широкому спектру источников. Впоследствии, чтобы не компрометировать уже изданный и прочитанный многими роман, идеологи КПСС предпочли даже не афишировать полученные новые данные, опровергавшие те, которыми располагал Фадеев.

Однако изредка исход дебатов вокруг достоверности текста оказывался обратным. Удивительный, на первый взгляд, случай произошел на исходе 1930-х гг., в период, когда, как видится нам из сегодняшнего дня, советская литература активно занималась приукрашиванием родной социалистической действительности. Новый творческий метод, названный социалистическим реализмом (в противовес критическому), как мы уже говорили, благословлял это делать на вполне законных основаниях. И вот совершенно вопреки основному пафосу тогдашней литературы известный критик Ф. Левин в статье, увидевшей свет в последнем номере журнала «Литературный критик» за 1938 год, обвинил писателя-педагога А.С. Макаренко в неоправданном *приукрашивании* действительности на страницах недавно опубликованной тем повести «Флаги на башнях»¹⁵. Факт удивительный, ибо речь шла о приукрашивании не буржуазной заграницы, не царской России (за что полагалось критиковать авторов), а о приукрашивании самой что ни на есть советской действительности – в части изображения «перековавшихся», как тогда говорили, малолетних преступников, которые выступают на страницах повести благообразными советскими юношами и девушками. Выпад Левина был неожиданным еще и тем, что под огонь критики попал человек, который прежде всего был педагогом и писал о своем реальном педагогическом опыте, что, к слову сказать, нередко вызывало у ценителей изящ-

¹⁵ Левин Ф.М. «Четвертая повесть» Макаренко // Литературный критик. 1938. № 12. С. 138-154.

ного слова определенный скепсис по поводу возможностей Макаренко как литератора-беллетриста. Тем не менее, Левин поставил под сомнение возможность существования среди «трудного» контингента таких аккуратных, красивых, симпатичных, умных детей, какими они предстали со страниц повести. Повесть показалась Левину сказкой, рассказанной «добрым дядей» Макаренко.

Впрочем, Макаренко повезло больше, чем Достоевскому с его образом Зосимы и Пришвину с его «Родниками». Историческую правдивость изображения подростков подтвердили... сами бывшие воспитанники Макаренко, откликнувшиеся на критику. Ими было написано открытое письмо Ф. Левину и редактору «Литературного критика» О. Войтинской, где, в частности, говорилось следующее: «Наш долг – долг коммунаров, наследников светлого имени Антона Семеновича Макаренко, долг советских граждан, большевиков партийных и непартийных – вернуть истине свое место. Мы требуем, чтобы гражданин Ф. Левин публично отказался от напечатанной им статьи в “Литературном критике”. На совещании критиков, посвященном разбору этого дела, Ф. Левин заявил, что его никто не может принудить “расшаркиваться перед урной А.С. Макаренко”. Циничность и бестактность этой фразы не требуют комментариев. Мы можем уверить нашу общественность, что приложим все старания, чтобы оградить дорогую нам могилу А.С. Макаренко от людей, подобных Ф. Левину, ибо так может сказать человек, для которого нет ничего святого». В чем квинтэссенция критической статьи? – задают далее вопрос коммунары и отвечают: «В том, что “добрый дяденька Макаренко” пишет, дескать, “неправдоподобную сказку, идиллию”, которая никогда не осуществится и которую осуществить невозможно. А мы утверждаем, что это клевета не только на А.С. Макаренко, но и на советскую жизнь. Мы во всеуслышание заявляем, что жизнь, описанная в книге А.С. Макаренко “Флаги на башнях”, существовала, что действительно была в Харькове коммуна им. Ф.Э. Дзержинского, названная в романе “Колония Первого мая”, и что мы ее воспитанники. Там действительно был дворец, там была жизнь коллектива, стоящая неизмеримо выше простого общежития неорганизованных ребят»¹⁶.

¹⁶ Калабалин С., Тубин А, Салько Л. и др. Редактору «Литературной газеты» О. Войтинской и критику Ф. Левину // Макаренко А.С. Педагогические сочинения. В 8 т. Т. 7. М.: «Просвещение», 1986. С. 292.

Впрочем, и сам Макаренко ответил критику, правда, ответ был опубликован уже после кончины писателя. Макаренко писал, в частности, что не принимает «упрека в том, что в моей повести много красивых. Я такими вижу детей, – продолжает он, – это мое право. Почему Вы не упрекаете Толстого в том, что у него так много красивых в “Войне и мире”? Он любил свой класс – я люблю свое общество, многие люди кажутся мне красивыми»¹⁷.

Мы выбрали именно это место из письма Макаренко, потому что здесь речь идет уже не о попытке максимально объективного изображения подростков в повести, а о субъективном видении автора – человека-педагога и, как следствие, человека-художника. Макаренко подчеркивает, что любовь преобразует духовное зрение человека и объект любви *кажется* красивым, а значит, по существу *становится* красивым для любящего. Неслучайна и ссылка на Льва Толстого, у которого в его беллетристических произведениях есть свои любимые герои, которых он любит как реальных, как родных – Андрей Болконский, Наташа Ростова, Константин Левин. Разница в том, что при естественном наличии прототипов и даже прообразов у Толстого они не столь «прозрачны», как у Макаренко. Впрочем, все хорошо знают реакцию Василия Степановича Перфильева на образ Стивы Облонского в «Анне Карениной», заметившего, – как вспоминала Т.А. Кузминская, – своему приятелю-автору по прочтении романа: «Ну, Левочка, цельного калача с маслом за кофеом я никогда не съедал. Это ты на меня уж наклепал!»¹⁸. И это при том, что среди прообразов Стивы назывались тогда и другие лица, но Перфильев принял обрисованный не без иронии образ однозначно на свой счет.

Анализируя всю историю взаимоотношений советской власти (цензуры, идеологических органов ВКП(б)-КПСС, руководства Союза писателей, официальной критики) и советских литераторов, приходишь к выводу, что львиная доля властных претензий к литературным произведениям (вплоть до политических преследований) была так или иначе связана с обвинениями в искажении дей-

¹⁷ Макаренко А.С. Открытое письмо товарищу Ф. Левину // Макаренко А.С. Педагогические сочинения: в 8 т. Т. 7. М.: «Педагогика», 1986. С. 207.

¹⁸ Кузминская Т.А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. Воспоминания. Изд. 3-е. Тула, 1959. С. 322.

ствительности, в неверном отражении событий, в неверной интерпретации этих событий и т.д. Что же касается необходимости всегда и всюду выводить на первый план ведущую роль партии, то эта особенность сопровождала всю историю советской литературы, придавая социалистическому реализму некоторый оттенок классицизма, требовавшего, как известно, жесткого следования канону.

Еще в 1934 г., по следам Первого съезда советских писателей, член ЦК ВКП(б), оргсекретарь Союза советских писателей А.С. Щербаков написал целую рецензию в ответ на присланную ему для прочтения прозаиком Александром Авдеенко рукопись романа «Столица»; первым и самым важным замечанием Щербакова было следующее: «Художественное произведение о пятилетке не может претендовать на значительность..., если в этом произведении более или менее развернуто не отражена героическая и руководящая роль партии»¹⁹.

Указанная особенность порождала штампы, когда в литературе, театре и кинематографе господствовала, например, следующая сюжетная схема: изображался плохой или заблуждающийся руководитель, будь то директор предприятия или председатель колхоза, а рядом – как носитель положительного идеала – секретарь райкома, благодаря которому плохого начальника снимают или тот встает на путь исправления. Отклонения встречались редко и не могли носить принципиального характера. Впрочем, сокрушительной критике с последующим исключением из партии и из Союза советских писателей подвергся тот же Александр Авдеенко в 1940 г. за сценарий кинофильма «Закон жизни», где нечистоплотным в личной жизни героем, развращающим молодежь, оказывается секретарь обкома комсомола. В финале фильма этот герой был естественным образом развенчан и посрамлен с помощью вышестоящей партийной власти, но все же этого Авдеенко не простили, обвинив его в клевете на советскую молодежь.

Естественно, тенденция к украшательству со временем создавала искушение все чаще и чаще подменять реальное положение дел художественной ретушью не только в беллетристике, но и там, где места вымыслу не должно быть. Это и позволило к началу

¹⁹ А.С. Щербаков – А.О. Авдеенко (не позднее 17 ноября 1934 г.) // «Счастье литературы». Государство и писатели. 1925–1938. Документы / Сост. Д.Л. Бабиченко. М.: РОССПЭН, 1997. С. 179.

1990-х гг. известному социологу А.А. Зиновьеву различать две категории советской действительности: реальность «субстанциальную» и реальность «виртуальную».

Представление об «исторической верности» в изображении событий и лиц применительно к советской литературе соцреализма (как оно сложилось в 1930-х гг.) так или иначе выводило на дискуссию о типичности, типизации образа. Вышло так, что именно вопрос о типичности в литературе оказался в фокусе внимания высших партийных органов после сделанного Г.М. Маленковым в 1952 г. Отчетного доклада XIX съезду КПСС. Как мы уже упоминали, в советское (да и в досоветское) время нередко возникали социальные бури вокруг обличительного – сатирического, или даже просто иронического, – в искусстве. Совершенно запретить критику недостатков, в том числе в литературе, было неприлично, потому что идеологи ВКП(б)-КПСС присягали на верность В.И. Ленину, а Ленин, как известно, считал, что без самокритики движение вперед невозможно. Тем не менее, в 1946 г. грянула кампания против А.А. Ахматовой и М.М. Зощенко (Постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград» от 14 августа 1946 г.), когда Зощенко был обвинен в карикатурном изображении советской действительности – за рассказ «Приключения обезьяны» и повесть «Перед восходом солнца». После этого число писателей, желающих критически взглянуть на советскую действительность, естественно, поубавилось. Удивительно, но Постановление было принято по итогам выступления Сталина на заседании Оргбюро ЦК ВКП(б) 9 августа 1946 г., в котором вождь, в частности, приветствовал критику. Правда, в его выступлении речь шла о недостаточно критическом отношении коллег к Зощенко, которого доселе пропускали на журнальные страницы, закрывая глаза на недостатки его творчества. Сталин тогда сказал, что «мы приветствуем людей, которые нас критикуют. Неприятно это, но приветствуем, потому что без такой критики может сгнить человек»²⁰. Таким образом, в данном конкретном случае приветство-

²⁰ Выступление товарища Сталина на заседании Оргбюро ЦК ВКП(б) 9 августа 1946 года по вопросу о журналах «Звезда» и «Ленинград» // Большая цензура: Писатели и журналисты в стране Советов. 1917–1956 / Под общ. ред. акад. А.Н. Яковлева; Сост. Л.В. Максименков. М.: МФД Материк, 2005. С. 573.

валась «критика критиков» советской действительности. А как же изображать саму действительность? И вот спустя несколько лет Г.М. Маленков (в котором видели главного преемника Сталина!), выступая с отчетным докладом перед партийным съездом 5 октября 1952 г., сказал буквально следующее: «В своих произведениях наши писатели и художники должны бичевать пороки, недостатки, болезненные явления, имеющие распространение в обществе, раскрывать в положительных художественных образах людей нового типа во всем великолепии их человеческого достоинства и тем самым способствовать воспитанию в людях нашего общества характеров, навыков, привычек, свободных от язв и пороков, порожденных капитализмом. Между тем, в нашей советской беллетристике, драматургии, так же, как в кинематографии, до сих пор отсутствуют такие виды художественных произведений, как сатира. Неправильно было бы думать, что наша советская действительность не дает материала для сатиры. Нам нужны советские Гоголи и Щедрины, которые огнем сатиры выжигали бы из жизни все отрицательное, прогнившее, омертвевшее, все то, что тормозит движение вперед»²¹. Известно, что при подготовке этого доклада Сталин вычеркнул из его проекта именно то место, которое было связано с необходимостью сатиры и бичевания недостатков, но в озвученном Маленковым тексте оно в несколько измененном виде прозвучало! Историки литературы до сих пор гадают, что подвигло Маленкова на столь дерзкий поступок, а одна из гипотез как раз и сводится к тому, что-де делалось это в пику покойному А.А. Жданову, который, как считалось, и был главным инициатором Постановления 1946 г. Осталось загадкой и то, почему Маленкову это «сошло с рук», так что руководство КПСС вернулось к этому вопросу только три года спустя.

По большому счету, вопрос по-прежнему сводился к тому, насколько типичны или нетипичны критикуемые недостатки и темные стороны жизни. Вопрос же о том, где кончается конструктивная критика и начинается клевета, история советской литературы оставила открытым. За обнаруженную идеологами партии не без помощи коллег-писателей «клевету» на советский строй в ро-

²¹ Маленков Г.М. Отчетный доклад XIX съезду партии о работе Центрального комитета ВКП(б) 5 октября 1952 г. М.: Госполитиздат, 1952. С. 114-115.

мане «Доктор Живаго» вскоре пострадал Б.Л. Пастернак, так и оставшийся в полном недоумении от подобного прочтения своего романа («Я весь мир заставил плакать над красой земли моей...»). Еще одним примером субъективного «прочтения» остается тот факт, что многие до сих пор воспринимают творческую манеру писателя Андрея Платонова как выражение некоего жесткого антисоветизма, хотя очевидно, что Платонов был вполне по духу советским.

С другой стороны, нельзя не отметить того факта, что сам Сталин лояльно относился к некоторым гонимым критикой писателям, которые, по его мнению, поднимались над личными пристрастиями ради максимальной объективности в изображении действительности. В беседе с Л. Фейхтвангером Сталин заявил, что «нельзя смешивать вопрос о мировоззрении писателя с его произведениями»²².

Терпимость к писателю, чье творчество признавалось критиками антисоветским, Сталин проявил, например, отвечая на письмо драматурга В.Н. Билль-Белоцерковского, требовавшего убрать пьесы Михаила Булгакова со сцены МХТ (1929 г.). «Что касается собственно пьесы “Дни Турбиных”, – писал вождь, – то она не так уж плоха, ибо она дает больше пользы, чем вреда. Не забудьте, что основное впечатление, остающееся у зрителя от этой пьесы, есть впечатление, благоприятное для большевиков: “если даже такие люди, как Турбины, вынуждены сложить оружие и покориться воле народа, признав свое дело окончательно проигранным, – значит, большевики непобедимы, с ними, большевиками, ничего не поделаешь”, “Дни Турбиных” есть демонстрация всесокрушающей силы большевизма»²³.

Значение беллетристического или беллетризованного публицистического произведения как исторического источника может быть определено при обращении к рассуждениям Марка Блока о житиях средневековых святых (аналогичную работу ранее проделал у нас, как известно, В.О. Ключевский). Марк Блок в своей знаменитой «Апологии истории» специально остановился на пробле-

²² Запись беседы товарища Сталина с германским писателем Лионом Фейхтвангером // Большая цензура: Писатели и журналисты в стране Советов. 1917–1956 / Под общ. ред. акад. А.Н. Яковлева; Сост. Л.В. Максименков. М.: МФД Материк, 2005. С. 447.

²³ Сталин И.В. Ответ Билль-Белоцерковскому // Сталин И.В. Сочинения: в 16 т. Т. 11. М.: ОГИЗ; Государственное издательство политической литературы, 1949. С. 328.

ме заведомо дезинформирующих источников, предлагая не исключать их из поля зрения историка, но применять иные методы исследования по отношению к ним. «Впрочем, – пишет он, – даже в явно намеренных свидетельствах наше внимание сейчас преимущественно привлекает уже не то, что сказано в тексте умышленно. Мы гораздо охотнее хватаемся за то, что автор дает нам понять, сам того не желая. Что для нас поучительнее всего у Сен-Симона? Его нередко искаженные сообщения о событиях того времени? Или же удивительно яркий свет, проливаемый “Мемуарами”, на образ мыслей вельможи при дворе “короля-солнца”? Среди житий святых раннего средневековья по меньшей мере три четверти не дают нам никаких серьезных сведений о благочестивых личностях, чью жизнь они должны изобразить. Но поищем там указаний на особый образ жизни или мышления в эпоху, когда они были написаны, на то, что агиограф отнюдь не собирался нам сообщать, и эти жития станут для нас неоценимыми. При нашей неизбежной подчиненности прошлому мы пользуемся по крайней мере одной льготой: хотя мы обречены знакомиться с ним лишь по его следам, нам все же удастся узнать о нем значительно больше, чем ему угодно было нам открыть. Если браться за дело с умом, это великая победа понимания над данностью»²⁴.

Разного рода исторические источники и историографические работы роднит с художественными литературными произведениями только одно: и те, и другие, и третьи полезны настолько, насколько мы способны понимать историю, вопреки обыкновению, – не как науку об абстрактном «прошлом», а как науку о человеке, точнее, о «людях во времени». Эта мысль Марка Блока кажется нам методологически принципиальной²⁵.

Психология рядового читателя устроена так, что он хочет увлекательного, но не вымышленного повествования, а рассказа о реальном. Отсюда и установка на жизнеподобие, сделавшее реализм в искусстве столь популярным и любимым читателями методом формирования художественного образа. Отсюда и непопулярность, по крайней мере, у российского читателя, постмодернистского подхода, получившего название деконструкции текста или

²⁴ Блок М. Апология истории, или Ремесло историка / Пер. Е.М. Лысенко. Прим. А.А. Гуревича. М.: Наука, 1973. С. 37.

²⁵ Там же. С. 18-19.

«смерти автора», провозглашающее по существу полную независимость образов от реальной действительности, окружавшей автора и по существу «участвовавшей» в формировании образного строя произведения. Напротив, традиции культурно-исторической школы, призывавшей учитывать максимально полный спектр факторов действительности, оказавших влияние на автора и через него на литературное произведение, – живы и востребованы в современной России. Выдающийся отечественный историк-краевед и методолог литературной местнографии Н.П. Анциферов в своих работах 1920-50-х гг. о Достоевском, Пушкине, Гоголе, Блоке убедительно показал, что не только события и персонажи реальной истории, но даже сами местности, где разворачивается действие литературных произведений, у наиболее талантливых литераторов не просто образуют фон, но становятся своего рода героями произведения.

Считается, что дети любят сказки, однако дети любят их ровно настолько, насколько способны воспринимать их содержание как навешанное реальной действительностью. Маленький человек, сидя в театральном зале, более, чем взрослый, ощущает себя реальным участником театрального действия. Работавший когда-то с «трудными» подростками детский писатель Георгий Скребицкий вспоминал, что как-то раз, исчерпав свой запас сказок и будучи призван утихомирить непростой контингент своих воспитанников, он начал рассказывать им реальные истории из собственной жизни. «Рассказ всем ребятам очень понравился, – вспоминал писатель, – гораздо больше, чем сказки или пересказ чужих историй. Понравилось то, что все это не выдуманно, а было на самом деле. С тех пор, как только я приходил на ночное дежурство, ребята требовали, чтобы я рассказывал им еще о своих четвероногих или крылатых приятелях, охотно слушая по несколько раз один и тот же рассказ и сердясь, когда я забывал какую-нибудь подробность или что-нибудь перепутывал. Чувствовалось, что они особенно ценили в рассказе, что это не было придумано, а происходило на самом деле»²⁶.

Обратим внимание на одну важную для поднятой проблемы деталь: в этом эпизоде перед нами не просто «воспоминатель», но человек, наделенный даром писателя, уже тогда начинавший печататься и даже учившийся в брянском Институте Слова. То есть

²⁶ Трушин О.Д., Скребицкий В.Г. Георгий Алексеевич Скребицкий. М.: Изд-во ИКАР, 2017. С. 29.

мы имеем, с одной стороны, повествование о реальных фактах бытия, а с другой – тот факт, что рассказ звучит из уст художника уже как произведение *изящной словесности*, поскольку речь идет не о бытовом (или научном, или ином) дискурсе, а о рассказывании перед аудиторией, перед группой благодарных слушателей, которых надо увлечь этим самым нарративом.

Немало рассуждал о праве художника на собственное видение известный советский драматург, театральный и литературный критик Александр Гладков, обращаясь, в частности, к анализу творчества Константина Паустовского, которого хорошо знал лично. Как известно, Паустовский также не раз подвергался жесткой критике за «искажение» фактов действительности и образов реальных лиц в своем творчестве. В статье «Похвала анекдоту» Гладков вспоминал о том, что слышавший замечательным рассказчиком Паустовский мог по три-четыре раза в разных компаниях в разное время совершенно по-разному рассказывать об одних и тех же событиях, что не только не возмущало присутствовавшего при этом Гладкова, но, напротив, оставляло его благодарным слушателем. Собственно, и сам Гладков оказался своего рода художественным образом в культурном дискурсе Паустовского: «Встречаясь с ним [Паустовским – А.С.], – вспоминал он, – я невольно входил в эту созданную им игру и порой чувствовал, что раздваиваюсь: вот это “я”, а вот “знаменитый книголюб”, выдуманный Паустовским, как он выдумывал многих, кого встречал в своей жизни»²⁷.

Однако Гладков пошел дальше, посвятив рассуждению о художественном вымысле специальную статью с характерным названием «Необходимость и границы вымысла», где он обращается к художественной интуиции Пушкина, позволившей ему сделать Сальери отравителем Моцарта – задолго до того, когда И.Ф. Бэлза сумел доказать факт отравления. «Подняв в своем воображении малодостоверный исторический анекдот до уровня высокой морально-психологической проблемы, он [Пушкин. – А.С.] как художник догадался об этом, и догадка гения оказалась достовернее исторической действительности, такой, какой она представлялась тогда большинству...», – пишет Александр Гладков²⁸.

²⁷ Гладков А.К. Похвала анекдоту // Гладков А.К. Поздние вечера: Воспоминания, статьи, заметки. М.: Сов. писатель, 1986. С. 212.

²⁸ Гладков А.К. Необходимость и границы вымысла // Там же. С. 223.

В 1896 г. В.О. Ключевский опубликовал работу «“Недоросль” Фонвизина (Опыт исторического объяснения учебной пьесы)», где, едва ли не первым в отечественной науке, обратился к исследованию проблемы художественного произведения как исторического источника. Объясняя актуальность пьесы, написанной столетие тому назад, но сохранившей себя в школьной программе и в театральном репертуаре, он отмечал, что, несмотря на наивную «драматическую постройку», устаревший язык и прочие следы архаики, пьеса сохраняет свою актуальность как памятник эпохи. «В наших глазах пьеса утратила свежесть новизны и современности, зато приобрела интерес художественного памятника старины, показывающего, какими понятиями и привычками одобрена та культурная почва, по которой мы ходим и злаками которой мы питаемся»²⁹.

Ключевский следующим образом разводит в стороны историческую верность и художественный вымысел: «Фонвизин, — пишет он, — взял героев “Недоросля” прямо из житейского омуты, и взял, в чем застал, без всяких культурных покрытий, да так и поставил их на сцену со всей неурядицей их отношений, со всем содомом их неприбранных инстинктов и интересов. <...> Фонвизин заставил печально-дурных и глупых людей играть забавно-веселые и часто умные роли. В этом тонком различии *людей* и *ролей* художественное мастерство его *Недоросля*: в нем же источник того сильного впечатления, какое производит эта пьеса [Курсив оригинала — А.С.]»³⁰. В целом как исторический источник, содержащий своего рода наказ и предостережение ныне живущим, «Недоросль» ценен, по Ключевскому, тем, что показал, как дворянство, не желая идти указанным ему Петром I путем просвещения и честного служения, грозит превратить историю своего сословия из оды в комедию. «На сцене представлено было то, что грозило в действительности: комедия хотела дать строгий урок непонятливым людям, чтобы не стать для них зловещим пророчеством», — заключает Ключевский³¹. Обращаясь к проблеме исторической достоверности в художественном образе, Ключевский подводит нас к мысли о вечном нравственном значении пьесы (то есть о том, что в нас сегодняш-

²⁹ Ключевский В.О. Исторические портреты. Деятели исторической мысли / Сост., вступ. ст. и прим. В.А. Александрова. М.: Правда, 1990. С. 343.

³⁰ Там же. С. 348-349.

³¹ Там же. С. 363.

них сидят те же пороки, над которыми мы смеемся, глядя на сцену) и к проблеме прошлого как моста в будущее. И историческая информация (колорит эпохи), и эстетический компонент важны настолько, насколько реализуется главная установка Фонвизина – предостережение на будущее. Вырастут ли схематически набросанные пока «моралистические манекены» Правдин, Стародум, Софья в будущем в живых реальных людей – неизвестно. Связь прошлого, настоящего и будущего удачно отражена в «архитектонической» модели культуры И.В. Кондакова, когда «любая культурная современность может быть представлена в виде трех уровней: снятое содержание (своими корнями уходящее в культурное “прошлое”); актуальное содержание, находящееся *in statu nascendi*, т.е. еще формирующееся, незавершенное; потенциальное содержание (исподволь подготавливающее “будущее” этой современности) – то новое в культуре, которое, с точки зрения современности, еще неочевидно, гипотетично»³².

Таким образом, не вызывает сомнения ценность в качестве исторического источника не только публицистических произведений, но даже и беллетристики, дающей нам некий срез эпохи и картину культуры, то есть быта, нравов, разного рода внешних проявлений культуры. Сложность же возникает обычно в связи с проблемой интерпретации *конкретных* событий и изображения лиц.

Впрочем, сама субъективность авторского взгляда представляет интерес для потомков, будучи историческим источником особого рода, позволяющим увидеть в этом взгляде типичное свидетельство о конкретной культуре (социальном лице автора и т.д.) «Духовное содержание каждого типа художественной культуры обычно воплощает характер общественного сознания, свойственный порождающей его культуре. Речь идет не о диктате идеологии, не об открытом социальном заказе, но о выработке определенного образного строя мышления, отвечающего содержанию и структурным особенностям данного типа духовной культуры»³³.

³² Кондаков И.В. Архитектоника культуры как метод культурно-исторического анализа // *Ex Cathedra*. Современные методы изучения культуры. Сб. статей. М.: РГГУ, 2012. С. 16.

³³ Каган М.С. Художественная культура как подсистема культуры // *Основы теории художественной культуры* / под общ. ред. Л.М. Мосоловой. СПб., 2001. С. 33.

Важнейшее положение культурно-исторической школы, сформулированное ее основателем Ипполитом Тэном еще в XIX в., вполне применимо и к проблеме ценности произведений изящной словесности как исторического источника. Тэн пришел к выводу о том, что «литературное произведение не есть простая игра воображения, самородный каприз, родившийся в горячей голове, но снимок с окружающих нравов и признак известного состояния умов. Отсюда заключили, что возможно по литературным памятникам узнать, как чувствовали и думали люди несколько веков назад»³⁴.

Общий вывод может быть сведен к тому, что и беллетристическая, и публицистическая литература исторического жанра, и научные историографические работы в равной мере во все времена подвергались критике за «искажение» истинного положения дел в истории. В ряду обвиняемых в искажении «исторической правды» оказались и Лев Толстой, и Валентин Пикуль, и Михаил Погодин, и Дмитрий Иловайский, и Михаил Покровский, и наши современники (вспомним так называемое «дело Вдовина-Барсенкова»). Что же делать? Нам видится, что сама ситуация научной дискуссии и околонаучной борьбы дает возможность историкам и культурологам ставить вопрос не только о том, что было «на самом деле» в историческом прошлом, но и вопрос о том, *почему* возникают разные и подчас противоречивые интерпретации одних и тех же фактов, вступая таким образом в сферы идеологии, психологии, гносеологии, герменевтики, эпистемологии. Поэтому для Ключевского в приведенном анализе фонвизинской пьесы были важны не столько реальные прототипы и прообразы, сколько отношение к поставленным в пьесе проблемам, проявлявшее себя в конце XVIII в. и затем, через 100 лет, в конце XIX века. Отрадно сознавать, что работающее под руководством члена-корреспондента РАН, профессора, доктора исторических наук Л.П. Репиной Российское общество интеллектуальной истории успешно реализует подобный методологический подход.

³⁴ Тэн И. О методе критики и об истории литературы. СПб.: И. Юровский, 1896. С. 3.

ПРАКТИКИ ИСТОРИОПИСАНИЯ И ПОЛИТИКА ПАМЯТИ

И.Г. Коновалова

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ В ПРОСТРАНСТВЕ СРЕДНЕВЕКОВОГО ГЕОГРАФА

Изучение исторической памяти занимает особое место в творчестве Лорины Петровны Репиной, которая внесла большой вклад в разработку этой многоплановой проблематики. В настоящей статье мне хотелось бы обратить внимание на один из аспектов исторической памяти, связанный с практикой работы средневекового автора, перед которым – так же, как и перед современным ученым – стояла задача поиска, интерпретации и оценки сведений о прошлом, а также инкорпорации их в свою картину мира.

Данный вопрос будет рассмотрен на материале сочинения крупнейшего средневекового арабского географа ал-Идриси «Отрада страстно желающего пересечь землю» (*Нузхат ал-муштāк фй-хтирāk ал-āфāk*, 1154 г.). Труд ал-Идриси представляет собой описание всех известных автору областей ойкумены. Ал-Идриси взял за основу известное еще со времен античности описание земли по широтным зонам, так называемым «климатам» (араб. *иклīm*). Каждый климат ал-Идриси, в свою очередь, механически разбил на десять поперечных частей-секций (*джуз*¹), равных по длине и ширине. Соответственно, описание стран и народов в сочинении ал-Идриси ведется по климатам, с юга на север, а внутри климатов – по секциям, с запада на восток. Описание каждой секции сопровождается относящейся к ней картой. Будучи сложенные вместе, секционные карты образуют прямоугольную карту мира¹.

¹ *Al-Idrīsī. Opus geographicum sive “Liber ad eorum delectationem qui terras peragrarare studeant” / Consilio et auctoritate E. Cerulli et al. Una cum*

Несмотря на то, что главной целью сочинения ал-Идриси была характеристика пространственных, а не временных объектов, исследование «творческой лаборатории» географа в контексте проблем исторической памяти вполне естественно. Дело в том, что в средневековой исламской литературе граница между сочинениями разных жанров была весьма подвижной, вследствие чего в географических трудах исламских авторов можно найти немало данных исторического характера, а в исторических – богатые сведения по географии. Такое смешение жанров тесно связано с природой образов прошлого, неотъемлемой частью которых является пространственная локализация воспоминаний. Именно поэтому географический текст не является простым набором топонимических данных, но представляет собой органичный элемент целостной ментальной карты, сформировавшейся на базе определенной во времени и пространстве дискурсивной практики, которая, в свою очередь, включает в себя идеологическое обоснование, символическое, топонимическое и историко-культурное освоение пространства, невозможное без обращения к образам прошлого.

Даже беглое знакомство с сочинением ал-Идриси не оставляет сомнений в том, что *Нузхат ал-муштāk* – сочинение тщательно продуманное, весь материал которого расположен в соответствии с географической концепцией автора и теми задачами, которые он ставил перед собой. Сочинение ал-Идриси ни в коей мере не является механической компиляцией разнородных и разновременных источников, имеющей ценность лишь в той мере, в какой она несет новую информацию по сравнению с трудами предшественников. Свою главную задачу ал-Идриси видел не в том, чтобы сообщить читателю нечто новое, а в том, чтобы возможно более полно представить достоверные с его точки зрения сведения о Земле и ее обитателях в форме последовательного рассказа о различных странах, народах и природных объектах².

Исследовательская манера ал-Идриси включала в себя определение границ известного и неизвестного географу. На страницах

alii ed. A. Bombaci et al. Neapoli; Romae, 1970–1984. Fasc. I–IX. О сочинении ал-Идриси см.: Крачковский И.Ю. Избранные сочинения. М.; Л., 1957. Т. IV. С. 281–299.

² Подробное см.: Коновалова И.Г. Ал-Идриси о странах и народах Восточной Европы: Текст, перевод, комментарий. М., 2006. С. 37–38.

его сочинения можно встретить более двух десятков упоминаний о неизвестных ему объектах или явлениях. Чаще всего под категорию неизвестного попадали, конечно, окраинные области ойкумены. Никто, по словам ал-Идриси, не знает, есть ли какая-нибудь обитаемая земля «за Вечными островами»³. Никому не известно, что находится за пределами населенной земли на востоке⁴ или «за морем Мрака» на западе⁵. При этом ал-Идриси неоднократно выражает сомнение в том, что это знание может быть получено в принципе. Вряд ли можно узнать, что находится «за морем Мрака» из-за множества трудностей, поджидающих мореплавателей в этих краях – густого мрака, высоких волн, частых бурь, свирепых ветров и морских чудовищ, обитающих в его водах⁶. Невозможно, с точки зрения ал-Идриси, составить представление о числе тюркских народов Средней Азии – так оно велико⁷.

Если получить знания о том, что лежит «за морем Мрака», ал-Идриси считает невозможным, то возможность собрать данные о наиболее отдаленных районах населенной части земли уже не ставится под сомнение. Ограниченность доступной ему информации вполне осознавалась ал-Идриси. Это видно на целом ряде примеров, касающихся конкретных объектов. Так, ал-Идриси пишет, что ему неизвестно, что следует за «покрытыми мраком землями», потому что все это не дошло до него из описаний⁸. Географ отмечает, что ему осталось неизвестным, кто построил города Никею⁹, Матраху (Тмутаракань)¹⁰, город *ал-Ланийя*¹¹, каковы были названия отдельных городов Китая¹². Ал-Идриси говорит о том, что до него не дошло ни

³ *Al-Idrīsī. Opus geographicum*. P. 17. «Вечные острова» или «Острова Счастливых» – арабские названия Канарских островов, сведения о которых арабские географы заимствовали из античной географии.

⁴ *Ibid.* P. 87.

⁵ *Ibid.* P. 17, 103, 859-860. «Море Мрака» – одно из наименований Атлантического океана в арабской географии.

⁶ *Ibid.* P. 535-537.

⁷ *Ibid.* P. 525.

⁸ *Ibid.* P. 963.

⁹ *Ibid.* P. 805.

¹⁰ *Ibid.* P. 909.

¹¹ *Ibid.* P. 915.

¹² *Ibid.* P. 526.

одного достоверного названия городов северной части Руси¹³. Упомянув об отсутствии в стране печенегов больших городов, ал-Идриси делает оговорку – «по тем сведениям, что дошли до нас»¹⁴.

Поскольку творческий метод ал-Идриси включал в себя установление достоверности приводимых географом данных, посмотрим, что являлось для него критерием истины. Прежде всего, таковым считалась общеизвестность какого-либо факта. Так, сообщение о происхождении названия города «Черная Кумания» от черного цвета протекающей близ него реки ал-Идриси завершает словами о том, что «это хорошо известно и не отрицается никем»¹⁵. Рассказ жителей африканской земли *ал-Вāḫām* об обитающем там удивительном драконе – это, по утверждению ал-Идриси, «общеизвестный факт, который знает всякий»¹⁶. Точно так же искусство индийцев в выделке железа является повсеместно известным фактом, в котором никто не сможет усомниться¹⁷. «Все знают», что в озере *Тухāма* обитает чудесная рыба, обладающая возбуждающим действием на человека¹⁸. В Испании есть горы, на плодородные склоны которых пастухи из разных областей страны стараются пригнать свои стада: там животные нагуливают большой вес и дают отличное молоко, из которого сбивают высококачественное масло, – этот факт, как утверждает ал-Идриси, хорошо известен по всей Испании¹⁹. Достоверность дошедшего до него мнения о том, что царь африканской страны *Ванқāра*²⁰ является самым справедливым из людей, ал-Идриси подтверждает широко известным рассказом об обычае этого царя каждый день проезжать по городским улицам в сопровождении судей для самоличного разбора жалоб своих

¹³ Ibid. P. 957.

¹⁴ Ibid. P. 960.

¹⁵ Ibid. P. 915.

¹⁶ Ibid. P. 122. *Ал-Вāḫām* (букв. «оазисы») – оазисы в пустыне на территории нынешнего Египта и Ливии.

¹⁷ Ibid. P. 67.

¹⁸ Ibid. P. 843. Озеро *Тухāма* – одно из озер на территории Средней Азии или Сибири.

¹⁹ Ibid. P. 538.

²⁰ О местонахождении африканской страны *Ванқāра* см.: Арабские источники X–XII веков по этнографии и истории Африки южнее Сахары / Подг. текстов и пер. В.В. Матвеева и Л.Е. Куббеля. М.; Л., 1965. С. 388–389.

подданных²¹. Рассказав о поразительном случае, когда один человек из племени черных берберов в, казалось бы, совершенно безлюдной пустыне безошибочно указал место, где под землей была вода, ал-Идриси добавляет: «Этот [случай] общеизвестен. Он знаком купцам – жителям этих стран, которые часто о нем рассказывают»²².

Общеизвестность того или иного факта – это не что иное, как знание, основанное на рассказах очевидцев или лиц, выступающих в качестве посредников при передаче информации. Ссылка на свои личные впечатления, а также на рассказы купцов, путешественников, местных жителей является для ал-Идриси одним из критериев достоверности приводимых им сведений. Сам ал-Идриси повидал довольно много стран. Он родился в Сеуте, учился в Кордове и хорошо знал Испанию и Марокко. До своего приезда в Палермо, где при дворе сицилийского короля Рожера II он составил свой географический труд, ал-Идриси побывал в Лиссабоне, на берегах Франции и, по некоторым сведениям, даже в Англии, посетил Малую Азию²³. В *Нузхат ал-муштāк* имеется довольно много ссылок на личные впечатления, вынесенные из путешествий.

Личным впечатлениям нередко отдается предпочтение по сравнению с книжными данными и рассказами путешественников. Так, сообщение о ряде пунктов в Испании подтверждается ссылкой на собственное знакомство с ними²⁴. Рассуждая о морских приливах и отливах, ал-Идриси сопоставляет теории Аристотеля, Архимеда и Селевка Вавилонского с тем, что он сам наблюдал воочию²⁵. Подробно описано посещение им знаменитой пещеры с мощами «семи спящих отроков» в Малой Азии²⁶. В Китае и других странах, относящихся ко второму климату, по словам географа, обитает животное, похожее на кошку; это очень известное животное, которое ал-Идриси видел собственными глазами²⁷.

О большом внимании, которое ал-Идриси уделял сведениям, сообщаемым путешественниками, свидетельствуют многочислен-

²¹ *Al-Idrīsī. Opus geographicum*. P. 23-24.

²² *Ibid.* P. 27-28.

²³ *Крачковский И.Ю.* Избранные сочинения. С. 281-282.

²⁴ *Al-Idrīsī. Opus geographicum*. P. 536-537, 545.

²⁵ *Ibid.* P. 93.

²⁶ *Ibid.* P. 802-803.

²⁷ *Ibid.* P. 205.

ные рассказы о различных путешествиях, имеющиеся в *Нузхат ал-муштāḳ*. Информация такого рода считалась достоверной вне зависимости от того, была ли она получена непосредственно от самих путешественников или же почерпнута из книг. Так, ал-Идриси в подробном рассказе о путешествии Саллама ат-Тарджумана к стене Йаджуджа и Маджуджа (библейских Гога и Магога) передает некоторые детали из основной редакции арабского автора IX в. Ибн Хордадбега, которые не уцелели в дошедшей до нас сокращенной редакции его труда²⁸. Ал-Идриси обстоятельно описывает путешествие восьми братьев по прозвищу *ал-Магрūrūn* в «море Мрака» в X веке²⁹. Географ сохранил рассказ об отправке халифом Харуном ар-Рашидом в Йемен специальной экспедиции для выяснения вопроса о происхождении серой амбры³⁰. В приводимом ал-Идриси описании маршрута из Средней Азии в Китай отразились данные Тамима ибн Бахра ал-Муттаува‘и, ездившего в конце VIII в. к кагану тюркского племени токуз-огузов³¹.

Ссылки на информаторов-путешественников очень часты на страницах *Нузхат ал-муштāḳ*. Среди лиц, от которых ал-Идриси получил сведения о тех или иных странах, фигурируют «один из заслуживающих доверия путешественников, который разъезжал по странам Судана около двадцати лет»³², «один надежный человек из купцов, странствовавший по странам Судана»³³, «путешественники, едущие в страну зинджей»³⁴, лица, побывавшие в Йемене³⁵, Средней Азии³⁶, Индии³⁷ и других странах. По рассказам купцов и путешественников ал-Идриси приводит и некоторые сведения о Восточной Европе. Например, рассказ о рыбе под названием *шахриййа*

²⁸ Ibid. P. 934-938. Ср.: Bibliotheca geographorum arabicorum / Ed. M.J. de Goeje. Lugduni Batavorum, 1889. T. VI. P. 162-170 (Русский перевод: *Ибн Хордадбег*. Книга путей и стран / Пер. с араб., коммент., исслед., указ. и карты Н. Велихановой. Баку, 1986. С. 334).

²⁹ *Al-Idrīsī. Opus geographicum*. P. 548.

³⁰ Ibid. P. 66.

³¹ *Крачковский И.Ю.* Избранные сочинения. С. 137.

³² *Al-Idrīsī. Opus geographicum*. P. 27.

³³ Ibid. P. 108.

³⁴ Ibid. P. 61.

³⁵ Ibid. P. 72.

³⁶ Ibid. P. 837.

³⁷ Ibid. P. 199.

(«ежемесячная»), которую вылавливают рыбаки с черноморского острова *Нүнишика*, сопровождается словами: «Все это достоверно и [хорошо] известно; об этом сообщает множество рассказчиков, тех, кто плыл по этому морю и узнал и обычное, и чудесное о нем»³⁸.

Ссылки на письменные источники у ал-Идриси почти столь же часты, как и на рассказы информаторов. Чаще всего географ просто ссылается на сообщение, взятое им из той или иной книги по какому-либо вопросу, никак не комментируя цитату. Ал-Идриси обращается к книжной традиции по самым разным поводам: для описания отдаленных частей земли, для характеристики диких животных и растений, для описания практически всех географических объектов (рек, озер, морей, островов, гор, оазисов), для сообщения о городах и связывавших их путях, для описания обычаев разных стран и их достопримечательностей, для характеристики природных явлений и для уточнения написания топонимов.

Данные из трудов более ранних географов могут соседствовать на страницах *Нузхат ал-муштāк* со сведениями, полученными от купцов и путешественников. Если информация из разных источников противоречит друг другу, ал-Идриси нередко предоставляет читателю возможность сделать самостоятельное заключение об истинном положении вещей. В таких случаях он приводит все известные ему данные, оставляя их без авторского комментария. Так, без каких-либо комментариев со стороны ал-Идриси даны два сообщения о длине Нила³⁹, три – об африканской реке *Каукау*⁴⁰, два – о том, кто построил Александрийский маяк и дворец Соломона⁴¹, несколько сообщений об охоте на слонов в Индии⁴². Приводя указанное Ибн Хордадбехом расстояние между городами Ирана, ал-Идриси одновременно дает и другую цифру, полученную им от своих информаторов, но при этом ничего не говорит о том, какая из них точнее⁴³.

³⁸ Ibid. P. 921.

³⁹ Ibid. P. 138.

⁴⁰ Ibid. P. 116. Земля *Каукау* (или *Кѹкѹ*) – названия многих городов и поселений в Западной и Центральной Африке (см.: Арабские источники. С. 406).

⁴¹ *Al-Idrīsī*. Opus geographicum. P. 321.

⁴² Ibid. P. 199-202.

⁴³ Ibid. P. 672.

Отсутствие разногласий между сообщениями разных информаторов о том или ином факте также приводится ал-Идриси в качестве критерия истинности сведений. В общем виде такой подход сформулирован самим ал-Идриси следующим образом: географ пишет, что из всего того, что рассказывают ему путешественники и мореплаватели, он передает те сведения, которые совпадают с сообщениями хронистов и географов⁴⁴. Так, при описании болгарских городов ал-Идриси отмечает, что «сведения о них совпадают»⁴⁵. Сообщения о том, что у царя *Ванқара* имеется кирпич из чистого золота, соответствуют действительности – об этом «достоверно знают люди из ал-Магриба ал-Ақсā, и разногласий относительно этого нет»⁴⁶.

Наибольший интерес с точки зрения методов работы ал-Идриси с источниками представляют, конечно, не скупые указания на общеизвестность того или иного факта, а также отсылки к рассказам купцов, путешественников и вообще очевидцев, а более сложные конструкции, содержащие рассуждения и заключения самого автора о достоверности тех или иных сведений. Именно такие развернутые построения дают наилучшую возможность выявить методы работы ал-Идриси.

Хотя ал-Идриси высоко ценил сведения, полученные от путешественников, доверял он им отнюдь не слепо и там, где мог, сверял их с книжными данными. Вот как ал-Идриси опровергает распространенное среди путешественников мнение о том, что река, текущая в Нил из африканской страны *ал-Хабаша* – это якобы и есть Нил: «Большинство путешественников заблуждалось относительно этой реки, говоря, что это Нил. Это [происходило] потому, что они видели, что вода в этой реке прибывает, выходит из берегов и разливается в то время, когда обычно выходит из берегов Нил, а спадает разлив этой реки тогда же, когда спадает разлив Нила. По этой причине большинство людей заблуждаются относительно этой реки, в то время как в действительности это не так, и не делают различия между ней и Нилом, потому что видят у нее описанные нами особенности Нила. Правильность сказанного на-

⁴⁴ Ibid. P. 86.

⁴⁵ Ibid. P. 912.

⁴⁶ Ibid. P. 23. *Магриб ал-Ақсā* (букв. «Дальний Запад») – обозначение части Магриба (Северной Африки) у арабских географов.

ми относительно этой реки – то, что это не Нил – подтверждают книги, посвященные этому предмету, которые рассказывают об этой реке, ее истоке, течении и впадении в рукав Нила около города Билāқ. Об этом рассказывал еще Птолемей Клавдий в своей книге под названием “География”. Об этом упоминал также Хассан ибн ал-Мунзир в “Китāб ал-‘аджā’иб” (“Книге чудес”. — И. К.), в том месте, где он говорит о реках, их истоках и устьях. Этот вопрос принадлежит к числу таких, которые не вызывают сомнений у образованного человека и не могут ввести в заблуждение тех, кто читает книги, посвященные его исследованию»⁴⁷. Таким образом, аргументация ал-Идриси состоит из двух частей. Во-первых, он показывает причины, вызвавшие ложные представления о реке у путешественников. Во-вторых, географ ссылается на книги, где этот вопрос был специально исследован.

Ал-Идриси, конечно, не мог обойти в своей книге столь широко распространенный в мусульманском мире сюжет, как легенда об «обитателях пещеры» (*асхāб ал-кахф*). Коранический рассказ об этих персонажах является вариантом христианского сказания о семи спящих отроках эфесских, распространенного на Ближнем Востоке до утверждения ислама, а затем вошедшего в мусульманскую мифологию, нашедшую отражение в Коране и в коранических сказаниях. Средневековые авторы помещали могилу «людей пещеры» в разных местах исламского мира – в Малой Азии, в Сирии и Палестине, в Йемене, в Магрибе и Испании⁴⁸.

Ал-Идриси, как явствует из его сочинения, был знаком с несколькими вариантами сказания. Во-первых, он слышал о местонахождении этой пещеры в малоазийском городе Эфесе, то есть ему был известен широко распространенный христианский вариант легенды. Во-вторых, кроме него, ал-Идриси упоминает о местной традиции, существовавшей в Андалусии, согласно которой легендарная пещера находилась на юге Испании⁴⁹. Хотя ал-Идриси ничего не говорит о кораническом сказании, оно, несомненно, было ему также хорошо известно. В Коране местонахождение пещеры точно не указано, но детали рассказа дают возможность пред-

⁴⁷ Ibid. P. 42-43 (перевод цит. по: Арабские источники. С. 298-299).

⁴⁸ Пиотровский М.Б. Асхаб ал-кахф // Ислам: Энциклопедический словарь. М., 1991. С. 24.

⁴⁹ *Al-Idrīsī. Opus geographicum*. P. 803.

положить, что в Коране имеется в виду не Эфесская пещера, а погребение на территории римского некрополя в окрестностях современного Аммана, с которым в Сирии и Палестине еще в доисламский период связывали действие этого сказания (К. 18: 9–26).

Сообщения, помещающие пещеру в Эфесе и в Андалусии, ал-Идриси объявляет недостоверными. Основанием для такого утверждения являются его собственные впечатления от посещения пещеры, которая находится, по его словам, между городами Аморий и Никея, т.е. на северо-западе Малой Азии. В описании пещеры, приведенном ал-Идриси, не прослеживается никакой связи с кораническим сказанием⁵⁰.

Иногда заключение о достоверности тех или иных сведений ал-Идриси делает на основе здравого смысла. При описании индийского города Мултана ал-Идриси приводит разные мнения относительно постройки местного храма и находящегося там идола. При этом географ не сомневается в истинности дошедших до него сведений на этот счет, а именно в справедливости того, что храм и идол считаются чудом. Он пишет, что местные жители (или информаторы географа) просто не знают имени человека, построившего храм, и поэтому вынуждены довольствоваться предположениями о том, что это чудо⁵¹. В другом месте *Нузхат ал-муштак* ал-Идриси приводит дошедшее до него мнение о том, будто «озеро Хорезма» (Аральское море) соединяется подземными каналами с «Хазарским морем» (Каспийское море) и что расстояние между ними составляет 18 дней пути. Пересказывая услышанное им мнение, от себя ал-Идриси добавляет, что правдивость данного утверждения сомнительна⁵².

Отдельные сообщения из книжной традиции, с точки зрения ал-Идриси, не заслуживали никакого внимания ввиду своей явной нелепости. Например, в часто цитируемой ал-Идриси «Книге чудес» (*Kitāb al-'adǧā'ib*) имеется рассказ о некоей пещере в стране тюрок, вход в которую охраняют неизвестные существа – то ли люди, то ли звери. Сопоставляя этот рассказ с сообщениями, бытующими в стране тюрок, ал-Идриси упрекает автора «Книги чудес» в передаче таких нелепых сведений, которые он даже не счел возможным пере-

⁵⁰ Пуотровский М.Б. Коранические сказания. М., 1991. С. 137.

⁵¹ *Al-Idrīsī*. *Opus geographicum*. P. 175.

⁵² *Ibid*. P. 683.

числять в своей книге⁵³. Сообщение арабского энциклопедиста X в. ал-Мас'уди об одном дереве, произрастающем в Китае, ал-Идриси счел таким невероятным, что тоже не стал его приводить⁵⁴.

Рассказы местных жителей ал-Идриси был склонен считать более достоверными, чем расхожие, пусть даже и весьма распространенные, мнения. Так, говоря о добыче амбры в Адене, он приводит рассказы местных жителей об ее происхождении из источников на дне моря, содержимое которых выбрасывается на берег во время шторма. Этот рассказ, с точки зрения ал-Идриси, опровергает распространенное мнение о том, что амбра – это экскременты животного. Для усиления своей позиции ал-Идриси ссылается на «Китаб ат-табих» («Книга стряпни») Ибрахима ибн ал-Махди, рассказывающего о том, что знаменитый Харун ар-Рашид послал собирать сведения об амбре именно в Йемен⁵⁵.

Как видно, ал-Идриси при составлении своего труда приходилось иметь дело с самыми разными источниками информации. Мы не знаем, отдавал ли он себе отчет в том, что данные о каком-либо объекте, содержащиеся в различных источниках (например, книжные сообщения, с одной стороны, и сведения купцов и путешественников – с другой), могли относиться к разному времени⁵⁶.

Рассмотрение методов работы ал-Идриси позволяет сделать следующие выводы. Упорядочение собранного материала не сводилось для географа к механическому распределению имевшихся в его распоряжении сведений по тем или иным секциям сочинения. Намереваясь дать в своем труде последовательное и возможно более полное описание всех известных ему стран и народов, ал-Идриси творчески подходил к своим источникам, с тем чтобы исповедуемый им принцип последовательности и полноты изложения соблюсти в наибольшей степени. Географ отдавал себе отчет в том, что его знания о Земле и ее обитателях не безграничны, поэтому он отмечал те явления и объекты, которые были ему неизвестны. Ал-Идриси пытался

⁵³ Ibid. P. 848.

⁵⁴ Ibid. P. 97.

⁵⁵ Ibid. P. 66.

⁵⁶ Подробнее см.: *Коновалова И.Г. Временная глубина Временная глубина пространства в текстах средневековых арабских географов // Диалоги со временем: Память о прошлом в контексте истории / под ред. Л.П. Репиной. М., 2008. С. 266-268.*

установить достоверность тех или иных сведений, включаемых им в состав *Нузхат ал-муштāқ*. Критерием истинности сообщения являлись собственные наблюдения и впечатления географа; рассказы очевидцев – купцов и путешественников; общеизвестность того или иного факта; отсутствие разногласий между разными источниками относительно какого-либо объекта, явления или события; мнение ученых предшественников; доводы разума. В странах Восточной Европы ал-Идриси не бывал, поэтому в соответствующих разделах сочинения нет и указаний на то, что он видел собственными глазами. Тем не менее, авторское отношение к информации можно обнаружить и в этих частях сочинения, хотя в целом оно менее четко выражено, чем в других секциях *Нузхат ал-муштāқ*. Метод ал-Идриси включал в себя сопоставление сведений из различных источников, что не всегда приводило к предпочтению одних данных другим. В ряде случаев информация нескольких источников, невзирая на их одновременность, сводилась географом воедино.

О.И. Тогоева

ИСТОРИЧЕСКИЕ «СЕКРЕТЫ», ИЛИ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ ДЛЯ ОБЫВАТЕЛЯ*

Каждый день газеты и журналы, телевидение и интернет сообщают нам о многочисленных «загадках» истории: о существовании Атлантиды и родных братьев Иисуса Христа, о тайной сексуальной жизни тамплиеров и о папессе Иоанне, чей секрет оказался раскрыт лишь благодаря преждевременно наступившим у нее родам, о победивших смерть и проживших еще долгую жизнь Людовике XVII и Александре I... Нас очень привлекают эти сюжеты – прежде всего потому, что на наших глазах тайное становится явным, и раскрытие очередного «секрета» превращает нас в истинных знатоков прошлого.

К числу подобных «загадок» относятся, без сомнения, и обстоятельства жизни одного из самых знаменитых персонажей западноевропейской средневековой истории – Жанны д'Арк. Мало кто из героев прошлого столь сильно привлекает внимание наших современников. Однако еще меньшее их число может похвастаться законченной *альтернативной* биографией, элементы которой при этом детально проработаны.

* * *

Отечественный читатель знаком с данной версией событий во многом благодаря книге французского автора – Робера Амбелена¹. Написанные ярко и живо, «Драмы и секреты истории» вызвали в свое время большой интерес у просвещенной публики. Да и сюжет казался совершенно захватывающим: главной целью автора было доказать, что Жанна д'Арк не погибла в 1431 г., как всегда было принято думать, но выжила, счастливо вышла замуж и прожила

* Статья подготовлена при поддержке Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Историческая память и российская идентичность» (проект «Профессиональная историография и национальная память: опыт пересечения и взаимодействия в сравнительно-исторической перспективе»).

¹ *Ambelain R. Drame et secrets de l'histoire. P., 1980; русский перевод: Амбелен Р. Драмы и секреты истории. М., 1993.*

долгую жизнь под именем Клод дез Армуаз². Удалось же ей все это потому, что в действительности она была дочерью Изабеллы Баварской (ок.1370–1435) и Людовика Орлеанского (1372–1407), брата французского короля Карла VI (1368–1422). Иными словами, Жанна якобы приходилась родной или сводной сестрой Карлу VII (1403–1461), которому, собственно, и помогла освободить Францию от англичан в ходе Столетней войны³.

Идеи, которые развивал в своем ученом труде Робер Амбелен, на самом деле не являлись его личным открытием. Сюжет о спасении Жанны д'Арк с места казни возник во французской историографии еще в 1683 г., когда Гийом Винье в своем «Письме господину Граммону», опубликованном в *Le Mercure Galant*, впервые заявил о том, что Орлеанская Дева чудесным образом преобразилась в Клод дез Армуаз и остаток жизни провела в Лотарингии⁴. Гипотеза о королевском происхождении национальной героини Франции возникла позднее: в 1819 г. Пьер Каз обосновал ее в двухтомном сочинении «Правда о Жанне д'Арк», особенно упирая на то обстоятельство, что обычная неграмотная крестьянка попросту не могла совершить столь

² «Изыскания и сопоставления, осуществленные специалистами по истории настоящей Жанны д'Арк... приводят к заключению о том, что Девственница скончалась между апрелем и июлем 1446 г., то есть в возрасте 39 лет (она родилась в 1407 г.)... Ее супруг Робер дез Армуаз ненадолго пережил ее: он скончался в 1450 г., через 12 месяцев после смерти Жанны». — Амбелен Р. Указ. соч. С. 222 (курсив мой. — О.Т.).

³ «Возможный интерес Карла Смелого к Жанне получает объяснение в их очевидном родстве. Если и в самом деле Девственница была дочерью Луи Орлеанского и Изабо Баварской, то, значит, она, как уже не раз отмечалось, была еще и единоутробной сестрой Карла VII, Екатерины де Валуа (королевы Англии), а также Мишель де Валуа, первой супруги Филиппа Доброго (отца Карла Смелого, который тем самым оказался деверем Жанны)». — Там же. С. 216.

⁴ Vignier G. Lettre à M. de Grammont // *Le Mercure Galant*. 1683. Novembre. Следует отметить, тем не менее, что данная гипотеза была подвергнута критике уже через год в том же журнале: Vienne-Plancy M. de. Remarques curieuses sur la Pucelle d'Orléans // *Le Mercure Galant*. 1684 (janvier). Тексты обоих писем приводятся в: Leber J. Collection des meilleurs dissertations, notices et traités particuliers relatifs à l'histoire de France. Т. 17. Р., 1838. Р. 371–388. Интерес к теории Г. Винье возник вновь лишь в конце XIX в., когда художник Густав Сав использовал ее в борьбе против шедшего на тот момент полным ходом процесса беатификации Жанны (завершившегося в 1894 г.): Save G. Jehanne des Armoises, Pucelle d'Orléans. Nancy, 1893.

выдающиеся подвиги – в отличие от дочери Изабеллы Баварской, пусть и незаконнорожденной⁵. Наконец, в 1932 г. в «Секрете Жанны д'Арк» Жана Жакоби две эти версии, последователей которых стали со временем называть «сюрвивистами» и «батардистами» соответственно⁶, оказались сведены воедино: по мнению автора, только высокое социальное положение Жанны, о котором знали или догадывались ее современники, могло помочь ей бежать из Руана⁷...

Опубликованная в 1980 г. и переведенная на русский язык в 1993 г. книга Р. Амбелена хорошо знакома и современному читателю. Ее экземпляр хранится в Национальной библиотеке Франции, где располагается, однако, под рубрикой «Спорные сочинения» (*Ouvrages de controverse*)⁸. В отечественных интернет-библиотеках и в обычных книжных магазинах данное произведение, тем не менее, представлено как сугубо «историческое»⁹, т.е. *научное*, и в интернете можно найти массу исключительно лестных отзывов о нем. Так, по мнению читателей, Робер Амбелен «открывает им глаза» на то, «как все было на самом деле», и дела-

⁵ Caze P. La vérité sur Jeanne d'Arc. 2 vol. P., 1819. Эта гипотеза была оспорена только в конце XIX в.: Lecoq de la Marche A. Une fausse Jeanne d'Arc. P., 1871; Puymaigre C. de. La fausse Jeanne d'Arc // Bonne nouvelle d'Alsace. 1885. Avril. P. 533-546.

⁶ От французских слов *survivre* (выжить, уцелеть) и *batard* (бастард, внебрачный ребенок).

⁷ Jacoby J. Le secret de Jeanne d'Arc, Pucelle d'Orléans. P., 1932.

⁸ Весьма спорной представляется и профессиональная деятельность Робера Амбелена (1907–1997). В русскоязычном сегменте «Википедии» сообщается, в частности, что он был не только историком и писателем, членом Всемирной ассоциации франкоязычных писателей, но также являлся «видным французским оккультистом, магом и астрологом, членом Французской академии, великим иерофантом Древнего и изначального устава Мемфис-Мицраим»: Амбелен, Робер // Википедия. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD,%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80> (дата обращения – 12.05.2017).

⁹ См. сайты электронных библиотек RoyalLib (URL: http://royallib.com/book/ambelen_rober/drami_i_sekreti_istorii_1306_1643.html), BookZ (URL: <http://bookz.ru/authors/rober-ambelen/drami-i-458/1-drami-i-458.html>), Detective Book (URL: <http://detectivebooks.ru/book/24653545/>), E-libra (URL: <http://e-libra.ru/read/327291-drami-i-sekreti-istorii-1306-1643.html>) и многих других (дата обращения – 12.05.2017).

ет это «вполне убедительно»¹⁰. Его книгу называют «прекрасной» и «великолепной» и рекомендуют к прочтению как «хорошее справочное пособие», в котором «все с доказательствами» и нет «ничего голословного»¹¹. Автора также именуют борцом с «мифами мировой истории», который «попытался распрощаться с некоторыми легендами в угоду исторической справедливости»¹². Иными словами, в нашей стране сочинение Р. Амбелена является не только весьма популярной, но и уважаемой работой: опираясь именно на нее, многие отечественные любители истории строят свои представления о Жанне д'Арк.

Справедливости ради следует отметить, что французские читатели на поверку также оказываются весьма падки на подобного рода литературу, регулярно появляющуюся на полках книжных магазинов. Так, в сентябре 2007 г. во Франции было издано сочинение Роже Санцига и Марселя Ге «Афера Жанны д'Арк»¹³, продажу которого сопровождал рекламный слоган «Разоблачение одного из самых грандиозных секретов истории» (*Révélation sur l'un des plus grands secrets de l'histoire*). Книга эта представляла собой развитие той же традиции, к которой относилось и произведение Р. Амбелена, и являлась удивительным сплавом идей «сюрреалистов» и «батардистов» о происхождении, обстоятельствах жизни французской героини и, в частности, о ее жизни «после смерти», т.е. после казни девушки в Руане 30 мая 1431 г., – о превращении ее в Клод дез Армуаз, которую в научной литературе принято считать самой известной из всех самозванок, присвоивших себе имя Жанны д'Арк¹⁴.

¹⁰ См., к примеру: I recommend.ru: Отзывы обо всем. URL: <http://www.irecommend.ru/content/tainy-frantsuzskoi-istorii>; Все книги России». URL: https://knigirossii.ru/?menu=show_book&book=1320211 (дата обращения – 12.05.2017).

¹¹ Russian Gothic Page. URL: <http://literature.gothic.ru/reviews/drami.htm> (дата обращения – 12.05.2017).

¹² Корреспондент. URL: <http://korrespondent.net/tech/science/1261420-korrespondent-razrushiteli-legend-uchenye-prodolzhayut-razvenchivat-mify-mirovoj-istorii> (дата обращения – 12.05.2017).

¹³ Senzig R., Gay M. L'Affaire Jeanne d'Arc. P., 2007.

¹⁴ Подробнее о Клод дез Армуаз и других самозванках, выдававших себя за Жанну д'Арк, см.: Тогоева О.И. Феномен Клод дез Армуаз и проблема самоидентификации французов XV в. // Человек XV столетия: грани идентичности / под ред. А.А. Сванидзе, В.А. Ведюшкина. М., 2007. С. 212-226;

О книге Р. Санцига и М. Ге режиссером Мартином Мейссонье был подготовлен большой документальный фильм, 29 марта 2008 г. показанный на одном из наиболее уважаемых в среде французских интеллектуалов ТВ-канале *Arte* – «Истинная Жанна, поддельная Жанна, проверка Жанны д'Арк» (*Vraie Jeanne, fausse Jeanne, Jeanne d'Arc, la contre-enquête*). Гостями программы стали ведущие специалисты по истории французской героини¹⁵, которых, однако, не предупредили, какому именно сюжету посвящена передача. Их интервью записали заранее, и на экран попали лишь отдельные реплики ученых, подобранные таким образом, как будто они подтверждали выводы главного героя программы – одного из авторов «Аферы Жанны д'Арк», Марселя Ге: историки скрывают от простых читателей «подлинную» правду о жизни Жанны и делают это специально, всеми силами поддерживая традиционную версию о простой девушке из деревни, которая полагала себя посланницей Свыше и смогла убедить в этом короля¹⁶. Передача имела большой успех и была специально повторена в Орлеане 5 мая 2008 г. в рамках очередного праздника в честь Жанны д'Арк¹⁷.

Как и следовало ожидать, после выхода фильма вокруг него разгорелся настоящий скандал. Профессиональные историки, помимо своей воли превратившиеся в глазах тысяч зрителей в преданных защитников альтернативной версии жизни французской героини, выступили в газете «Фигаро» с официальным опровержением содержащихся в передаче фактов¹⁸. Было оперативно

Она же. Еретичка, ставшая святой. Две жизни Жанны д'Арк. М.; СПб., 2016. С. 328-333.

¹⁵ Приглашены были Филипп Контамин и Франсуаза Мишо-Фрежавиль, на протяжении долгого времени возглавлявшие Центр Жанны д'Арк в Орлеане, Оливье Бузи – нынешний научный директор Центра, а также Колетт Бон, автор последнего и наиболее полного исследования феномена Орлеанской Девы (*Beaune C. Jeanne d'Arc*. P., 2004).

¹⁶ *Senzig R., Gay M.* Op. cit. P. 103, 122, 152, 279.

¹⁷ Праздник Жанны д'Арк в Орлеане проводится ежегодно, начиная с XV в. Основные торжества приходятся на 8 мая – день, когда отмечается снятие английской осады с города французскими войсками во главе с Жанной д'Арк, имевшее место 8 мая 1429 г. Подробнее см.: *Тогоева О.И.* Еретичка, ставшая святой. С. 474-491; *Она же*. Долгое торжество: праздник 8 мая в Орлеане в политической истории Франции XV-XXI вв. // Событие в исторической памяти / Сб. статей под ред. Л.П. Репиной. М., 2017 (в печати).

¹⁸ *Jeanne et les impostures* // *Le Figaro*. 9.04.2008.

опубликовано несколько разгромных рецензий, авторы которых прямо сравнивали творение Р. Санцига и М. Ге с романом Дэна Брауна «Код да Винчи»¹⁹. Наконец, увидели свет монографии Колетт Бон и Оливье Бузи, посвященные программе на канале *Arte* в частности и развернутой критике позиции «сюрвивистов» и «батардистов» в целом²⁰.

Проблема, собственно, заключалась в том – и профессиональные ученые это прекрасно понимали, – что «документальный» фильм М. Мейссонье посмотрело около миллиона зрителей, вслед за чем был выпущен отдельный DVD-диск, который поступил в продажу уже 9 апреля 2008 г. и отлично раскупался²¹. Таким образом, французские (а вместе с ними и все прочие) специалисты по эпохе Орлеанской Девы впервые, возможно, оказались перед необходимостью задуматься, *какая именно героиня нужна современным любителям Средневековья, зачем им Жанна – королевская дочь, не погибшая в огне костра, но чудесным образом спасшаяся и бежавшая из Руана, дабы продолжить борьбу с англичанами и в конце концов закончить свои дни в окружении любящей семьи.*

Важно отметить, что для историков-специалистов по *études johanniques* данный вопрос, насколько можно судить, до сих пор оставался открытым. До скандала с книгой Р. Санцига и М. Ге они не видели никакой угрозы для своих научных изысканий со стороны псевдоисториков, не понимали, насколько сильное влияние творения этих последних оказывают на читающую публику²². Как следствие, в их работах сложно найти ответ на вопрос, *почему* современным французам оказалась так интересна и близка выжившая по-

¹⁹ Стоит заметить, что две такие рецензии вышли в католических журналах: *Picard E. Da Vinci Code en Lorraine // Histoire du christianisme*. 2008. № 43. P. 26-31; *Bouzy O. Des “révélations” sur Jeanne d’Arc? Ce qu’en disent les historiens // Religions et histoire*. 2009. № 25. P. 58-63.

²⁰ *Beaune C. Jeanne d’Arc. Verités et légendes*. P., 2008 (2012); *Bouzy O. Jeanne d’Arc, l’histoire à l’endroit! Tours*, 2008.

²¹ Его можно купить до сих пор: Amazon.fr. URL: <http://www.amazon.fr/Vraie-Jeanne-fausse-DArc-contre-enqu%C3%AAte/dp/B0014GIZTC> (дата обращения – 12.05.2017).

²² Показательной, с этой точки зрения, представляется фраза Колетт Бон, с которой она начинает свою работу, посвященную критике идей «сюрвивистов» и «батардистов»: «Эта книга родилась не из собственной научной необходимости» (*Beaune C. Jeanne d’Arc. Verités et légendes*. P. 9).

сле казни Жанна д'Арк. Разгадка, однако, с моей точки зрения, кроется в самой сути произведения Р. Санцига и М. Ге, как, впрочем, и в названии работы Р. Амбелена – «Драмы и секреты истории».

* * *

Как мне представляется, современные читатели испытывают особый и, я бы сказала, болезненный интерес именно к историческим «секретам». Они превыше всего ценят конспирологические теории (теории заговора), в которых их привлекает и то, что их *посвящают* в тайное знание (в секреты, которые скрывают от прочей публики профессиональные историки), и то, что им эти секреты *открывают*, т.е. дают насладиться «истинной» историей²³.

В чем же секрет успеха правильного, правильно сконструированного исторического «секрета»? Какие основные элементы должно включать в себя исследование, направленное на раскрытие очередной загадки и способное заинтересовать потенциального читателя?

Прежде всего, исторический «секрет» всегда касается хорошо и заранее известного события или человека. Очень часто речь в подобных псевдоисторических сочинениях идет о совершенно реальном герое прошлого, как та же Жанна д'Арк или, к примеру, Александр I (1777–1825), обстоятельства скоропостижной кончины которого в Таганроге очень быстро обросли массой самых противоречивых и фантастических слухов. Как известно, основная из этих версий, возникшая уже в 1830–1840-х гг., заключалась в том, что император в действительности не умер, но, якобы измученный угрызениями совести (как соучастник убийства своего отца, Павла I), инсценировал свою смерть и вступил на путь отшельничества под именем старца Федора Кузьмича²⁴.

²³ «История в том виде, как ее нам изображали на протяжении многих лет, вполне заслуживает такого приговора (признания ее фальсификацией. – О.Т.). И пора, наконец, выкинуть на свалку эту *умопомрачительную гору лжи*, поставленную на службу более или менее гнусным интересам». – Амбелен Р. Указ. соч. С. 291 (курсив мой. – О.Т.).

²⁴ Любопытно, насколько часто уже в XX в. легенда о Федоре Кузьмиче и Александре I становилась предметом исследования как профессиональных, так и непрофессиональных историков. См., к примеру: *Барятинский В.В.* Царственный мистик (Император Александр I – Феодор Козьмич). М., 1913; *Крупенский П.Н.* Тайна императора (Александр I и Федор Кузьмич). Берлин, 1927; *Зазыкин М.В.* Тайна императора Александра I. Буэнос-Айрес, 1952;

Впрочем, настоящий исторический «секрет» может касаться и персонажа, который лишь *выдается* за реального, как это происходит, в частности, с так называемой папессой Иоанной – женщиной, якобы занимавшей престол римского понтифика под именем Иоанна VIII в период между правлениями Льва IV (790–855) и Бенедикта III († 858)²⁵. Однако в обоих случаях, будь то рассказ о подлинном или о вымышленном герое, читатель, еще не приступая к чтению, должен уже по названию книги или по ее оглавлению понимать, о чем или о ком в ней пойдет речь²⁶.

Сахаров А.Н. Александр I. М., 1998. Гл. 11 «Смерть или уход». К сожалению, в крайне любопытном исследовании Е.А. Ростовцева и Д.А. Сосницкого, посвященном образу Александра I в современной научной и художественной литературе, публицистике и средствах массовой информации (в том числе в сетевых ресурсах), не нашлось места анализу альтернативных версий биографии этого российского императора: *Ростовцев Е.А., Сосницкий Д.А.* Павел I и Александр I в исторической памяти российского общества конца XX – начала XXI в.: на материале нарративных источников // *Власть, общество, армия: от Павла I к Александру I*. Сб. научных статей / сост. и отв. ред. Т.Н. Жуковская. СПб., 2013. С. 241–257.

²⁵ Согласно легенде, Иоанна являлась дочерью английского миссионера и родилась в Майнце или в Ингельхайме. В возрасте 12-ти лет она сошлась с монахом из монастыря Фульды и ушла с ним, передевшись в мужское платье, на Афон. Оказавшись в конце концов в Риме, Иоанна поступила писцом в папскую курию, была выбрана кардиналом, а затем – папой римским. Однако во время одной из торжественных процессий, проходящих по улицам Вечного города, у самозванки начались роды, в результате которых она скончалась (или была убита оскорбленными в религиозных чувствах участниками шествия). Подробнее о папессе Иоанне см.: *Boureau A.* La papesse Jeanne. Formes et fonctions d'une légende au Moyen Age // *Comptes-rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres*. 1984. Т. 3. P. 446–464; *Idem.* La papesse Jeanne. P., 1988 (²1993); *Tinsley B.S.* Pope Joan Polemic in Early Modern France: The Use and Disabuse of Myth // *Sixteenth Century Journal*. 1987. Vol. 18 (3). P. 381–398; *Rustici C.M.* The Afterlife of Pope Joan: Deploying the Popess Legend in Early Modern England. Ann Arbor, 2006.

²⁶ См., к примеру, названия самых разнообразных публикаций, посвященных «подлинной» истории Жанны д'Арк, – «Конец легенды», «Правда о Жанне д'Арк», «Развенчанная легенда», «Жанна д'Арк и ее лилии. Вымысел и правда», «Жанна д'Арк – сестра Карла VII?», «Жанна дез Армуаз, истинная Орлеанская Дева», «Секретная миссия Жанны Девы», «Кто такая Жанна д'Арк?», «Жанна д'Арк: истинная история и возникновение мифа», «Жанна д'Арк. Истина и легенда»: *Lesigne E.* La fin d'une légende. P., 1889; *Andrée F.* La vérité sur Jeanne d'Arc. P., 1895; *Paraf-Javal M.G.* La légende détruite. P., 1929; *Schneider E.* Jeanne d'Arc et ses lys. La légende et l'histoire. P., 1952;

Исторический «секрет» также ни в коем случае не должен основываться на источнике-фальсификации: напротив, псевдоисторики регулярно обвиняют в использовании подобных подделок сообщество профессиональных ученых²⁷. Настоящий же «секрет» всегда апеллирует к «подлинным» документам, с которыми, тем не менее, в альтернативных версиях истории могут происходить весьма специфические метаморфозы. Например, очень часто оказывается, что тексты, на которые ссылается тот или иной самопровозглашенный исследователь, нельзя увидеть и прочесть: они, безусловно, существуют, но их специально «скрывают» сотрудники архивов и библиотек, дабы утаить от широких масс читателей истинную правду о прошлом²⁸. Либо эти документы «воруют» или «теряют» – с теми же, надо полагать, целями. Впрочем, не менее часто исторический источник оказывается вполне подлинным и прекрасно известным научному сообществу.

Эту ситуацию мы наблюдаем, к примеру, в случае с материалами обвинительного и оправдательного процессов Жанны д'Арк (1431 г. и 1455–1456 гг. соответственно)²⁹, которые охотно используются и «сюрреалистами», и «батардистами», однако их данные приводятся крайне произвольно: фразы сознательно искажаются или цитируются с купюрами, что нарушает смысл того или иного пассажа. Так, полностью игнорируя заявления самой Девы на обвинительном процессе 1431 г. о том, что никаких особых денеж-

Bosler J. Jeanne d'Arc était-elle la soeur de Charles VII? Marseille, 1955 (²1962; ³1990); *Pesme G.* Jehanne des Armoises, vraie pucelle d'Orléans. Angoulême, 1960; *Sermoise P. de.* Les missions secrètes de Jehanne la Pucelle. P., 1970; *Crouvezier G.* Qui était Jeanne d'Arc? s.l., 1982; *Lamy M.* Jeanne d'Arc: histoire vraie et genèse d'un mythe. P., 1987 (²1999); *Gomez M.* Jehanne d'Arc, Légende et vérité. P., 2000.

²⁷ «В то же время для поддержки этой версии (т.е. официальной версии истории Жанны д'Арк – О.Т.) были сфабрикованы документы *совершенно апокрифические в худшем смысле этого слова*». – Амбелен Р. Указ. соч. С. 11 (курсив автора. – О.Т.).

²⁸ «Все эти документы видели достойные люди, вполне заслуживающие доверия, и все документы *таинственным образом исчезли* к великой радости защитников традиционной точки зрения». – Там же. С. 10-11 (курсив мой – О.Т.). См. также: Там же. С. 230-232; *Senzig R., Gay M.* Op. cit. P. 19-21, 123, 139, 279.

²⁹ Procès de condamnation de Jeanne d'Arc / Ed. par P. Tisset et Y. Lanhers. 3 vol. P., 1960-1971; Procès en nullité de la condamnation de Jeanne d'Arc / Ed. par P. Duparc. 5 vol. P., 1977-1988.

ных средств в ее распоряжении не имелось и все оружие, одежда и боевые кони были ей подарены (преимущественно Карлом VII и его окружением), Р. Санциг и М. Ге в своей книге утверждают, что девушка «любила роскошь и изысканные вещи»³⁰. Точно так же показания Жана Мореля, односельчанина Жанны д'Арк и одного из свидетелей на процессе по ее реабилитации, используются этими авторами, дабы доказать, что девушка тайно встречалась с придворными дамами своей «истинной» матери, Изабеллы Баварской, в часовне Девы Марии в Бермоне, располагавшемся недалеко от Домреми³¹. В действительности Ж. Морель говорил лишь о том, что Жанна часто бывала в данной часовне, а также о том, что в дни своей юности он знал лично некоторых дам, время от времени живших в их деревне³². То же самое происходит и со сведениями, сообщаемыми, к примеру, в «Дневнике» Парижского горожанина. Так, фраза «Она говорила, что ей около 17 лет» произвольно меняется на «Ей было 27 лет»³³, а пожизненное тюремное заключение, к которому Жанну первоначально приговорили в 1431 г., чудесным образом превращается в «четыре с половиной года тюрьмы»³⁴.

Не менее важной особенностью сочинений псевдоисториков, специализирующихся на периоде Средневековья, является и их страсть к использованию текстов более позднего времени в качестве основного источника сведений о том или ином персонаже прошлого³⁵. Так, при изучении эпопеи Жанны д'Арк принято ссылаться не на современные ей документы XV в., но, к примеру, на жизнеописания знаменитых людей XVII в., авторы которых и сами по себе имели крайне смутное представление об эпопее французской героини³⁶. Однако ни данное обстоятельство, ни такой важ-

³⁰ Procès de condamnation de Jeanne d'Arc. T. 1. P. 49, 84-85, 94-95, 102, 114-115; *Senzig R., Gay M. Op. cit.* P. 81.

³¹ *Senzig R., Gay M. Op. cit.* P. 118.

³² Procès en nullité de la condamnation de Jeanne d'Arc. T. 1. P. 252-255.

³³ Journal d'un bourgeois de Paris de 1405 à 1449 / Ed. par C. Beaune. P., 1990. P. 292. Cp.: *Senzig R., Gay M. Op. cit.* P. 55.

³⁴ Journal d'un bourgeois de Paris. P. 296. Cp.: *Senzig R., Gay M. Op. cit.* P. 198.

³⁵ Наиболее подробно особенности использования псевдоисториками текстов различных эпох применительно к эпопее Жанны д'Арк рассмотрены в следующей работе: *Bouzy O. Jeanne d'Arc, l'histoire à l'endroit!*

³⁶ Об особенностях трактовки эпопеи Жанны д'Арк в жизнеописаниях знаменитых людей XVI-XVII вв. см.: *Тогоева О.И.* Пастушка, ставшая

ный факт, как несоответствие мировоззрения человека эпохи Средневековья (его идеалов, политических и религиозных установок) представлениям об окружающем мире человека Нового времени, псевдоисториками в расчет не берутся. Очевидно, существование общества видится им статичным и не подверженным никаким изменениям, ни внешним, ни внутренним. Иными словами, Средневековые «сюрвивистов», «батардистов» и иже с ними является в большой степени «вторичным», заимствованным у авторов XVII в. вместе с их пониманием социального устройства, правил придворного этикета и даже норм разговорного языка³⁷.

Данное обстоятельство уже само по себе подразумевает, что создание альтернативных версий прошлого – удел отнюдь не профессиональных ученых, но журналистов, юристов и даже художников³⁸, хотя сами они именуют себя и своих коллег по цеху именно «историками», пишущими «истинную» историю в противовес истории «официальной».

Это определение – «официальная история» – вообще является одним из ключевых понятий, которыми пользуются Робер Амбелен и подобные ему авторы³⁹. Навешивание ярлыков и обобщий, довольно агрессивный стиль изложения – еще одна яркая отличительная черта их сочинений⁴⁰. Такой язык повествования призван создать у читателя эффект реальности, соприсутствия при раскрытии очередного «секрета», который скрывают от широких масс профессиональные уче-

амазонкой. Образ Жанны д'Арк во французских жизнеописаниях знаменитых людей XVI-XVII вв. // Адам и Ева. Альманах гендерной истории. 2012. Вып. 20. С. 11-36; *Она же*. Еретичка, ставшая святой. С. 291-327.

³⁷ Bouzy O. Des "révélations". P. 61-62. В целом же, по образному выражению Оливье Бузи, «историк цитирует источники, ...а "сюрвивист-батардист" цитирует других "сюрвивистов-батардистов"». – Bouzy O. Jeanne d'Arc, l'histoire à l'endroit! P. 212.

³⁸ Художником был, как я уже упоминала, Гастон Сав (см. прим. 4). Еще один псевдоисторик, Жан Банкаль, служил в суде первой инстанции г. Монморанси: Bancal J. Jeanne d'Arc, princesse royale. P., 1970. Журналистами, помимо Марселя Ге, являлись, к примеру, Андре Герен и Клод Пастёр: Guérin A. Operation Sheperdess. L., 1959; *Idem*. Et si Jeanne d'Arc s'était évadée? // Revue de deux mondes. 1983. № 9. P. 543-553; Pasteur C. Les deux Jeanne d'Arc. Enquête et débat contradictoire. P.; Genève, 1962.

³⁹ Амбелен Р. Указ. соч. С. 10, 11, 291; Senzig R., Gay M. Op. cit. P. 123, 279.

⁴⁰ Не случайно в «Афере Жанны д'Арк» профессиональные историки регулярно именуются «фундаменталистами официальной истории» и «непримиримыми интегристами»: Senzig R., Gay M. Op. cit. P. 123, 279.

ные⁴¹. Дабы казаться ближе к простым обывателям, псевдоисторики привносят в свои произведения собственные чувства и эмоции, ссылаются на личный опыт – как правило, опыт журналистских расследований, непосредственными участниками которых они и делают читателей. Слова «я уверен», «это мое убеждение», «мы видим», «мы понимаем», «это всем известно» весьма типичны для такого рода текстов⁴². В них нет места гипотезам, но есть лишь *a priori* сформулированная данность. Вот почему очень часто псевдоисторикам вообще не нужны свидетельства, почерпнутые из источников. Напротив, их отсутствие – главное доказательство того, что идея существования заговора профессиональных ученых, скрывающих истину, абсолютно верна. Таким образом, доверительный стиль изложения дополняется не только завлекательным названием, но и – что особенно важно – практически полным отсутствием научного аппарата: если в книге нет примечаний, внимание на них не отвлекается.

Вместе с тем для создания (и одновременно для раскрытия) исторического «секрета», а также для придания повествованию убедительности (и, в немалой степени, для развлечения читающей публики) крайне полезными, с точки зрения псевдоисториков, оказываются иллюстрации. Они также обычно относятся к более позднему времени и очень часто являются подделками. Наиболее известным изображением такого рода применительно к истории Жанны д'Арк следует, без сомнения, признать ее якобы прижизненный «портрет» с мечом и штандартом. Именно он украшает, к примеру, обложку книги С.Ю. Нечаева «Жанна д'Арк. Тайна рождения», само название которой недвусмысленно намекает нам на то, что и в этом случае мы имеем дело с творением «сюрвивиста»–«батардиста»⁴³. В действительно-

⁴¹ «В поисках истины, касающейся Жанны, я, стоя перед ее портретом в Жолни (т.е. в замке семейства дез Армуаз, где якобы проживала Жанна после замужества, – О.Т.), пообещал себе однажды расследовать ее дело так, как будто бы речь шла не об отстоящем от нас на пять веков, но о современном нам событии». – Ibid. Op. cit. P. 36.

⁴² См., к примеру: «Аморальность Изабеллы Баварской была известна всем (*étaient connus de tous*)» (Ibid. P. 64); «Жители деревни всегда знали (*disent depuis toujours*), что Жанна д'Арк жила в этом замке (замке Жолни – О.Т.), где имеется ее портрет... они говорили, что она не могла быть сожжена в Руане» (Ibid. P. 26). См. также: Ibid. P. 17, 153, 219.

⁴³ Нечаев С.Ю. Жанна д'Арк. Тайна рождения. М., 2005. Замечательно, что на обложке автор именуется «Ю. Нечаевым», что само по себе выглядит весьма таинственно.

сти же данное изображение признано фальшивкой, изготовленной в XIX в., пусть даже и на пергамене⁴⁴.

Не менее часто иллюстрации в изданиях псевдоисториков неверно атрибутируются и/или датируются. В частности, в книге Р. Амбелена приводится факсимиле «письма Карла VII от 2 июня 1429 г.», которое, по мнению автора, свидетельствует о том, что именно в этот день французский король «даровал личный герб “Жанне Девственнице” и поручил ей начать вместе с герцогом д’Алансоном осаду г. Жарго»⁴⁵. Если, однако, обратиться к специальной литературе или, к примеру, всего лишь заглянуть в каталог Национальной библиотеки Франции, можно легко понять, что данный текст представляет собой неверную цитату из гербовника 1559 г. – первого, насколько известно профессиональным ученым, официального документа, где оказался воспроизведен герб Орлеанской Девы. В сопровождающей его записи сообщалось, что Карл VII даровал этот знак отличия своей помощнице 2 июня 1429 г., признав тем самым необыкновенную доблесть девушки, проявленную ею в битве *при* Жарго, а также тот факт, что одержанная ею победа явилась «даром Господа и его вмешательством»⁴⁶.

* * *

Так рождаются псевдоисторические «исследования». И хотя список «правил», по которым они создаются, можно легко продолжить, их суть всегда остается одинаковой. Авторы подобных сочинений не интересуются «удивительным» в истории. Ни в том смысле, который в свое время вкладывала в это понятие Кэролайн Байнум, предлагая изучать то, что являлось странным или непо-

⁴⁴ См. об этом: *Beaune C. Le corps de Jeanne, une preuve charnelle de sa sainteté? // Religions et histoire. 2009. № 25. P. 28-33.*

⁴⁵ Амбелен Р. Указ. соч. (вклейка с иллюстрациями). Та же самая атрибуция присутствует, к примеру, и у С.Ю. Нечаева.

⁴⁶ «De la pucelle Jehanne. Le II^e jour de juing MIII^e CXXIX. Le dit sgr Roy ayent congneu les proeses de Jeanne la Pucelle et victoire du don de Dieu et son conseil intervenues. Donne estant en la ville de Chinon armoyries a la dite Jehanne pour son estandart et soy decorer du patron qui s’ensuict. Donnant charge au duc d’Allencon et a icelle Jehanne du siege de Jargueau». – (Evaluation des monnaies d’or et d’argent // Bibliothèque Nationale de France. Ms. fr. 5524. Fol. 142).

стижимым для самих людей Средневековья⁴⁷. Ни в том смысле, который часто придают этому понятию многие современные историки, полагающие удивление важнейшим стимулом к собственным научным изысканиям, одним из возможных путей постижения прошлого, а вместе с тем – способом поделиться радостью этого понимания с окружающими⁴⁸.

Исторические «секреты», напротив, представляют собой ту информацию, которую якобы *сознательно* скрывают от читателей⁴⁹. По мнению псевдоисториков, официальные ученые постоянно врут всем желающим их слушать: они совершенно точно знают о каких-то аутентичных источниках, но либо вообще на них не ссылаются, либо извращают их содержание, либо подгоняют его под заранее принятую «норму». Виновной в сокрытии «истины» – как в случае с Жанной д'Арк, так и в случае с тамплиерами, папессой Иоанной, папой Бонифацием VIII и многими другими историческими персонажами, – признается и католическая церковь, прежде всего Ватикан, стерегущий свои архивы, где надежно спрятаны от посторонних глаз разнообразные и, вне всякого сомнения, самые ценные, с точки зрения псевдоисториков, материалы⁵⁰. В той же степени виновными в сокрытии истины оказываются и сотрудники государственных архивов и библиотек: именно они умышленно воруют, перепродают или просто «теряют» наиболее важные документы, в которых и содержится «подлинная правда» о прошлом⁵¹. И, наконец, в «заговоре» против рядовых

⁴⁷ *Bynum C. Wonder // American Historical Review. 1997. Vol. 102 (1). P. 1-26.* Подробный анализ концепции К. Байнум см.: *Ретина Л.П.* Комбинация микро- и макроподходов в современной британской и американской историографии: несколько казусов и опыт их прочтения // *Историк в поиске. Микро- и макроподходы к изучению прошлого / отв. ред. Ю.Л. Бессмертный. М., 1999. С. 31-63, здесь С. 49-50.*

⁴⁸ *Тогоева О.И.* Об удивлении и удивительном в исторических исследованиях // *Историк в поиске. С. 266-267; Бойцов М.А.* Ограбление мертвых государей как всеобщее увлечение // *Казус. Индивидуальное и уникальное в истории – 2002 / под ред. Ю.Л. Бессмертного и М.А. Бойцова. Вып. 4. М., 2002. С. 137-201, здесь С. 137, 189-190.*

⁴⁹ «Меня не покидает ощущение обмана, в котором они (историки. – О.Т.) нас, не только меня, но и моих сограждан, намеренно томят (*intentionnellement laissés mariner*)». – *Senzig R., Gay M. Op. cit. P. 137.*

⁵⁰ *Амбелен Р.* Указ. соч. С. 230-233; *Senzig R., Gay M. Op. cit. P. 139, 262.*

⁵¹ *Амбелен Р.* Указ. соч. С. 7-10.

читателей регулярно участвуют представители государственных структур, в частности, французское правительство. Так, именно его – неназванные – члены не предоставили в 2001 г. вид на жительство некоему «выдающемуся» украинскому ученому Сергею Горбенко. Заслуга этого последнего, по мнению Р. Санцига и М. Ге, заключалась в идентификации скелета Жанны д'Арк, якобы найденного им в усыпальнице Людовика XI в Клери, куда его тайно перевезли для большей сохранности из Пюлинье-сюр-Мадон (фамильной усыпальницы графов Амбуаз), где Дева была захоронена рядом со своим супругом⁵². Надгробная плита, установленная на месте первого погребения, по мнению всех без исключения «сюрвивистов» и «батардистов», свидетельствовала о королевском происхождении французской героини, но таинственным образом оказалась уничтожена – не иначе, как происками эмиссаров Ватикана⁵³.

Таким образом, главной отличительной чертой всех псевдоисторических сочинений является стойкая уверенность их авторов в том, что истина «где-то рядом», что ее специально скрывают от рядовых читателей, и это – *настоящий заговор*, в котором издавна замешаны как представители государства и церкви, так и собственно ученые.

Откуда происходит подобное недоверие к работам профессиональных историков? Если обратиться к российской действительности, то в определенной степени данная ситуация оказывается прямым следствием и тяжелым наследием советской эпохи: слишком многие факты из нашего недавнего прошлого от нас скрывали, документы и статистику подделывали, фотографии ретушировали или просто уничтожали⁵⁴. Но как в таком случае объяснить неистребимую любовь к конспирологическим теориям, к примеру, во Франции, история которой не была омрачена построением социализма со всеми вытекающими из этого последствиями? Почему французским читателям не в меньшей степени, нежели русским, так необходимы

⁵² Senzig R., Gay M. Op. cit. P. 19-21. См. также: Новости Крыма. Комсомольская правда в Крыму. URL: <http://www.crimea.kp.ru/daily/23183/25587/>, Корреспондент.net. URL: <http://korrespondent.net/showbiz/85698-a-by-la-li-zhanna-dark> (дата обращения – 12.05.2017).

⁵³ Senzig R., Gay M. Op. cit. P. 262-263, 271.

⁵⁴ Одним из наиболее ярких свидетельств подобного отношения к прошлому в нашей стране стала публикация Дэвида Кинга: *Кинг Д.* Пропавшие комиссары. Фальсификация фотографий и произведений искусства в Сталинскую эпоху. М., 2005 (²2012).

«секреты» и, как следствие, их «раскрытие»? Почему у них точно так же, как у нас, в 60–70 гг. XX в. был популярен Морис Дрюон с его выдуманными «Проклятыми королями», а в начале XXI в. – Дэн Браун с его не менее фантастичными сюжетами из жизни Ватикана, монашеских орденов и масонских лож?

Одно из возможных (и здесь я ни в коем случае не претендую на полноту охвата материала) объяснений данного парадокса заключается в некоторой «однобокости» самого современного историописания. Как писал в свое время Оноре де Бальзак, «существует две истории: история официальная, ложная, та, которую преподают [нам в школе], ...и история тайная, в которой кроются истинные причины [произошедших] событий»⁵⁵. На мой взгляд, в этих словах присутствует большая доля истины, поскольку та версия истории, которая обычно представлена в школьных и университетских учебниках, является исключительно политической, государственно-институциональной. Факты, касающиеся быта, повседневной и частной жизни наших предков, а также особенностей их мировосприятия, авторами чаще всего из повествования исключаются. Как следствие, у читателей возникает совершенно закономерный интерес именно к этой сфере⁵⁶.

Подобное объяснение вполне подходит, к примеру, к эпосе той же Жанны д'Арк, поскольку все, что домысливают за профессиональных историков «сюрвивисты» и «батардисты», по большому счету касается именно *частной* жизни французской героини: ее происхождения, социального статуса ее родителей, ее образования и системы ценностей, ее семейной жизни «после смерти». Точно так же можно понять и интерес к альтернативной версии жизни Иисуса Христа, у которого, согласно тому же Роберу Амбе-

⁵⁵ «Il y a deux histoires: l'histoire officielle, menteuse qu'on enseigne, ...puis l'histoire secrète, où sont les véritables causes des événements». – *Balzac H. de. Illusions perdues*. P., 1966. P. 590). Любопытно, что эти же слова вынесены, в частности, в качестве эпиграфа к книге С.Ю. Нечаева: *Нечаев С.Ю.* Указ. соч. С. 1.

⁵⁶ «Даже если эта версия истории Жанны (версия «батардистов»-«сюрвивистов». – *О.Т.*) и может показаться неожиданной, мне она представляется значительно более убедительной, чем та, что навязывают всем французским школьникам». – *Senzig R., Gay M.* Op. cit. P. 152.

лену, имелся брат-близнец и еще два родных брата⁵⁷, или к истории папессы Иоанны с ее не вовремя случившимися родами.

Также вполне возможным объяснением (в частности, применительно к эпосе Жанны д'Арк) особой любви псевдоисториков и их последователей к «секретности» представляется вариант с мифологическим или даже сказочным прочтением действительности. Согласно канону, главная героиня любой волшебной сказки в конце повествования должна обрести личное счастье, поскольку подобный рассказ всегда заканчивается хорошо: Белоснежка и Мертвая царевна просыпаются, Красная Шапочка и ее бабушка избегают зубов волка, Василиса Прекрасная достается отнюдь не Кощею Бессмертному, а Ивану-царевичу (пусть он даже и дурак)⁵⁸. Таков один из *инвариантов* поведения сказочного героя, не умирающего никогда, но живущего «долго и счастливо»: именно так можно объяснить и возникновение альтернативной версии жизни Жанны д'Арк, которая не сгорела в пламени костра, но спаслась и вышла замуж. Любопытно при этом отметить, что появление данной версии событий в XVII в. совпало по времени с кампанией по переработке многих известных сказочных сюжетов, когда печальный или страшный конец истории сознательно заменялся европейскими литераторами (например, Шарлем Перро) на счастливый⁵⁹. Иными словами, читатели Нового времени (впро-

⁵⁷ *Ambelain R. Jésus ou le Mortel secret des Templiers. P., 1970.* Русский перевод: Амбелен Р. Иисус, или Смертельная тайна тамплиеров. СПб., 2007.

⁵⁸ Подробнее см.: *Протт В.Я.* Морфология волшебной сказки. М., 2003. С. 50-52, 59; *Он же.* Исторические корни волшебной сказки. Л., 1986. С. 298-351; *Мелетинский Е.М., Неклюдов С.Ю., Новик Е.С., Сегал Д.М.* Проблемы структурного описания волшебной сказки // Структура волшебной сказки. М., 2001. С. 11-121, здесь С. 65.

⁵⁹ См. об этом: *Дарнтон Р.* Крестьяне рассказывают сказки: Сокровенный смысл «Сказок матушки Гусыни» // Дарнтон Р. Великое кошачье побоище и другие эпизоды из истории французской культуры. М., 2002. С. 13-90; *Jacquet J.* La terrible origine des contes de fees. URL: <https://www.abebooks.fr/livres/la-terrible-origine-des-contes-de-fees/index.shtml> (дата обращения – 12.05.2017). Заимствованные Ш. Перро и другими европейскими авторами сюжеты многих волшебных сказок в их более или менее первоизданном виде можно найти в сборнике «Сказка сказок» (*Lo cunto de li cunti*) Джамбаттисты Базиле, опубликованном в Неаполе в 1634-1636 гг. С недавнего времени эти истории доступны и для русского читателя: *Базиле Дж.* Сказка сказок / Пер. с неапол. П. Епифанова. СПб., 2016.

чем, как и многие наши современники) подсознательно ждали и продолжают ждать от любой истории – от *хорошо рассказанной* истории – именно такой, положительной развязки. Особенно когда ее главный герой действительно их интересует, когда в нем чувствуется некая харизма, когда он является *истинным* героем, как та же самая Жанна д'Арк или Людовик XVII⁶⁰.

Однако вместе с тем – и это еще один принцип конструирования правильного «секрета» – герой альтернативного псевдоисторического повествования обязан быть *реалистичным*. Современные читатели, как кажется, не испытывают склонности к поискам «чудесного» в истории: напротив, их превыше всего интересует *рациональное* объяснение фактов. Именно на противопоставлении «чудесного» (в том виде, в котором его понимали люди Средневековья и в котором его пытаются осознать профессиональные медиависты⁶¹) и «рационального» построена вся книга Р. Санцига и М. Ге, для которых королевское происхождение Жанны д'Арк является *единственным* возможным объяснением всех тех, действительно странных и удивительных, с нашей точки зрения, событий, которые с ней происходили⁶². Ту же самую ситуацию мы наблюдаем и в современном кинематографе, для которого, особенно в последние десятилетия, стали нормой поиски рациональных причин, подвигших, к примеру, ту же Жанну д'Арк на «поход во Францию». Безусловно, одним из наиболее показательных примеров здесь является фильм Люка Бессона *The Messenger: The Story of Joan of Arc* (1999 г., в русском прокате «Жанна д'Арк»), в котором данное решение героини увязывалось с изнасилованием и последующей гибелью ее старшей сестры Екатерины, а вовсе не с «голосами» святых, которые ее якобы направляли⁶³.

⁶⁰ О многочисленных претендентах на имя Людовика XVII см. прежде всего: Бовыкин Д.Ю. Король умер?... (Посмертная судьба Людовика XVII) // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории – 2004 / Под ред. М.А. Бойцова и И.Н. Данилевского. Вып. 5. М., 2005. С. 328-350.

⁶¹ О понимании чудесного в эпоху Средневековья см. краткий экскурс: Лучицкая С.И., АрнаUTOва Ю.Е. Чудо // Словарь средневековой культуры / Под ред. А.Я. Гуревича. М., 2003. С. 575-578.

⁶² «История Жанны д'Арк, в которой чудеса и пророчества заменяют знание». – Senzig R., Gay M. Op. cit. P. 16. См. также: Ibid. P. 92, 107, 190-191.

⁶³ Следует, тем не менее, отметить, что вплоть до конца 60-х гг. XX в. в многочисленных фильмах, посвященных Жанне д'Арк, преобладал все же

Еще одно возможное объяснение живучести альтернативной версии эпопеи Жанны д'Арк кроется, вне всякого сомнения, в особенностях *политического* прочтения ее образа во Франции, для которой она всегда оставалась одним из важнейших «мест памяти» – исторической фигурой, повлиявшей на становление национального самосознания французов⁶⁴. Вместе с тем она по-прежнему является предметом ожесточенных споров между либеральными и консервативными политическими кругами, которые до сих пор не могут поделить ее между собой⁶⁵. Это, пусть и неявное, разделение общества находит отражение и в среде псевдоисториков, поскольку к лагерю «батардистов» относятся в большинстве случаев монархисты и католики, а к лагерю «сюрвивистов» –

исторический подход. Так, знаменитый немой фильм Карла Теодора Дрейера «Страсти Жанны д'Арк» (1928 г.), как и фильм Робера Брессона «Процесс Жанны д'Арк» (1962 г.), основывался исключительно на материалах обвинительного процесса 1431 г. На съемках «Жанны д'Арк» Виктора Флеминга (1948 г.) научным консультантом выступал Пьер Донкёр, выдающийся знаток средневековой истории и издатель документов по эпопее Орлеанской Девы. На съемках фильма «Начало» Глеба Панфилова (1970 г.) таким же научным консультантом был В.И. Райцес: *Hilaire Y.-M. Jeanne d'Arc, dès romantiques à nos jours // Histoire du Christianisme*. 2008. № 43. P. 60-67; *Абрамович С.Л.* Владимир Ильич Райцес. Памятные записки // *Средние века*. 1997. № 60. С. 346-362. О развитии образа Жанны д'Арк в кинематографе см.: *Etudes cinématographiques*. 1962. № spécial 18-19 "Jeanne d'Arc à l'écran"; *Margolis N.* Joan of Arc in History, Literature, and Film: A Select, Annotated Bibliography. N.Y., 1990. P. 393-406; *Harty K.J.* Jeanne au cinéma // *Fresh Verdicts on Joan of Arc* / Ed. by B. Wheeler, C.T. Wood. N.Y.; L., 1996. P. 237-264; *Michaud-Fréjaville F.* Cinema, Histoire: autour du thème "johannique" // *Cahiers de Recherches Médiévales*. 2005. № 12 spécial: Une ville, une destinée: Recherches sur Orléans et Jeanne d'Arc. En l'honneur de Françoise Michaud-Fréjaville. P. 285-300; *Amiel V.* Les représentations de Jeanne d'Arc au cinéma // *De l'hérétique à la sainte. Les procès de Jeanne d'Arc revisités. Actes du colloque international de Cerisy (1^{er}-4 octobre 2009)* / Éd. par F. Neveux. Caen, 2012. P. 297-303.

⁶⁴ Как следствие, статья о Жанне д'Арк была включена в семитомное издание «Места памяти» под редакцией Пьера Нора: *Winock M.* Jeanne d'Arc // *Les lieux de mémoire* / Sous la dir. de P. Nora. III: Les France. T. 3: De l'archive à l'emblème. P., 1992. P. 675-733. См. также: *Тогоева О.И.* Еретичка, ставшая святой. С. 13-18; *Уваров П.Ю.* История, историки и историческая память во Франции // *Отечественные записки*. 2004. № 5 (20). С. 192-211.

⁶⁵ О начале этой борьбы в XIX в. см.: *Тогоева О.И.* Еретичка, ставшая святой. С. 423-517; *Krumeich G.* Jeanne d'Arc à travers l'Histoire. P., 1993.

республиканцы и атеисты⁶⁶. Таким образом, слияние двух альтернативных версий истории Жанны д'Арк в одну, о котором упоминалось выше и которое произошло в начале XX в., можно в какой-то степени рассматривать как своеобразное *объединение нации*. Идеи «батардистов» и «сюрвивистов», ставшие единой концепцией, дают возможность положить в какой-то мере конец бесконечным спорам французских правых и левых о том, кому из них все-таки принадлежит Жанна д'Арк, что становится особенно актуально в последние десятилетия, когда светский характер государства и общая направленность религиозной политики во Франции регулярно обсуждаются и подвергаются сомнению⁶⁷.

И, наконец, пытаясь понять, чем так близки «драмы и секреты истории» современным обывателям, не стоит забывать и об этих последних. Как я уже упоминала, французские профессиональные историки до последнего скандала с книгой Р. Санцига и М. Ге вовсе не учитывали столь важное явление, как *читательский спрос* на такого рода литературу: с их точки зрения, регулярное появление этих сочинений оставалось незамеченным широкой публикой. В этом, с моей точки зрения, заключалась их главная ошибка, поскольку подобный интерес существовал всегда. Существует он и поныне, и мы должны это признать, глядя на то, как за последние годы выросли тиражи произведений А.Т. Фоменко и Г.В. Носовского⁶⁸, о которых в 70-80-е гг. XX в. знали лишь единицы⁶⁹.

⁶⁶ Bouzy O. Des «révélations». P. 63.

⁶⁷ Об использовании образа Жанны д'Арк в современной политической жизни Франции см., в частности: *Rigolet Y. Entre procès d'intention et générations successives: historiographie du mythe Jeanne d'Arc de la Libération à nos jours // De l'hérétique à la sainte. P. 249-271; Idem. Jeanne d'Arc chez les frontistes. Faire-valoir médiatique ou marqueur identitaire? // Jeanne d'Arc. Histoire et mythes / Sous la dir. de J.-P. Boudet et X. Hélary. Rennes, 2014. P. 265-278*. К сожалению, в первой опубликованной на русском языке биографии лидера французского «Национального фронта», Марин Ле Пен, не уделяется внимания особенностям ее символической (само)репрезентации, несмотря на говорящее название книги: *Бенедиктов К.С. Возвращение Жанны д'Арк. Политическая биография Марин Ле Пен. М., 2015*.

⁶⁸ Создатели «Новой хронологии» уже давно имеют собственный сайт: <http://www.chronologia.org/> (дата обращения – 12.05.2017). В 2013 г. ими было также выпущено специальное приложение для *App Store*, представляющее фильмы научно-популярного сериала «История: наука или вымысел?».

⁶⁹ В настоящее время критике данной концепции посвящены не только многочисленные публикации в Интернете, но и целые конференции и сбор-

Для многих современных любителей истории сочинения, подобные «Новой хронологии», удобны и интересны – как удобна и интересна желтая пресса, рассказывающая были и небылицы из жизни знаменитостей. Написанные легко и непринужденно, снабженные завлекательными заголовками и аннотациями, они дают своим читателям столь желанный отдых от окружающей действительности, избавляют их от необходимости думать и оценивать происходящее. Вот почему востребованными оказываются *знакомые* исторические персонажи и события прошлого: про них уже все всё знают, а главное – знают, что в них заключена некая «тайна», скрытая «узкими специалистами»⁷⁰. Вина этих последних – в том, что они в большинстве случаев пишут слишком «академично», слишком сухо и слишком сложно для того, чтобы их работы охотно покупали и читали не только знатоки, но и простые ценители истории. Людям нужно «умное», но в то же время по возможности «легкое» чтение, а ученые, к сожалению, очень редко оказываются в состоянии его предоставить.

ники статей. См., к примеру: «Антифоменко». Сборник русского исторического общества № 3 (151). М., 2000; Мифы «новой хронологии». Материалы конференции на историческом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова 21 декабря 1999 года. М., 2000. Любопытно в связи с этим отметить, что в 1960-1970-х гг. идеи А.Т. Фоменко и его сподвижников вызвали неподдельный интерес в среде специалистов-гуманитариев. Достаточно упомянуть, что одна из ранних статей, посвященных «новой хронологии», была принята к публикации Ю.М. Лотманом и вышла в легендарных «Трудах по знаковым системам»: *Постников М.М., Фоменко А.Т.* Новые методики статистического анализа нарративно-цифрового материала древней истории // Ученые записки Тартуского государственного университета. Тарту, 1982. Вып. 576. С. 24-43 (= Труды по знаковым системам XV: Типология культуры. Взаимное воздействие культур). Об обстоятельствах, повлекших за собой решение о публикации, и о дальнейшей судьбе статьи см.: Ю.М. Лотман – Б.А. Успенский. Переписка 1964-1993 / сост., подг. текста и комм. О.Я. Кельберт и М.В. Трунина; под общ. ред. Б.А. Успенского. Таллинн, 2016. С. 97, 482, 553, 562.

⁷⁰ См., к примеру, один из отзывов на работу Р. Амбелена в Интернете: «Для своих “исторических расследований” автор выбирает имена и факты, известные всем из школьной программы или популярных исторических романов и фильмов, что делает книгу доступной и интересной даже для тех, кто далек от исторической науки». – Отзывик: Отзывы обо всем на свете. URL: http://otzovik.com/review_734.html, курсив мой – О.Т. (дата обращения – 12.05.2017).

С.И. Маловичко

ТРАДИЦИИ ИСТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ИСТОРИОПИСАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

В данной статье я остановлюсь на вопросе российской практики позиционирования истории отечественного исторического знания, в первую очередь в такой группе историографических источников, как учебная книга, выполняющая методическую функцию для студентов-историков. Мне представляется важным продемонстрировать, что такая практика покоится на определенной национальной историографической традиции, две важные черты которой я выявляю в результате проведенного анализа.

Реализуя поставленную задачу, я последовательно рассмотрю вопросы: 1) складывания моделей презентации национальной историографии в классической модели исторической науки, 2) формирования российской традиции позиционирования истории национальной истории, 3) актуализации экспертной функции источниковедения историографии.

Считаю уместным оговорить важный вопрос, связанный с понятием «историография» (как история исторического знания и история исторической науки). Как известно, оно обладает разными смыслами, которые не позволяют ему оставаться однозначным. Поэтому в статье я буду отдавать предпочтение наименее коннотативно нагруженному понятию – история истории.

Складывание моделей презентации национальной историографии в классической модели исторической науки

В классической модели исторической науки, в ее позитивистской составляющей (являясь вспомогательной по отношению к национально-государственному нарративу), история истории выполняла *функцию социализации* (как называют данную функцию истории дисциплины В. Лепеніес и П. Вайнгарт¹) или *методиче-*

¹ См.: *Lepenies W., Weingart P. Introduction / Wolf Lepenies and Peter Weingart // Functions and Uses of Disciplinary Histories [Sociology of the Sciences: Vol. 7] / Eds by L.R. Graham, W. Lepenies, P. Weingart. Dordrecht; Boston; Lancaster: D. Reidel Pub. Co., 1983. (P. IX-XX). P. XVI.*

скую функцию (я употребляю это понятие как наиболее соответствующее выполняемым задачам), предполагающую, что знакомство с историей истории, с опытом работы историков позволит приобщающимся к профессии лучше понять, что в изучении прошлого уже сделали, а что еще не успели сделать (т.е. «восполнить пробелы»). Именно это в 60-х гг. XIX в. имел в виду В.И. Герье, написав: «Знакомство с ходом развития исторической науки может лучше всего предохранить от... ошибок»².

Согласно такому восприятию истории истории и выполняемой ею функции, К.Н. Бестужев-Рюмин отмечал, что важно «представить результаты, добытые русской исторической наукой в полтора-ста лет ее развития, указать на пути, которыми добывались и добываются эти результаты...»³. Это же правило в конце 70-х годов XIX в. рекомендует использовать Г.Г. Зерффи (1820–1892), замечая, что тем самым мы помогаем приобщающимся к изучению этого предмета извлекать уроки из практики исторических исследований⁴.

Отношение к истории истории как к «копилке» историографического опыта вынуждало исследователей осуществлять эмпирическое исследование, в котором проявлялся холизм, свойственный классической модели историографии. Например, В.С. Иконников указал, что подготовленная им работа «Опыт русской историографии» есть «“материалы” для будущей историографии» и в чисто позитивистском духе добавлял, что точность исторического исследования и прочность вывода историка зависят от признания «общих постоянно действующих законов»⁵. Классикой эмпирического исследования в области истории истории, я думаю, можно признать работу Х.Е. Барнса о прогрессе историописания. Историк выполнил ее с эрудитской аккуратностью, включив около двух тысяч имен европейских (в том числе российских) и американских историков. Несмотря на несколько попыток связать прогресс историографических традиций (которые он прослеживал с XVIII в.) с философскими идеями,

² Герье В.[И.] Очерк развития исторической науки. М.: Унив. тип., 1865. (114 с.). С. 8.

³ Бестужев-Рюмин К.[Н.] Русская история: в 2 т. СПб.: Типогр. А. Траншеля, 1872–1885. Т. 1. (773 с.). С. I, 208–246.

⁴ Zerffi G.G. The Science of History. L., 1879. 802 p. P. XI, XIII.

⁵ Иконников В.С. Опыт русской историографии: в 2 т., 4 кн. Киев: Типогр. Имп. ун-та Св. Владимира, 1891–1908. Т. 1. Кн. 1. (1066 с.) С. V–VI, 26.

его объяснения утонули в громаде эмпирических данных (по сути, в аннотируемой библиографии)⁶.

Историки, преследовавшие цель написания работ по истории истории, служащих руководством для подготовки историков, сталкивались с необходимостью так или иначе систематизировать историографический материал, а кроме того, с проблемой отбора самого материала. Надо сказать, что выбор оказался небольшим; историки остановились на трех моделях конструирования истории истории: 1) история написания национальной (государственной) истории, 2) история национальных историков (то есть изучавших не только вопросы своей – национальной – истории), 3) история европейского или мирового историописания. Конечно, в рамках каждой из трех моделей могли выбираться и интересующие авторов отдельные периоды истории историописания.

Уже в середине XIX в. начинают появляться труды по национальной (государственной) историографии, например, книга М. Топпена (1822–1893) «История прусской историографии»⁷. Практики, связанные с написанием работ по национальной историографии, были неоднозначными, но часто оказывались тесно связаны с политической историей своего государства. Например, И.В. Лашнюков (1823–1869) в «Очерках русской историографии» писал: «Историография наша в своем ходе представляет те же периоды, которые прошла наша историческая жизнь. Соответственно этим периодам, я разделяю историю русской историографии на три отдела: 1) историография удельно-вечевой Руси; 2) историография Московского государства, и 3) историография XVIII и XIX в.»⁸. Американский историк Дж.Ф. Джеймсон (1859–1937) выделил четыре периода истории историописания в США, но не

⁶ Barnes H.E. History, its Rise and Development: A Survey of the Progress of Historical Writing from its Origins to the Present Day. N.Y.: Encyclopedia Americana, 1919 [Reprinted from the 1919 ed. of the Encyclopedia Americana]. P. 205-264.

⁷ Toppen M. Geschichte Der Preussischen Historiographie. Berlin: Kessinger, 1853. 302 s.

⁸ Лашнюков И.В. Очерки русской историографии // Лашнюков И.В. Пособие к изучению русской истории критическим методом / Составлено Ив.В. Лашнюковым: в 2 вып. Киев: Универ. типогр., 1870-1874. Вып. 2. Отд. 2. (С. 1-82) С. 2.

по периодам развития науки или типов исторического письма, а по этапам политической истории государства⁹.

По замечанию современного историка М. Бентли, в эпоху романтизма начинают четко выделяться черты некоторых национальных школ в европейской историографии. Если немецкие историки (например, Нибур, Ранке) манифестируют историю как научное знание, то в английской (например, Маколей, Карлайл) и французской (например, Мишле) историографиях оказались крепкими позиции, чуждые «научно-лабораторному» типу знания¹⁰. Специфика историографической культуры XIX в. заключалась в том, что в структуре классической европейской модели исторической науки максимальное распространение получил национально-государственный нарратив, поэтому существовала сильная связь историописания с практикой истории строительства европейских государств-наций. Конструировавшие историю национальной истории авторы, находясь внутри этой культуры, старались защищать свое национальное историческое знание и представлять его не худшим, чем у соседей, а по возможности даже лучшим.

Во второй половине XIX в. немецкие историки осознавали, что так называемому «историческому методу» у них учились многие европейские и американские коллеги, что, естественно, не могло не вызывать чувства не только национальной, но и профессиональной гордости. Указанная черта присутствует в капитальном труде Ф.К. фон Вегеле (1823–1897) «История немецкой историографии». В данной работе фон Вегеле позиционировал концепцию национальной немецкой историографии, с одной стороны, как определенный вид исторического знания, с другой стороны, как целостную историю немецкой истории, имеющую в силу своих научных достижений отличие от иных национальных практик историописания¹¹.

⁹ *Jameson J.F.* The History of Historical Writing in America. Boston; N.Y.: Houghton Mifflin and Co, 1891. 168 p.

¹⁰ *Bentley M.* Modern Historiography: An Introduction. Contributors L.: Routledge, 1999. (182 p.). P. 24.

¹¹ *Wegele F.X., von.* Geschichte der Deutschen Historiographie Seit dem Auftreten des Humanismus. München; Leipzig: Verlag von R. Oldenbourg, 1885. 1109 s.

Подобный «историографический национализм» (так называет современный историк Ш. Бергер сплав истории как университетской дисциплины с практикой строительства национальной идентичности в XIX в.¹²) проявлялся в российской и французской историографии. М.О. Коялович (1828–1891) в работе «История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям» одной из задач своего изучения поставил выявление «инородческих у нас изысканий по русской истории» и поиск ответа на вопрос: «больше ли произошло пользы или вреда от вмешательства иноземцев в разработку русской истории?». Поиск «разного рода субъективизмов по изучению русской истории» привел к выбору модели исследования, в которой вместе с научными взглядами на историю оказались взгляды иные, выражаемые теми, кто не ставил перед собой научной цели при анализе российского прошлого¹³. Выделенные Кояловичем в названии работы объекты изучения – «исторические памятники» и «научные сочинения» – в процессе анализа оказались перемешаны, и границы между научным и иными формами знания устранены.

В конце XIX в. французский историк К. Жюлиан (1859–1933) в работе «Выдержки из французских историков XIX века» (оказавшейся удобной для учебных целей, так как в ней были представлены как анализ французской историографии XIX в., так и выдержки из трудов историков) верно отмечал субъективность ряда историков. Например, он обратил внимание на то, что ярко проявляющийся в исследовании А. Мартена патриотизм не содействует научности изложения истории Франции. Однако сам Жюлиан оказался в плену критикуемой практики – он с большим сожалением отмечал «немецкое первенство» во многих отраслях исторического знания. В духе историографической культуры своей эпохи историк старался, где это можно, подчеркивать, что египтология – «в высшей степени французская наука», и что «другая наука, где Франция остается неоспоримой хозяйкой – нумизматика». Историк отмечал,

¹² Berger S. The Invention of National Traditions in European Romanticism // The Oxford History of Historical Writing: in 5 vols. N.Y.: Oxford Univer. Press, 2011-2012. Vol. 4. (673 p.). P. 19-37.

¹³ Коялович М.О. История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям. СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1901. 643 с. [первое издание – 1884 г.] С. XLII-XLIII.

что ни у одной страны, даже у Германии нет такой организационной сплоченности, какой может гордиться французская наука, поэтому историки Франции стали господствовать в изучении истории Римской империи, эллинского мира и т.д.¹⁴

Надо отметить, что большинство работ по истории национальной истории в конце XIX – начале XX века все же характеризовались умеренным национализмом. Другой французский историк, Г. Моно (1844–1912), защищая классиков национальной историографии от обвинений в присутствии в их исследовательских практиках «живописности» и в невнимании к историческим источникам, рассмотрел трех историков, совершенно неоднозначных по типу транслируемого ими исторического знания: Э. Ренана, И. Тэна и Ж. Мишле. В модели конструирования историографического материала, подчиненной принципу «дополняемость одних историков другими», оказалось невозможно выделить научный подход Тэна из подходов двух других историков, представленных изяществом стиля (Ренан) или опорой на богатую интуицию (Мишле)¹⁵. Соотечественник Моно, историк Л. Альфен (1880–1950), анализируя французскую историографию XIX – начала XX в., уже совершенно спокойно констатировал, что со второй половины XIX в. молодые историки Франции обратили внимание на опыт коллег из Германии, заговорили об «историческом методе», «исторических источниках» и «критике текстов». В современной ему французской историографии Альфен выделил три вида историй: научную (критическую), историю, доступную для непрофессионального читателя, и «живописную историю», далекую от научности¹⁶.

Британский историк А.Дж. Грант (1862–1948) в труде, посвященном английским историкам, признал, что только к концу XVIII в. английской историографии (с помощью Юма, Робертсона и Гиббона) удалось сократить отставание от французской и немецкой исторических школ. Но на рубеже XIX–XX вв., как отметил Грант,

¹⁴ *Jullian C.* Extraits des Historiens Français du XIX-e siècle: Publés, Annotés et Précédés d'Une Introduction sur L'Histoire en France: 6 éd. Paris: Lib. Hachette et Cie, 1910. (826 p.). [первое издание – 1897 г.] P. LVIII-LVIX, LXXVII- LXXVIII, CXXV.

¹⁵ *Monod G.* Les maîtres de l'histoire: Renan, Taine, Michelet. P.: Calmann Levy, edit., 1894. 344 p.

¹⁶ *Halphen L.* L'Histoire en France depuis cent ans. P.: Librairie Armand Colin, 1914. (234 p.). P. 144, 165-185.

большинство английских историков (в отличие от немецких) все еще продолжают признавать, что историописание не должно выполнять чисто «научную» цель и стремиться к «объективности»¹⁷, и таким выводом постарался закрыть проблему «отсталости / первенства». Неприятие российским историком П.Н. Милюковым (1859–1943) эмпирической сути позитивизма (но не окончательный с ним разрыв) позволило в работе «Главные течения русской исторической мысли» обратить внимание не на одно, а на несколько главных течений «русской исторической мысли <...>, которые толкали эту мысль вперед, расширяя и углубляя ее главное русло». Историк положительно оценил влияние на русскую историческую мысль немецких историков, а предметом своего изучения выбрал «не столько ученую работу саму по себе, не столько ее положительные результаты, сколько направляющие ее теоретические побуждения» и решил ограничить исследование «на том моменте русской историографии, от которого ведут начало теперь существующие и борющиеся между собой направления нашей науки»¹⁸.

С начала XX в. начинает утверждаться мысль об ограниченности историографических исследований, посвященных сугубо национальной практике историописания. В 1904 г. Ш.-В. Ланглуа (1863–1929) в «Руководстве к исторической библиографии» отметил, что уже становится анахронизмом говорить о «немецкой науке» или о «французской науке», однако пока еще многие исследователи увлекаются идеей изучения истории исторических занятий в своих странах. Приводя примеры реализации такой идеи в Европе, он выделил в первую очередь немецкие, французские и российские произведения, авторы которых исследовали национальные историографии (среди последних он привел работы М.О. Кояловича и П.Н. Милюкова)¹⁹.

Однако необходимо учесть один важный факт – в историографических работах фон Вегеле, Жюлиана, Моно, Альфена и Гранта были проанализированы труды соотечественников, занимавшихся не

¹⁷ Grant A.J. English Historians. L.: Blackie & Son, 1906. (338 p.). P. XXXI, LXXXIV-LXXXV.

¹⁸ Милюков П.[Н.] Главные течения русской исторической мысли. М.: Т-во Кушнерев и К^о, 1897. Т. 1. (319 с.). С. 1-4.

¹⁹ Langlois Ch.-V. Manuel de bibliographie historique: 2 pt. P.: Hachette et cie, 1901–1904. Pt. 2. [241] (623 p.). P. 230-234.

только национальной, но и зарубежной историей. Джеймсон, Коялович и Милоков объектами своего внимания выбрали только тех историков, которые исследовали национальную историю. В последней четверти XX в. известный специалист в области истории истории Ш.-О. Карбонель (1930–2013) среди некоторых европейских и американских историков последней четверти XIX – начала XX в. назвал Джеймсона с Милоковым, справедливо заметив, что национальная точка зрения на историографию способствует узости взгляда²⁰.

Для многих зарубежных историков, специализировавшихся в области истории истории, знаковым явился труд швейцарского историка Э. Фютера (1876–1928) «Geschichte der Neueren Historiographie» (1911), исследовавшего европейскую историографию начиная с эпохи Ренессанса и предложившего модель изучения историописания, в которой в первую очередь обращено внимание на историю научного исторического знания. В этой модели присутствуют заслуживающие внимания национальные исторические школы, но они рядоположены другим²¹. С этого времени многие западноевропейские и американские историки станут предлагать студентам (и интересующимся историографическими вопросами) работы, где позиционируется история мирового историописания²². В советской и российской практике, подкрепленной научной специализацией на уровне ВАКа и учебными планами подготовки историков, доминирующей станет история национального историописания. Учебные книги по зарубежной историографии в СССР и в современной России издавались²³, но (об одном исключении будет сказано ниже) история мировой истории и история российской истории – не синхронизированы.

²⁰ Carbonell Ch.-O. Pour une histoire de l'historiographie // Storia della storiografia. 1982. No. 1. (P. 7-25). P. 10.

²¹ Fueter E. Geschichte der Neueren Historiographie. München; Berlin: Drunk und Verlag von R. Oldenbourg, 1911. 626 s.

²² См., напр.: Ritter M. Die Entwicklung der Geschichtswissenschaft an den führenden Werken betrachtet. München ; Berlin: Druck und Verlag von R. Oldenbourg, 1919. 484 s.; Thompson J.W., Holm B.J. A History of Historical Writing: in 2 vol. N.Y.: The MacMillan Co., 1942.

²³ См., напр.: Историография истории нового времени стран Европы и Америки: учеб. пособие для студентов / под ред. И.П. Дементьева. М.: Высшая школа, 1990. 512 с.; Историография истории нового и новейшего времени стран Европы и Америки: учеб. пособие для студентов / под ред. И.П. Дементьева, А.И. Патрушева. М.: Простор, 2000. 432 с.

Формирование российской традиции позиционирования истории национальной истории

В российской историографической традиции сложилась практика рассмотрения вопросов истории научного историописания вместе с присутствовавшими в то или иное время направлениями общественной мысли. Например, В.О. Ключевский (1841–1911), рассуждая о русской историографии 1861–1893 гг. (рукопись специально не готовилась к печати), связал ее изменение с новой социально-политической пореформенной реальностью Российской империи, но не обратил внимания на меняющийся научный контекст. Поэтому историк написал об отношении русского общества к «новому периоду» истории, об отшумевших «былых богатырских битвах западников и славянофилов», о гипотезах государственников и народников²⁴, даже не пробуя заострить внимание на вопросе о том, что относилось к научному историческому знанию, а что принадлежало к иным областям общественного сознания.

Историки стремились систематизировать исторические работы, относя их авторов к тому или иному направлению в историографии, прослеживая появление научного взгляда на историю или подмену научности литературной риторикой. Однако такая практика оказалась непоследовательной, была зависима от симпатии или антипатии к конкретным историкам прошлого, а не от строго выстроенной системы практик историописания. Так, С.М. Соловьев (1820–1879) назвал М.В. Ломоносова отцом литературного или риторического направления. О князе М.М. Щербатове заметил, что, хотя тот и любитель, но «занимается историей для истории <...>, предчувствует в истории науку». И.Н. Болтин, по его мнению, старался «сделать из истории прямое приложение к жизни», но «талантом стоял гораздо выше Щербатова, обладая светлым взглядом и особенно живостью ума»²⁵. Последний вывод Соловьева о двух представителях русской историографии XVIII в., Щербатове и Болтине, сделан не с позиции

²⁴ Ключевский В.О. Русская историография 1861–1893 гг. // Ключевский В.О. Сочинения: в 9 т. М.: Мысль, 1987–1990. Т. 7. (511 с.). С. 381–388.

²⁵ [Соловьев С.М.] Писатели русской истории XVIII века: Манкиев, Татищев, Ломоносов, Тредиаковский, Щербатов, Болтин, Эмин, Елагин, митрополит Платон. Статья профессора С.М. Соловьева // Архив историко-юридических сведений, относящихся до России. М., 1855. Кн. 2. Отд. 3. С. 40–71.

истории истории, а с позиции истории общественной мысли, так как сам Соловьев выше верно отметил практическое, а не научное отношение Болтина к истории.

Вопрос о профессиональных качествах историка – автора того или иного исследования – часто подменялся ценностным отношением к истории своего государства и принадлежностью историописателя к какому-либо направлению в общественной жизни. В.О. Ключевский в курсе лекций по русской историографии, в материалах для подготовки к лекциям и статьям выделял в историографии XVIII в., кроме таких направлений, как «монографическо-критическое», «панографическо-прагматическое», «сравнительно-апологетическое», еще и «люборусов» со «стародумами»²⁶. П.Н. Милуков, проводя систематизацию историков того же XVIII в., выделил, например, такое направление, как «патриотическо-панегирическое», а в известном споре Болтина с Щербатовым так же, как и С.М. Соловьев, большей «научностью» наделил первого²⁷, но не потому, что Болтин продемонстрировал лучшие профессиональные навыки, а из-за того, что некоторые его гипотетические догадки (не основанные на исторических источниках) показались ему более дальновидными.

Отсутствие рефлексии о границе между научной историей и общественной мыслью наблюдалось не только в историографической литературе, предназначенной в большей степени для студентов, но и в практике сугубо научной деятельности историков. В этом отношении показателен пример отзыва В.О. Ключевского об исследовании С.Ф. Платонова (1860–1933) «Древнерусские сказания и повести о Смутном времени XVII в. как исторический источник» (1890). В.О. Ключевский заметил: «Трудно согласиться с автором [С.Ф. Платоновым. – С.М.], когда он говорит о келаре Авр. Палицыне и дьяке И. Тимофееве, что оба эти писателя, “не только описывая, но и обсуждая пережитую эпоху, нередко выходили из роли историков и вступали на почву публицистических рассуждений”, как будто вдумываться в исторические явления, описывая их, <...> значит выхо-

²⁶ Ключевский В.О. Лекции по русской историографии // Ключевский В.О. Сочинения: в 9 т. Т. 7. (С. 185–233). С. 198–204; Ключевский В.О. Приложения // Там же. (С. 401–430). С. 415.

²⁷ Милуков П.Н. Главные течения русской исторической мысли. С. 77, 94.

дить из роли историка: суждение не тенденция, и попытка уяснить смысл явления себе и другим не пропаганда»²⁸.

Как можно заметить, в данном случае, с одной стороны, С.Ф. Платонов пытался навязать писателям XVII в. правила историка (когда они еще таковыми не были и не могли быть), с другой стороны, В.О. Ключевский, напротив, игнорирует эти правила, убирая границу между историей и общественно-политической мыслью.

Такая практика продолжилась в советской историографии. Н.Л. Рубинштейн (1897–1963), в отличие от иных исследователей истории истории, в ряде мест учебного пособия «Русская историография» (1941) старался актуализировать вопросы научной разработки русской истории. Он осторожно отделил от нее местную историю, заметив, что она представляет «сводку внешнего фактического материала в форме повествовательной политической истории»²⁹. Историк старался отделить от истории и общественно-политическую мысль (например, выделяя последнюю в отдельную главу «Народническое направление в исторической литературе»). Но, несмотря на это, все равно не стал твердо придерживаться выбранной линии. Поэтому в его книге можно найти и другую главу «Великие русские просветители Чернышевский и Добролюбов. Щапов и начало народничества», объединившую в своей структуре общественную мысль и научную историю. В последнем случае научные принципы работы указанного им А.П. Щапова, его концепция «областной» истории (областности), выводившая исследование за рамки господствовавшей классической европейской модели историографии (и ставшая основой теоретической базы последующего направления «областная история», а затем и «региональной истории»), оказались подчинены идеологии и «освободительной» (революционной) мысли, а не науке³⁰.

В структуре советской исторической науки историография заняла довольно почетное место (превращаясь из вспомогательной исто-

²⁸ Ключевский В.О. Отзыв В.О. Ключевского об исследовании С.Ф. Платонова «Древнерусские сказания и повести о Смутном времени XVII в. как исторический источник» (СПб., 1888) // Отчет о 31-м присуждении наград гр. Уварова. СПб., 1890. С. 53-66.

²⁹ Рубинштейн Н.Л. Русская историография. М.: ОГИЗ, 1941. (659 с.). С. 409.

³⁰ См.: Там же. С. 388-410, 367-388.

рической дисциплины в самостоятельную дисциплину исторической науки), что было связано не только с желанием руководства наукой и самих историков разобраться в прошлом дисциплины, но и с выработкой «правильной» концепции критики российской дореволюционной и современной зарубежной буржуазной исторической науки.

Одной из черт советской практики изучения истории истории, которая проявляет себя и сегодня, стало внимание (а по сути, продолжение предшествующей практики, на что я указал выше) не только к линейному процессу развития исторической науки, но и к общественной мысли, носителями которой были «непрофессионалы», выделяющиеся из «дворянской» или «буржуазной официальной» историографии своей «неофициальностью», а значит, как отмечала ведущий советский специалист в области истории исторической науки М.В. Нечкина (1901–1985), – «прогрессивностью»³¹. Конечно, позиция М.В. Нечкиной несет печать своего времени, но в курсе историографии истории СССР для исторических факультетов стали изучать А.Н. Радищева, декабристов, Н.Г. Чернышевского и других мыслителей, идеи которых актуализировались советской идеологией. М.А. Алпатов (1903–1980) выразил позицию советской историографии таким образом: «Можно ли мириться с ограниченным взглядом на историческую науку как на науку профессионально-академическую [здесь и далее выделено мной. – С.М.], якобы отгороженную от живой действительности и составляющую монополию ученой касты? Принять подобную точку зрения значило бы вычеркнуть из истории науки вклад К. Маркса и Ф. Энгельса, вклад В.И. Ленина, самое передовое, что есть в науках, созданных человечеством. Принять подобную точку зрения значило бы вычеркнуть из истории науки наследие русских революционеров-демократов, представляющее вершину домарксистской науки. Принять подобную точку зрения значило бы вычеркнуть из истории науки во все времена и у всех народов достижения представителей передовой исторической мысли, которые не принадлежали к кругу историков-профессионалов»³².

³¹ См.: Нечкина М.В. История истории (некоторые методологические вопросы истории исторической науки) // История и историки. Историография истории СССР: сб. статей. М.: Наука, 1965. (С. 6-26). С. 14-15.

³² Алпатов М.А. Русская историческая мысль и Западная Европа XII–XVII вв. М.: Наука, 1973. (476 с.). С. 7.

Таким образом, советский историк не видел актуальности в проведении различия между научной историей и общественно-политической мыслью. Конечно, практика конструирования контекста, представленного общественной мыслью, – важный элемент модели историографического исследования, но, как оказалось, она совершенно не содействовала развитию практики выявления черт профессионализации научной историографии, нивелируя разницу между научной историей и иными формами исторического знания. Поэтому не все советские историки были согласны с приведенным выше мнением М.В. Нечкиной. В частности, в 70-х годах XX в. А.М. Сахаров (1923–1978) высказывал отличное от ее мысли мнение о предмете историографии, отмечая, что «нельзя изолировать научное познание прошлого от других форм этого познания, но и смешивать его с ними тоже не следует». Историк подчеркивал, что история исторической науки – историография – «есть прежде всего история научного познания истории. Историческая наука в ее развитии – вот предмет историографии»³³.

В отечественной историографической практике есть примеры, демонстрирующие стремление историков выйти из узких национальных рамок историографии. Такой подход к расположению историографического материала предоставили нам работы М.А. Алпатова, правда, больше рассчитанные на широкий круг читателей, чем на специалистов. Несмотря на то, что автор группировал материал в компаративной перспективе, сравнивая формы историописания на Западе и Востоке Европы, он уделил больше внимания историческим представлениям западноевропейских писателей о России и российских авторов (не только историков) о Западной Европе³⁴.

В контексте развития европейской историографии пытался рассмотреть развитие отечественной исторической науки в своей последней крупной работе (учебном пособии для студентов-историков) А.Л. Шапиро (1908–1994). Надо признать, что такой подход выглядит довольно перспективным, но в итоге лекции по развитию русской и западноевропейской историографии оказались собранными в

³³ Сахаров А.М. Историография истории СССР: досоветский период М.: Высшая школа, 1978. (256 с.). С. 8–9.

³⁴ Алпатов М.А. Русская историческая мысль и Западная Европа XII–XVII вв.; Алпатов М.А. Русская историческая мысль и Западная Европа (XVIII – первая половина XIX в.). М.: Наука, 1985. 272 с.

книге механически, отдельно друг от друга. Кроме того, Шапиро так же, как и предшественники, уделял внимание классикам как российской историографии, так и исторической публицистики, не оговаривая принципы, которые позволяют отличить научную работу историка от непрофессионального историописания³⁵.

Актуализированная мной в данной статье традиция конструирования истории российской истории продолжает присутствовать в историографической литературе и начала XXI в. В аннотации ко второму тому «Историографии истории России до 1917 г.» (2004) указано, что учебник «знакомит с важнейшими историческими концепциями на том или ином этапе развития исторической науки», но в книге есть знакомые (по советской практике) структурные блоки. Например, глава «Исторические концепции А.И. Герцена, Н.Г. Чернышевского и А.П. Щапова», которая заканчивается словами: «Щапов оказал заметное влияние на умственную жизнь страны и отдельных мыслителей»³⁶. Таким образом, о влиянии Щапова на научную историю – не говорится. Есть главы, в которых историки не представлены вообще, – это «Исторические концепции христианских социалистов в контексте русской религиозной мысли» и «Исторические концепции народников»³⁷.

В аннотации к учебному пособию Г.Р. Наумовой и А.Е. Шикло указано, что в нем «излагаются основные концепции отечественной истории, которые рассматриваются в тесной связи с развитием исторической мысли и исторических знаний, а также общественными и политическими условиями». Авторы вполне корректно дали понять, что будут рассматривать не только историю научной истории, но в разделы, посвященные именно исторической науке, например, второй четверти – 80-х годов XIX в. и исторической науке последней четверти XIX – первой четверти XX в. поместили параграфы об исторической проблематике в общественной полемике³⁸. В новом учебном пособии «Историогра-

³⁵ Шапиро А.Л. Русская историография с древнейших времен до 1917 года. 2-е изд., испр. и доп. М.: Культура, 1993. 761 с.

³⁶ Историография истории России до 1917 г.: учеб. для студ.: в 2 т. / под ред. М.Ю. Лачаевой. М.: Владос, 2004. Т. 2. (383 с.). С. 5-44.

³⁷ Там же. С. 320-333, 334-369.

³⁸ См.: Наумова Г.Р., Шикло А.Е. Историография истории России. М.: Академия, 2008. 480 с.

фия истории России» под редакцией А.А. Чернобаева (2014) структура и содержание отличаются большей научной строгостью, но и здесь в главе «Славянофилы и западники в исторической науке XIX века» помимо разделов, посвященных славянофилам и «государственной школе» в русской историографии, есть раздел («Развитие исторической мысли в трудах общественных деятелей»)³⁹, который никакого отношения к науке иметь не может. Конечно, не бесспорно включение славянофилов (как выразителей иного типа знания) в пространство исторической науки, но это уже иной вопрос.

Актуализация экспертной функции источниковедения историографии

Зарубежная историография (особенно британская и американская) также не свободна от практики изучения исторического знания, в котором четко не выделяются черты профессионализации научного знания. Однако именно в российском образовательной практике история национальной истории так жестко выделена из структуры истории мирового историографического процесса. Сложившаяся модель позиционирования истории отечественной истории стала одним из маркеров российской исторической культуры. Примеры учебных пособий для историков, в которых представлена история мирового исторического знания (в том числе российского), к сожалению, пока единичны⁴⁰, но, учитывая мировой опыт, такая практика – перспективна.

Сохраняющаяся традиция объединения трансформирующегося научного исторического знания с иными формами знания смягчает и даже нивелирует деконструирующий – по отношению к историческому знанию – эффект истории истории, приглушает ее методическую функцию. Не только в отечественной историографической практике присутствует смешение понятий, путаница в дисциплинах, направлениях и предметных полях исторической науки, а иногда даже в моделях исторического знания и функциях научной и популярной литературы. Современная ситуация характеризуется все большим

³⁹ См.: Историография истории России : учеб. пособие для бакалавров / под ред. А.А. Чернобаева [2-е изд.]. М.: Юрайт, 2014. (552 с.). С. 202-228.

⁴⁰ История исторического знания: учеб. пособие [4-е изд., испр. и доп.] / под общ. ред. Л.П. Репиной. М.: Юрайт, 2013. 288 с.

размежеванием разных типов исторического знания: социально ориентированного и научного. В связи с этим происходит актуализация неоклассической модели исторической науки, пытающейся преодолеть постмодернистскую эпистемологическую анархию. Она критикует неупорядоченность исторического знания, стремится прояснить многообразие реальности, а на вызов постмодерна социальному статусу исторической науки отвечает защитой профессиональной составляющей исторического знания. Неоклассическая модель науки ведет поиск строгих научных оснований профессиональной деятельности историков и рефлексировать о новых познавательных возможностях истории.

Историки из Нидерландов, России, Канады обращают внимание на пересмотр параметров истории истории⁴¹, на выработку критериев, помогающих различать логику создания исторических произведений⁴², на то, что история истории находится «в переходной точке между традиционным ее восприятием и гораздо более трудной, но безусловно, более точной версией такой истории»⁴³, на своевременность формирования направления, способного исследовать профессиональную культуру историков⁴⁴. Немецкие историки предлагают проводить процедуры по выявлению научной и (как они это называют) «populären» историей (последняя ими признается сомнительной) для выявления черт «антагонистов», а также для изучения их контактных зон и доли присутствия друг в друге⁴⁵.

⁴¹ Grever M. Fear of Plurality: Historical Culture and Historiographical Canonization in Western Europe // *Gendering Historiography: Beyond National Canons*. Frankfurt; N.Y., 2009. (P. 45-62). P. 46-47.

⁴² Медушевская О.М. Источниковедение и историография в пространстве гуманитарного знания: индикатор системных изменений // *Источниковедение и историография в мире гуманитарного знания: докл. и тез. XIV науч. конф.*, Москва, 18-19 апр. 2002 г. М.: РГГУ, 2002. (С. 20-36) С. 35.

⁴³ Woolf D. Rezension zu: Berger, Stefan; Lorenz, Chris (Hrsg.): *The Contested Nation. Ethnicity, Class, Religion and Gender in National Histories*. Basingstoke, 2008 // *H-Soz-u-Kult* [Электронный ресурс] Электрон. дан. Berlin, cop 2011-2014. URL: <http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/id=11324/>, свободный.

⁴⁴ Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв.: социальные теории и историографическая практика. М.: Кружок, 2011. (560 с.). С. 209-210.

⁴⁵ Kirsch J.-H., Saupe A., Stopka K. Debatte: «Akademische» Zeitgeschichte – Texte und Kontexte // *Zeithistorische Forschungen / Studies in Contemporary History*. 2009. No. 6. S. 433-434.

В учебных пособиях по истории национальной истории должно быть представлено трансформирующееся научное историческое знание, профессионализация практик изучения прошлого. Иные формы исторического знания следует давать в виде контекста или в отдельных разделах пособия, но не смешивать с научным историческим знанием. В таком виде учебные пособия по истории истории смогут выполнять еще и *функцию системности*, важную для понимания неоднозначности современного знания.

Рефлексия о неоклассической модели исторической науки, об истории как строгой науке позволила Научно-педагогической школе источниковедения (сайт Источниковедение.ru) актуализировать формирование предметного поля – источниковедение историографии в междисциплинарном пространстве интеллектуальной истории. Объектом источниковедения историографии является система видов историографических источников (произведений историков), а предметом – порождение и функционирование историографического источника в научном познании и иных социальных практиках. Процедура видовой классификации историографических источников признает одушевленность «Другого» – автора исторического произведения прошлого, учитывает культуру его времени. Сосредоточение внимания на типах исторического знания – научном и социально ориентированном – способствует не разоблачению иной по отношению к научной истории практики историописания (для последующего ее «изгнания»), а выявлению специфики сосуществования разных типов исторического знания и помогает вырабатывать критерии, позволяющие в историографическом исследовании отличать научное исследование от социально ориентированного историописания. На мой взгляд, источниковедение историографии выполняет не только методическую функцию и функцию системности, но еще и *функцию экспертную*, столь необходимую в ситуации, когда ширится состав субъектов, располагающих возможностью позиционирования того или иного взгляда на прошлое.

О.Б. Леонтьева

**ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ
И КОЛЛЕКТИВНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
РОССИЙСКОГО/СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА:
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ***

«Мемориальный поворот» в исторической науке – поворот к изучению памяти об историческом прошлом – по своей значимости выходит далеко за рамки академического сообщества. В социокультурном плане он является одним из проявлений «мемориального движения», широкого общественного интереса к проблемам исторической памяти. Ярким показателем актуальности этой проблематики для мировой общественности является присуждение Нобелевской премии по литературе за 2015 год Светлане Алексиевич. Перед нами – редкий для современной гуманитаристики пример, когда методологические повороты в историческом знании по своей векторной направленности совпадают с переменами в исторической культуре всего общества.

Историческая память опирается на социальный контекст; исторические знания, представления, воспоминания о прошлом всегда тысячами нитей связаны с представлениями людей о смысле жизни, о добре и зле, справедливости и несправедливости, о наиболее острых проблемах современного им общества. В силу этого историческая память неразрывно связана с коллективной идентичностью общества. Подобно тому, как личностная идентичность строится на основе биографической памяти, воспоминаний о прожитом и пережитом, коллективная идентичность формируется как представление о судьбе собирательного «мы»; как отмечает Л.П. Репина, «судьба этого “человекоподобного” коллективного субъекта истории становится основным сюжетом исторического нарратива, квазибиографического повествования о его происхож-

* Статья написана в рамках проекта «Профессиональная историография и историческая память: опыт пересечения и взаимодействия в сравнительно-исторической перспективе» Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Механизмы формирования исторической памяти в обществе и принципов исторической политики».

дении, славном или трагическом прошлом, окрашенном отношением автора к настоящему и его видением будущего»¹. Именно поэтому «национальная идентичность исторична, нация, по сути, тождественна истории нации, то есть нарративам национальной истории», в которых «раскрывается смысл исторического существования, воплощается система ценностей»².

Выяснив, что и как люди помнят о своем прошлом, а что предпочитают забывать, мы делаем шаг к пониманию того, вокруг каких идей, символов и ценностей строится коллективная идентичность современного общества. Так, в знаменитом исследовании Пьера Нора и его коллег не просто предпринят анализ «мест памяти» французского общества конца XX века, но на основе этого анализа выделено несколько исторически сложившихся типов национальной памяти: *королевская*, структурированная вокруг идеи святости монархии; *память-государство*, строящаяся вокруг идеи государственного величия; *память-нация*, организованная вокруг идеи нации как географического, исторического и экономического единства; наконец, *память-гражданин*, демократизированная память масс³. Такое исследование позволяет выявить многоуровневую, многослойную структуру памяти, проследить (иногда под покровом кажущегося консенсуса по отношению к прошлому) соперничество разных проектов коллективной идентичности.

За последние годы в российской науке сложилась своя «историография памяти» как особое научное направление, для которого характерно использование широкого спектра источников (от материалов «устной истории» до результатов социологических опросов, от художественных воспроизведений прошлого до записей в блогосфере) и столь же широкий диапазон методов их изучения, взятых из арсенала самых разных гуманитарных дисциплин; наравне с историками к изучению коллективной памяти обращаются психологи, социологи, культурологи и филологи, что дает воз-

¹ Репина Л.П. Историческая память и национальная идентичность: подходы и методы исследования // Диалог со временем 54. Специальный выпуск. Национальная идентичность и феномен исторической памяти. М.: ИВИ, 2016. С. 10, 12.

² Там же. С. 12.

³ Нора П. Нация-память // Франция-память / П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пюимеж, М. Винок. СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1999. С. 51-55.

возможность говорить о формировании междисциплинарного проблемного поля, об интеграции усилий многих наук в изучении феномена исторической памяти.

В отечественных исследованиях последнего десятилетия, выполненных в русле «историографии памяти», предметом изучения достаточно часто становится историческое сознание советского периода или современного российского общества. Используя терминологию Я. Ассмана, можно сказать, что «коммуникативная память» (воспоминания о недавнем прошлом, охватывающие временной горизонт в 3-4 поколения) привлекает внимание исследователей в большей мере, чем «культурная память» (представления об отдаленном историческом прошлом)⁴. Вероятно, это объясняется не только большей доступностью и разнообразием источников по XX веку и современности, но и высокой общественной потребностью в осмыслении нашего недавнего прошлого. Как отражена в памяти наших современников трагическая и противоречивая история XX века? Как расставляются смысловые акценты в ее восприятии? Насколько устойчивыми оказались в современных условиях те формы и содержание коллективной памяти, которые сформировались на предшествующих этапах истории, в частности, в советский период? Поиск ответов на эти вопросы тесно связан с другим комплексом проблем: что представляла собой коллективная идентичность советского общества, и вокруг каких ценностей строится идентичность современных россиян?

Как признает большинство исследователей, занимающихся данной проблематикой, советскую идентичность довольно сложно осмыслить и классифицировать в привычных терминах национального самосознания: ее специфика заключалась прежде всего в «содержательных, т.е. мировоззренческих особенностях», в особой «системе убеждений – представлений о жизни и смерти, о смысле жизни, о миссии человека на Земле и т.д.»⁵, она была воплощена в коллективной психологии, дискурсивных практиках и поведенче-

⁴ Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. М., 2004. С. 54-59.

⁵ Святославский А.В. «Советский»: реальность или симулякр? (о корреляции понятий «советский» / «русский» в аспекте культурной идентичности) // Диалог со временем 54. Специальный выпуск. Национальная идентичность и феномен исторической памяти. М.: ИВИ, 2016. С. 160.

ских установках. Понять историческую память советского периода – означает осмыслить, что представляет собой «советский человек». И напротив, чтобы найти «ключ» к пониманию советского человека, надо выяснить, как была устроена его историческая память... Показательно, что социологический проект «Советский простой человек», начатый под руководством Ю.А. Левады еще в 1989 г., впоследствии приобрел историческое измерение: социологи Левада-центра, Б.В. Дубин и Л.Д. Гудков, стали авторами острых и интересных работ по проблематике исторической памяти. Не менее показательно, с другой стороны, что Светлана Алексиевич, начавшая со сбора личностных, устных свидетельств о Великой Отечественной и Афганской войнах («У войны не женское лицо», «Последние свидетели», «Цинковые мальчики»), впоследствии в книге «Время секунд хэнд» поставила вопрос о сущности феномена советского человека: «Теперь мы живем в разных государствах, говорим на разных языках, но нас ни с кем не перепутаешь... Все мы, люди из социализма, похожие и не похожие на остальных людей – у нас свой словарь, свои представления о добре и зле, о героях и мучениках. У нас особые отношения со смертью»⁶.

В современных дискуссиях о советской идентичности выкристаллизовываются ее основные черты: коллективизм, вера в светлое будущее, жертвенность; понимание смысла жизни как преобразования мира и достижения всеобщего счастья и справедливости через борьбу, ценой жертв и страданий⁷; «базовая ориентированность на совмещение собственной индивидуальной судьбы с “большими” сюжетами и готовность приносить личные интересы в жертву “большим” целям»⁸; замена христианского представления о бессмертии души «идеей бессмертия в памяти благодарных потомков»⁹. Такая модель идентичности по определению не могла бы существовать без «исторического измерения», без комплекса представлений о прошлом, настоящем и будущем, без определен-

⁶ Алексиевич С.А. *Время секунд хэнд*. М.: Время, 2013. С. 6.

⁷ Гапова Е. Стрдание и поиск смысла: «моральные революции» Светланы Алексиевич // *Неприкосновенный запас*. 2015. № 1 (99). С. 214.

⁸ Михайлин В. *Ex cinere*: проект «советский человек» из перспективы post factum // *Неприкосновенный запас*. 2016. № 4 (108). С. 139.

⁹ Святославский А.В. *История России в зеркале памяти. Механизмы формирования исторических образов*. М.: «Древлехранилище», 2013. С. 341.

ных моделей и практик сохранения, воспроизведения и смыслового наполнения исторической памяти.

В целом ряде исследований прослеживается история формирования советской идентичности: воплощение в жизнь идеологического проекта по воспитанию нового советского человека и по созданию единой картины «общего прошлого» с присущими ей стереотипами, пантеоном героев, памятными датами и практиками коммемораций. В формировании исторического сознания советского общества исследователи обычно выделяют несколько важнейших этапов: 1920-е гг., когда формировалась «мифология революции»; 1930-е гг., когда сложился официальный исторический нарратив сталинского периода; наконец, послевоенный период, когда поэтапно формировалась советская культура памяти о Великой Отечественной войне. Отмечается, что изначально в качестве «мифа происхождения» советского общества выступала Октябрьская революция (Великий Октябрь), но, начиная с 1960-х гг., ведущую роль в советском нарративе коллективного прошлого стала играть также Великая Отечественная война¹⁰. Исторический нарратив, вокруг которого структурировалось советское историческое сознание, в самом упрощенном виде можно было бы представить так: от мрачного прошлого через героическое настоящее к светлому будущему.

В качестве опорных точек для реконструкции советской идентичности, как правило, выступают праздники и памятники – две неразрывные стороны коммеморативной культуры. (Важнейшими веками в праздничном календаре СССР были День Великой Октябрьской социалистической революции и – с 1965 года – День Победы; именно в честь этих событий возводилось большинство памятников и мемориальных комплексов). Праздники понимаются в русле культурной антропологии: как ритуальное воспроизведение события, связанного с «мифами происхождения» группы и дающего возможность «соприкоснуться с изначальной жизненной силой»¹¹, и одно-

¹⁰ *Копосов Н.Е.* Память строгого режима: История и политика в России. М.: Новое литературное обозрение, 2011. С. 90-94, 102-105; *Малинова О.Ю.* Актуальное прошлое: Символическая политика властвующей элиты и дилеммы российской идентичности. М.: Политическая энциклопедия, 2015. С. 30, 32, 88.

¹¹ *Горин Д.* От карнавала к литургии: мотивы атеистической космогонии в главном советском празднике // *Неприкосновенный запас*. 2015. № 3 (101). С. 81.

временно – как эффективное средство конструирования коллективной идентичности, «один из важнейших полигонов создания и апробации новых исторических мифологий»¹². Памятники, в свою очередь, трактуются как «обозначение общественного согласия по поводу оценки события или человека... подтверждение исторической идентичности и коллективности переживания»¹³, как способ визуального закрепления в пространстве «структуры, иерархии, ценностей и вкусов того или иного общества и времени»¹⁴, как «попытка сохранения образа себя, своих близких, своей культуры в настоящем и в будущем»¹⁵. Специфическую «советскость» этой мемориальной культуры ученые видят не только в выборе фигур коммемораций и использовании соответствующей символики (пятиконечные звезды, Вечный огонь, символические фигуры солдата-защитника и Родины-матери в мемориалах войны), но и в стремлении официально закрепить определенные виды и типы коллективной идентичности: так, по наблюдению С.Ю. Малышевой, в символике советских некрополей широко использовались знаки трудовой, профессиональной идентичности, а также символы ее успешности¹⁶.

В качестве субъекта исторической памяти в научных трудах по советской эпохе чаще всего выступает государство; в центре внимания многих исследователей оказывается «историческая политика» власти, ее целенаправленные усилия по формированию новой советской идентичности. Так, в курсе лекций саратовского историка В.Н. Данилова исходным является тезис, что «особенно

¹² *Малышева С.Ю.* Мифологизация прошлого: советские революционные празднества 1917–1920-х годов // *Диалоги со временем: Память о прошлом в контексте истории* / под ред. Л.П. Репиной. М.: Кругъ, 2008. С. 682–683; *Малышева С.Ю.* Советская праздничная культура в провинции: пространство, символы, исторические мифы (1917–1927). Казань: Рутен, 2005.

¹³ *Конрадова Н., Рылева А.* Герои и жертвы: Мемориалы Великой Отечественной // *Память о войне 60 лет спустя: Россия, Германия, Европа.* 2-е изд. / ред.-сост. Михаил Габович. М.: Новое литературное обозрение, 2005. С. 242.

¹⁴ *Малышева С.Ю.* Врезано в камень, врезано в память: (вос)производство советской идентичности в пространствах смерти // *Диалог со временем* 54. Специальный выпуск. Национальная идентичность и феномен исторической памяти. М.: ИВИ, 2016. С. 182.

¹⁵ *Святославский А.В.* История России в зеркале памяти. С. 5.

¹⁶ *Малышева С.Ю.* Врезано в камень, врезано в память. С. 198–199.

отчетливо влияние властных институтов на формирование исторического сознания прослеживается в советском государстве... В советский период по сути дела была реализована программа “управления прошлым”» (через использование пропагандистского аппарата, воздействие власти на историческую науку и постановку исторического образования)¹⁷. В работе Н.Е. Копосова «Память строгого режима», где изучается историческое сознание советского и современного общества, одной из центральных смысловых линий является политика власти по формированию этого сознания («историческая политика») от 1920-х гг. до наших дней, а также многочисленные повороты, перемены и «колебания генеральной линии» в ее реализации¹⁸. Власть в том и другом случае предстает как важнейший субъект формирования исторической памяти общества.

Тем не менее, в трудах современных историков культура памяти советского периода не предстает тотальной или монолитной, полностью подвластной идеологическому конструированию. Напротив, в ней выявляются внутренние изломы, конфликты и встречные течения. Важно, что обнаруживают эти изломы прежде всего те исследователи, которые сосредоточивают свое внимание на сборе и изучении личных свидетельств современников, в том числе материалов устной истории.

В 1980-е гг., во время сбора материалов для книги «У войны не женское лицо», Светлана Алексиевич столкнулась с проблемой своеобразного «двоемыслия» своих респондентов: один и тот же человек мог рассказывать об одних и тех же событиях прошлого совершенно по-разному, в официально-безличном или же доверительно-исповедальном ключе; при изменении манеры повествования изменялись смысловые акценты и само содержание воспоминаний¹⁹. Этот феномен, отмечавшийся и другими исследователями, работавшими с устной памятью старших поколений россиян, позволил сформулировать концепцию противостояния и сосуществования «двух памятей» и двух «языков памяти» о Великой Отечественной войне: один из них – «официально-героический», «ка-

¹⁷ Данилов В.Н. Власть и формирование исторического сознания советского общества: Курс лекций. Саратов: Изд-во «Научная книга», 2005. С. 7.

¹⁸ Копосов Н.Е. Память строгого режима.

¹⁹ Алексиевич С. У войны не женское лицо. Последние свидетели. М.: Советский писатель, 1988. С. 75.

женный», «государственно ориентированный»; другой – «живой», «личный», «лично ориентированный», сохранявшийся и транслировавшийся прежде всего в мире семейных коммуникаций²⁰. В рамках «официального» дискурса память о войне выступает как инструмент государственного строительства (в полном соответствии с классическими концепциями Э. Хобсбаума и Б. Андерсона); в русле дискурса «личного», «лично ориентированного» воспоминания о войне являются способом преодоления травматической реакции на испытания военного времени, на страдания и смерть близких. Ключевой идеей официально-героического дискурса является идея самопожертвования во имя победы; ключевой темой личных или семейных воспоминаний – тема выживания²¹. Личная, семейная память, коммуникативная память поколений в наши дни стала предметом многих исследований – не только индивидуальных, но и коллективных²².

Важной исследовательской задачей становится выяснение того, как соотносились «большой нарратив», «официальный дискурс» памяти – и иные, неофициальные формы памяти. Реконструируются альтернативные и маргинальные версии «общего прошлого», бытовавшие в культурной памяти советских крестьян и горожан (см. работы И.Е. Козновой, А.С. Майер, во многом основанные на материалах этнографических и социологических экспедиций). В этих работах доказывается, что не только содержание, но и сами структуры памяти «рядовых людей» зачастую были диаметрально противоположны тому видению «общего прошлого

²⁰ См. статьи Л. Гудкова «“Память” о войне и массовая идентичность россиян», И. Щербаковой «Над картой памяти», И. Прусс «Советская история в исполнении современного подростка и его бабушки», Ж. Корминой и С. Штыркова «Никто не забыт; ничто не забыто: История оккупации в устных свидетельствах» в коллективной монографии: *Память о войне 60 лет спустя: Россия, Германия, Европа*. С. 83-103, 195-240.

²¹ Булыгина Т.А. Модели исторической памяти в воспоминаниях о войне // *История и историческая память: Межвуз. сб. науч. тр.* / Под ред. А.В.Гладышева. Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 2010. Вып. 1. С. 5-19.

²² *Век памяти, память века: Опыт общения с прошлым в XX столетии* / Сборник статей [под ред. И.В. Нарского, О.С. Нагорной, О.Ю. Никоновой, Ю.Ю. Хмелевской]. Челябинск: Изд-во «Каменный пояс», 2004; «Работа над прошлым»: XX век в коммуникации и памяти последующих поколений Германии и России: сборник статей / [редколл.: О.С. Нагорная и др.]. Челябинск: Каменный пояс, 2014.

го», которое транслировалось «сверху», через системы образования и пропаганды. Как показывает И.Е. Кознова, крестьянская память на протяжении всего XX в. была структурирована вокруг оппозиций «раньше – теперь», «мы – они». Каждая из этих категорий несет этическую, эстетическую и даже онтологическую нагрузку: «раньше» воспринимается как синоним «прочности, устойчивости, порядка», «теперь» – как время распада моральных ориентиров и социальных связей; общность «мы» выступает в ипостаси жертвы, а «они» – власть, город, люди «с портфелем и наганом» – фигурируют в воспоминаниях как внешняя, эксплуатирующая и разрушительная сила²³. В работе А.С. Майер выявляются такие характеристики исторической памяти современных горожан, как сочетание «установки на достоверность» с «элементами чудесного и сверхъестественного», трактовка исторических событий XX века как «закономерных и неоднократно предсказанных провидцами»²⁴. Исследовательские задачи переплетаются в этих случаях с гуманитарной миссией ученого – потребностью услышать полифонию голосов, доходящих из недавнего прошлого.

Предметом исследования становятся социокультурные практики сохранения семейной памяти в условиях беспрецедентной социальной мобильности XX века (работы С.А. Чуйкиной, И.В. Нарского и др.). Среди тех практик, которые позволяли передавать эту память от поколения к поколению, исследователи выделяют сохранение домашних архивов и фамильных реликвий, ведение семейных хроник, оформление семейных фотоальбомов и особые ритуалы их просмотра, сопровождающегося рассказами-комментариями (без рассказа смысл изображения остается недоступным) и так далее. С другой стороны, предметом исследования становятся и «фигуры умолчания», стратегии «забвения» и «редактирования прошлого», использовавшиеся, чтобы скрыть «нежелательное» происхождение семьи, родство или близкое знакомство с «нежелательными» пер-

²³ Кознова И.Е. XX век в социальной памяти российского крестьянства. М.: ИФ РАН, 2000. С. 115-128, 161-170, 182-188; Кознова И.Е. Сталинская эпоха в памяти крестьянства России. М.: Политическая энциклопедия, 2016. С. 217-218, 224-231, 258-272. 446-452.

²⁴ Майер А.С. Московские городские легенды как исторический источник (Историческая память и образ города). Автореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.09 – Историография, источниковедение и методы исторического исследования. М., 2008. С. 12-13, 18.

сонами²⁵. Забвение, подавление и вытеснение «опасных» воспоминаний оказывается оборотной стороной памяти.

«Болевыми точками», «главными травмами» отечественной истории XX века исследователи называют Великую Отечественную войну и массовые репрессии. Если изучение памяти о войне позволило выявить и разграничить два различных дискурса памяти – «официальный» и «личный», – то для изучения репрезентации массовых репрессий в памяти советского и постсоветского общества такое разграничение оказалось непродуктивным: в официальном «послесталинском» дискурсе память о массовых репрессиях была артикулирована крайне слабо и невыразительно, а в личных, семейных коммеморациях эта тема подвергалась вытеснению и табуированию. Изучение практик «забвения» потребовало особого методологического инструментария и понятийного аппарата: так, О. Саркисова и О. Шевченко в своем исследовательском проекте, посвященном роли фотографий в структурировании семейной памяти, предлагают выделять «забвение» и «молчание» как две принципиально различные стратегии обращения с прошлым. «Молчание предполагает элемент осознания и признания», сознательное редактирование прошлого и страх перед возможными последствиями разглашения скрываемой правды; эта стратегия обращения с прошлым присуща поколению непосредственных свидетелей, участников и жертв трагических событий. «Молчание старшего поколения превращается в забвение у младших»; «забвение – это молчание, не знающее своего имени, отсутствие, которое настолько естественно, что становится незаметным и в целом не воспринимается как утрата»²⁶. «Молчание – категория, отличная от забвения, оказывается релевантной для русской ситуации», –

²⁵ Чуйкина С.А. *Дворянская память: «бывшие» в советском городе (Ленинград, 1920-30-е годы)*. СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2006; Нарский И.В. *Фотокарточка на память: Семейные истории, фотографические послания и советское детство (Автобио-историко-графический роман)*. Челябинск: ООО «Энциклопедия», 2008.

²⁶ Шевченко О., Саркисова О. *Советское прошлое в любительской фотографии: работа памяти и забвения // Отечественные записки*. 2008. № 4 (43). С. 212-213; Саркисова О., Шевченко О. *В поисках советского прошлого: Любительская фотография и семейная память / пер. с англ. Н. Катричевой, под ред. авторов // Новое литературное обозрение*. 2015. № 1 (131). С. 100.

замечает С.А. Еремеева, ссылаясь на опыт американской исследовательницы Кэтрин Мерридэйл²⁷.

Концептуальную «матрицу» для аналитического изучения памяти и забвения о трагическом прошлом предложил А.М. Эткинд. В своих работах начала 2000-х гг. он разграничил «твердую» и «мягкую» память, по аналогии с компьютерным «железом» и программным обеспечением (hardware and software). «Твердая память хранится в длящемся во времени материальном субстрате, прежде всего в памятниках; вторая имеет текстуальный характер и живет в текущем публичном дискурсе. Мягкая память не зависит от государства и полностью принадлежит гражданскому обществу. Наоборот, средства твердой памяти находятся под контролем государства. Два вида исторической памяти – документы и монументы, тексты и мемориалы, нарративы и памятники – дополняют друг друга и взаимно необходимы»²⁸. Таким образом, продолжает исследователь, возможны ситуации, когда содержание «мягкой» и «твердой» памяти вступает в скрытый или явный конфликт друг с другом; в СССР, начиная с 1960-х гг., память о массовых репрессиях существовала на уровне «мягкой» памяти (литературных текстов), но не была кристаллизована в зримых, вещественных формах памяти «твердой», в памятниках и мемориальных знаках²⁹.

В последующих работах А.М. Эткинда было введено также понятие «жуткая» память, представляющее собой переосмысление одной из категорий фрейдистского психоанализа: как пишет исследователь, «если не признать утрату, она угрожает вернуться в странных формах... Чем сильнее энергия забывания, тем страшнее ужас воспоминания»³⁰. Категория «жуткой памяти» применяется им для интерпретации причудливых форм памяти-забвения в советском обществе: память о массовых репрессиях, крайне слабо и невыразительно артикулированная в официальном «послесталин-

²⁷ Еремеева С.А. Память смертная. Что с ней стало в (пост)советской России? // Диалог со временем 54. Специальный выпуск. Национальная идентичность и феномен исторической памяти. М.: ИВИ, 2016. С. 234.

²⁸ Эткинд А. Столетняя революция: юбилей начала и начало конца // Отечественные записки. 2004. № 5. С. 46.

²⁹ Там же. С. 48-49.

³⁰ Эткинд А. Кривое горе: Память о непогребенных / авториз. пер. с англ. В.Макарова. М.: Новое литературное обозрение, 2016. С. 30-31, 58.

ском» дискурсе, находила себе исход в художественных произведениях, причем зачастую – в превращенной форме, как метафора возвращения мертвых.

Историческая память и идентичность людей советской эпохи предстает в результате таких исследований все более сложной и многоуровневой; свой голос обретают самые разные социальные группы и прочие акторы публичного пространства. В целом ряде исследований последовательно проводится идея, что формирование исторической памяти советского общества осуществлялось через своеобразный диалог, участники которого, впрочем, находились в изначально неравных позициях. Власть усиленно внедряла в общественное сознание те или иные исторические представления, но «приживались», оказывались устойчивыми именно те из них, которые соответствовали глубинным запросам самого общества; формировался круг запретных тем и зон умолчания, но и выработывались стратегии неявного обхода этих запретов. Ответом на «дискурсивное насилие» власти становился не протест, но формирование «гибридных идентичностей»: «большинство людей, называвших и полагавших себя советскими», «вполне непротиворечиво и органично вплетали в свои представления и дискурсивные практики не только азы марксистско-ленинской идеологии, но и религиозные представления и перенятые от предыдущих поколений родственников повседневные практики, и основанные на собственном опыте практики “здравого смысла”»³¹.

Тем самым был подготовлен следующий шаг в изучении идентичности советского человека: исследователи все чаще отказываются использовать при описании советской действительности бинарные оппозиции (подавление – сопротивление, официальная культура – контркультура, публичная субъектность – частная субъектность, конформизм – неконформизм и так далее). Это было ярко выражено, в частности, в исследовании А. Юрчака, посвященном внутренней логике функционирования «советской системы» времен «позднего социализма» (начала 1950-х – середины

³¹ Малышева С.Ю. Врезано в камень, врезано в память. С. 200. См. также: Габович М. Памятник и праздник: этнография Дня Победы // Неприкосновенный запас. 2015. № 3 (101). С. 96-97.

1980-х гг.)³². Как прослеживает он на материалах личных свидетельств, реальные советские люди постоянно и повсеместно участвовали в воспроизводстве высказываний, форм и ритуалов «авторитетного дискурса», но, поскольку в Советском Союзе эпохи «позднего социализма» «буквальный смысл этих ритуалов и текстов был не так важен, как четкое воспроизводство их формы – стандартного языка, процедуры, отчетности и так далее», советские граждане, воспроизводя идеологические ритуалы и практики, при этом могли «активно наполнять свое существование новыми, творческими, позитивными, неожиданными и не продиктованными сверху смыслами»³³. Это разнообразие новых идей, смыслов, социальных сред и практик разрушало кажущуюся однородность и тотальность системы позднего социализма и стало причиной внутренней хрупкости внешне мощной системы.

Взаимосвязь проблематики исторической памяти и коллективной идентичности рельефно выступает и в тех случаях, когда исследователи обращаются к изучению форм и содержания исторической памяти современного российского общества начала XXI в. Поиск ответа на вопрос о том, насколько успешными оказались попытки построить новую, «постсоветскую» идентичность, неизбежно предполагает постановку другого вопроса: как трансформировались формы и содержание исторической памяти в постсоветский период?

Исследуя историческую память и идентичность наших современников, ученые-гуманитарии, как и при изучении советского периода, анализируют культуру коммемораций, запечатленную в памятниках и отраженную в праздничных ритуалах, властную «политику памяти» и художественные дискурсы памяти, личные воспоминания и семейные коммуникации «рядовых» людей.

Способом «поймать», зафиксировать те изменения, которые произошли за последние 25-30 лет в сознании бывшего «советского простого человека», становится обращение к жанру устной истории. Но представления о содержании и познавательных возможностях этих источников существенно изменились и усложнились

³² Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение / предисл. А. Беляева; пер. с англ.; 2-е изд. М.: Новое литературное обозрение, 2016. С. 38, 44-47, 554.

³³ Там же. С. 74, 45, 77.

буквально за последние несколько лет. Так, челябинский историк Р.С. Черепанова признается, что ее проект по сбору воспоминаний провинциальной интеллигенции был движим стремлением «приблизиться к неосуществимому желанию всех историков: заглянуть в “историю” глазами “маленького человека”», найти в устных рассказах «следы “незамутненной” властными дискурсами картины мира»³⁴. Однако, продолжает исследователь, работа с реальными материалами устной истории приводит к неожиданному открытию «не только мощного, но и неизбежного воздействия на индивидуальную память... “официальной версии” прошлого» и вынуждает признать тот факт, «что человек думает и говорит на том языке, теми стилистическими и риторическими фигурами (тропами), которым его научили»³⁵.

Работа Р.С. Черепановой, основанная на текстуальном, структурном и дискурсивном анализе материалов 132 биографических интервью, позволила вскрыть многослойный характер дискурсов памяти – и вследствие этого отказаться от бинарного противопоставления «официального» и «личностного» дискурсов. Историк отмечает, в частности, что в речи ее информантов при описании их личных судеб использовались «осколки канцеляризмов, торжественных речей, официальных анкет и автобиографий», «звучали обрывки профессиональных “арго”», применялись «библейские (коранические) или сказочно-былинные обороты», а на более глубоком стилистическом уровне причудливо смешивались «три официальных дискурса»: «брежневский, восходящий к сталинской классике, величаво-эпический»; «разоблачительная демократическая риторика конца 1980-х – начала 1990-х годов»; и «державно-морализаторский, отдающий православием-самодержавием-народностью слог, утвердившийся в России с начала 2000-х». «Все это порой причудливо соединялось в одном монологе..., ничуть не смущая рассказчика», – констатирует исследователь³⁶.

То, что выявила Р.С. Черепанова, отмечают и другие исследователи, работавшие с устными воспоминаниями наших современ-

³⁴ Черепанова Р.С. «Обычный наблюдатель»: XX век в воспоминаниях провинциальной интеллигенции. Опыт чтения и интерпретации текстов устной истории: монография. Челябинск: Каменный пояс, 2015. С. 8, 13.

³⁵ Там же. С. 14-15.

³⁶ Там же. С. 44-47.

ников и с семейными практиками сохранения памяти: советский «официальный» дискурс (со всеми его версиями и внутренними противоречиями) подвергся интериоризации, впитался в структуру мышления респондентов. Так, О. Саркисова и О. Шевченко – авторы исследования о советской семейной фотографии и воспоминаниях разных поколений о социализме, проведенного в 2006–2008 годах в пяти российских городах, – пришли к выводу, что «традиционное противопоставление “частной” семейной памяти и “официальной” памяти о прошлом» зачастую чрезмерно упрощает ситуацию и не выдерживает проверки практикой: «воспоминания, вызываемые изображениями из личных семейных архивов, никогда не бывают только личными: все они в разной степени содержат элементы “официального” дискурса и существуют на пересечении коммуникативной и культурной памяти»³⁷. Это приводит к важному выводу: «советский опыт воспринимается [респондентами] как органично “свой” и не может быть представлен в виде навязанной извне идеологической системы»³⁸. Новые дискурсы не вытесняют советского, а смешиваются с ним: рассказы респондентов о жизни их семей в советский период представляют собой ситуативную комбинацию ностальгического и критического дискурсов, «травматические и болезненные воспоминания» сочетаются «с откровенно ностальгической оценкой одного и того же периода»³⁹.

Такой подход позволяет понять, почему столь мучительной оказалась для наших соотечественников ситуация крушения советского идеологического проекта, почему «конец прекрасной эпохи» часто переживается как личностная утрата, как трагическое обесценение собственного жизненного опыта⁴⁰. Это позволяет объяснить и столь легкий ренессанс «советскости» (по крайней мере, внешних знаков советского «большого стиля»), происходящий на наших глазах: как не без удивления констатирует историк культуры и антрополог В. Михайлин в статье с показательным названием

³⁷ Саркисова О., Шевченко О. В поисках советского прошлого. С. 89, 90.

³⁸ Там же. С. 85.

³⁹ Шевченко О., Саркисова О. Советское прошлое в любительской фотографии. С. 209; Саркисова О., Шевченко О. В поисках советского прошлого. С. 98.

⁴⁰ Гапова Е. Страдание и поиск смысла. С. 216–219.

«Ех cinere» [из пепла – *О.Л.*], «складывается ощущение, что огромное количество граждан России только и ждало “отмашки сверху”, чтобы заявить о своем желании – и о своем праве – снова стать советскими людьми»⁴¹.

Место советского периода в исторической памяти наших современников оставалось безусловно важным на протяжении 1990-х и 2000-х гг., и его значимость возрастала год от года. В исследованиях Б.В. Дубина (выполненных на сравнительных данных опросов 1989, 1994, 1999, 2003 гг.) воссоздавалась «конструкция культурного времени россиян», «представленная и зафиксированная мерами и метками общего, пережитого сообща времени». Как отмечает социолог, «началом» этого общего времени в массовом сознании является Октябрьская революция, «концом» – распад СССР и последовавшая за ним чеченская война; фокусирующей точкой, смысловым центром всей темпоральной конструкции является победа в Великой Отечественной войне; а в качестве «золотого века», «лучшего времени», в котором респондентам хотелось бы жить, выступает брежневский период⁴². В работах Б.В. Дубина, Л.Д. Гудкова и Н.Е. Копосова прослеживается ход своеобразной реабилитации и мифологизации сталинского периода в современном общественном сознании⁴³. В то же время, опираясь на материалы регулярных опросов ВЦИОМ, ВЦИОМ-А, Аналитического центра Юрия Левады, Б.В. Дубин констатирует неудачу попыток сформировать новую коллективную идентичность россиян вокруг таких событий, как август 1991 г. или период президентства Б.Н. Ельцина⁴⁴.

Закономерное внимание исследователей привлекает социокультурный феномен ностальгии наших соотечественников по советскому прошлому, выражающейся в самых разнообразных формах: от социальной игры, предполагающей создание виртуальных сетевых сообществ вокруг общих воспоминаний, до потенциально

⁴¹ Михайлин В. Ех cinere: проект «советский человек» из перспективы *post factum*. С. 137.

⁴² Дубин Б.В. Россия нулевых: политическая культура – историческая память – повседневная жизнь. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2011. С. 47-64.

⁴³ Копосов Н.Е. Память строгого режима. С. 142-162; Гудков Л.Д. «Память» о войне и массовая идентичность россиян // Память о войне 60 лет спустя. С. 89-98; Дубин Б.В. Россия нулевых. С. 155-164.

⁴⁴ Дубин Б.В. Россия нулевых. С. 70-140.

опасной практики использования образного ряда и риторики «позднего сталинизма» в публичном и политическом дискурсе. Подчеркивается, что ностальгия основана на «избирательной амнезии в отношении прошлого»: она «воссоздает “тридцатые” без тридцать седьмого года, “сороковые” без голода и спекуляций, “шестидесятые” без Чехословакии и “восемидесятые” без Афганистана»⁴⁵. В качестве причин, породивших этот социокультурный феномен, называют защитную реакцию коллективной памяти на «по-большевистски радикальное переписывание прошлого», «семиотическую революцию» переименований и демонтажа памятников, обесценивание привычного социального капитала в 1990-е годы; стремление преодолеть фрустрацию, порожденную утратой веры в будущее; мифологизацию «особости», «уникального пути» в условиях экономической и политической нестабильности, «когда в пространстве настоящего все “другие” оказываются “чужими”»⁴⁶. Ностальгии сопутствует стратегия «нормализации» советского прошлого – преодоление травматических воспоминаний о трагедиях и жертвах с помощью формулы «все было как у всех, разве что еще труднее»⁴⁷.

Однако, как представляется, эти тенденции свидетельствуют не о возрождении советской идентичности в первоизданном виде (невостребованным остается ее ключевой компонент – социалистическая идея и образ светлого будущего), а скорее о возвращении в публичные дискурсы отдельных ее элементов, зачастую включенных в чуждый социокультурный контекст.

⁴⁵ Янковская Г.А. Ностальгия в стиле социалистического реализма в культурной памяти постсоветской России 1990-х гг. // Век памяти, память века. С. 351.

⁴⁶ Янковская Г.А. Ностальгия в стиле социалистического реализма... С. 347-357; Чикишева А.С. Феномен ностальгии и его проблематизация в современном культурологическом знании // Культурологический журнал / Journal of Cultural Research. Электронное периодическое рецензируемое научное издание. 2012. № 3 (9). С. 1-9; Чикишева А.С. Ностальгический миф и формы его репрезентации в пространстве Рунета // Историческая память и диалог культур: сборник материалов Международной молодежной научной школы (Казань, 2012 г.): в 3 т. Т. 1. Казань: Изд-во КНИТУ, 2013. С. 305-314.

⁴⁷ Калинин И. Ностальгическая модернизация: советское прошлое как исторический горизонт // Неприкосновенный запас. 2010. № 4 (74). С. 6-16; Копосов Н.Е. Память строгого режима. С. 44-153, 165.

Как правило, исследователи отмечают многослойный характер современной исторической памяти; зримым воплощением этой многослойности являются мемориальные комплексы и некрополи современной России. Так, в работе А.С. Святославского «История России в зеркале памяти», посвященной истории коммеморации, воплощенной в рукотворных объектах – мемориалах, памятниках, некрополях, – монументальное искусство современности представлено как «среда, в которой православные, античные, советские и разного рода эклектические модернистские формы причудливо сплелись... нередко потеряв в массовом сознании (да и в сознании самих авторов...) изначальный смысл»⁴⁸. В основе любой «парадигмы памяти», как убежден А.С. Святославский, заложены определенные мировоззренческие установки – представления о жизни, смерти и бессмертии⁴⁹; таким образом, смешение стилей в современной мемориальной культуре становится зримым свидетельством столь же эклектического смешения несовместимых ценностей.

Современные российские праздники на первый взгляд являются собой столь же синкретическую картину, где причудливо смешано религиозное и светское, восходящее к советскому периоду (например, система профессиональных праздников) и к общеевропейским практикам. Однако исследователи достаточно единодушно отмечают, что «в целом... нынешняя система российских праздников носит преимущественно секулярный характер и уходит корнями в советскую историю»⁵⁰, и что в последние годы все более заметной становится тенденция «реставрации некоторых советских практик»⁵¹. А вот попытки обращения к дореволюционным сюжетам исторической памяти или создания новых праздников, связанных с вехами истории постсоветской России, по признанию исследователей, выглядят «не слишком убедительными»⁵² (так, введение нового праздника – Дня народного единства, отмечаемого 4 ноября – оценивается как коммеморативная неудача)⁵³.

⁴⁸ Святославский А.В. История России в зеркале памяти. С. 462.

⁴⁹ Там же. С. 462-463.

⁵⁰ Макаркин А. Противоречивые праздники новой России // Неприкосновенный запас. 2015. № 3 (101). С. 273.

⁵¹ Горин Д. От карнавала к литургии. С. 88.

⁵² Макаркин А. Противоречивые праздники новой России. С. 273.

⁵³ Малинова О.Ю. Актуальное прошлое. С. 76.

Постсоветские трансформации двух структурообразующих исторических мифов советского общества – мифологизированных представлений о Великом Октябре и о Великой Отечественной войне, – оказались принципиально разнонаправленными по своему характеру. Роль «главного праздника» в календаре исторической памяти в последние годы, безусловно, стал играть День Победы. Масштаб современных коммемораций Победы практически единодушно трактуется исследователями (историками, социологами, политологами) как показатель того, что в сознании современного российского общества память о войне выступает в качестве важнейшего «мифа происхождения»; Победа оказалась «чуть ли не единственным элементом актуализированного прошлого, способного служить опорой современной российской идентичности»⁵⁴.

Напротив, представления об Октябрьской революции утратили свой объединяющий потенциал и оказались вписанными «в нарративные схемы разной идеологической направленности»⁵⁵. В современном публичном пространстве, как считают историки, соседствуют и противоборствуют друг с другом несколько разных «сценариев коллективной идентичности». Например, А.В. Шубин, отвечая на вопросы интервьюера об отношении современного общества к революции 1917 г., утверждает, что «наше историческое сознание расколото примерно на четыре основных сектора»: 1) лево-демократический, для представителей которого приоритетными являются ценности социальной справедливости и народовластия, а положительная фигура исторической памяти – В.И. Ленин; 2) лево-патриотический сектор, для которого высшей ценностью является державность, а в качестве строителей единой державы выступают Иван Грозный, Петр I, Ленин и Сталин; 3) бело-патриотический сектор, ностальгирующий по «России, которую мы потеряли», и отторгающий советское прошлое; и, наконец, 4) право-демократический сектор, сторонники которого отвергают большевизм во имя ценностей либерализма и демократии, отождествляемых с Февральской революцией. Победу одной из

⁵⁴ Дубин Б.В. Россия нулевых. С. 47-70, 140-155; Копосов Н.Е. Память строгого режима. С. 162-168.

⁵⁵ Малинова О.Ю. Актуальное прошлое. С. 84, 90.

этих сторон, как и их примирение, историк считает невозможной в ближайшей перспективе⁵⁶.

Несколько иную конфигурацию современной исторической памяти обрисовывает в своих работах С.Е. Эрлих: он выделяет правительственный, православно-монархический, коммунистический и, наконец, интеллигентский сегменты исторического сознания, для каждого из которых характерны свои дискурсы, свой набор исторических представлений и символов, своя, в высокой степени мифологизированная, трактовка одних и тех же исторических сюжетов⁵⁷. Как можно заключить, оба историка проводят достаточно четкие разграничительные линии между разными «секторами» или «сегментами» исторического сознания; но насколько отчетливыми эти разграничения оказываются в повседневной дискурсивной практике?

Изучая «политику идентичности», проводимую современным российским государством и воплощенную в публичных выступлениях трех российских президентов (Б.Н. Ельцина, В.В. Путина и Д.А. Медведева), О.Ю. Малинова приходит к выводу, что эта политика, безусловно, претерпела существенную эволюцию: «критический нарратив» ельцинских времен, предполагавший радикальное отрицание ценностей советского периода истории, сменился с началом 2000-х годов концепцией, подчеркивающей преемственность «тысячелетнего» Российского государства. Но при этом «символическое использование прошлого» строится в настоящее время по принципу коллажа: прошлое России представлено в современном властном дискурсе как ряд ярких образов отдельных событий, принципиально не укладывающихся в связный нарратив⁵⁸. Выигрышной стороной такой тактики является ее гибкость, возможность для власти адресоваться к разным слоям общественного сознания; слабой стороной – то, что «работа с прошлым» в технике коллажа не может обеспечить формирования целостных и устойчивых представлений о прошлом, настоящем и будущем страны.

⁵⁶ Шубин А.В. Революция 1917–1922 гг. и мы // Историческая экспертиза. URL: http://istorex.ru/page/shubin_av_revolyutsiya_1905–1922_gg_i_mi (дата обращения – 21.03.2017).

⁵⁷ Эрлих С.Е. Война мифов. Память о декабристах на рубеже тысячелетий. СПб.; М.: Нестор-История, 2016.

⁵⁸ Малинова О.Ю. Актуальное прошлое. С. 179–184.

Примечательно, что исследователи, изучающие разные сегменты исторического сознания, опирающиеся на различные источники и применяющие принципиально различные методологические подходы, приходят к поразительно схожим выводам. «Коллажный» характер «политики идентичности», проводимой «сверху»; соперничество различных проектов коллективной идентичности в публичном дискурсе и отсутствие общественного консенсуса по ключевым событиям истории XX века; смешение элементов различных дискурсов в личных и семейных воспоминаниях; соединение различных «парадигм памяти» в коммеморативной практике; наконец, невозможность выработать непротиворечивый «нарратив национальной идентичности» (что наглядно иллюстрируется дебатами вокруг проекта «единого учебника истории»), – все это в совокупности создает общую картину современного исторического сознания. Используя метафору А. Рибера, который когда-то назвал дореволюционный российский социум «обществом осадочных пород»⁵⁹, мы могли бы назвать историческую память современного российского общества «памятью осадочных пород»: в ней переплетаются пласты, принадлежащие разным геологическим эпохам.

Сложность и многослойность объекта исследования заставляет задуматься о том, какой методологический инструментарий и категориальный аппарат необходим для аналитического изучения советской и постсоветской памяти и идентичности во всей их специфике. Все чаще высказываются сомнения по поводу того, насколько пригодна для решения этой задачи система категорий, выработанная в зарубежной литературе применительно к опыту осмысления нацизма и Холокоста: прежде всего, адекватно ли описывают советский опыт такие понятия, как «травма», «забвение», «виктимизация», «проработка прошлого». Взамен или в дополнение к ним исследователи предлагают применять такие, например, категории, как «молчание», «брутализация», «остранение», а также переосмысливают уже ставшие привычными понятия – например, наряду с «местами памяти» исследуют «события памяти» (придание прошлому иного смысла в новом контексте)⁶⁰. Изучение исто-

⁵⁹ Rieber, Alfred J. The Sedimentary Society // Russian History. Vol. 16, No. 2/4, Festschrift for Leopold H. Haimson (1989). P. 353-376.

⁶⁰ Еремеева С.А. Память смертная. С. 231-234; Эткинд А. Кривое горе. С. 12-13, 27, 228-229.

рической памяти и коллективной идентичности идет параллельно с поиском новой матрицы и нового языка анализа.

Ситуацию усложняет то обстоятельство, что порой труд исследователей отстает от темпа социально-политических перемен в самом обществе: смелые прогнозы или предостережения, сделанные несколько лет назад, оказываются реальностью или, напротив, опровергаются практикой, и исследовательский проект продолжает свое существование уже в ином социокультурном контексте. Фактически, здесь мы имеем дело со своеобразным «эффектом наблюдателя»: сам исследователь оказывается участником общественных практик памяти, а его труд становится вкладом в социально значимую работу по формированию в обществе осознанного отношения к собственному прошлому.

Н.В. Ростиславлева

ЮБИЛЕИ «БИТВЫ НАРОДОВ» В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ РОССИИ И ГЕРМАНИИ

Актуальность того или иного события прошлого ярко проявляется в особенностях юбилейных торжеств. Они достаточно репрезентативно выявляют векторы трансформации культуры памяти. Как отмечал Ян Ассман, помнящая культура сознательно обращается к прошлому, ища в нем основания для своего настоящего и будущего, обретая и осознавая свой смысловой горизонт, реорганизуя прошлое под нужды настоящего¹. Также не следует упускать из виду коллективный характер памяти, поскольку она всегда является выразителем групповых ценностей и интересов². Феномен памяти настолько хрупок, что ему присущ также механизм деактуализации, который зависит от социально-политических запросов общества и от культурно-исторического контекста. Каким образом это проявляется в культуре исторической памяти России и Германии, можно проследить на примере юбилеев «Битвы народов».

«Битва народов» состоялась 16-19 октября 1813 г. под Лейпцигом и была решающим сражением кампании 1813 г. в войне России, Австрии и Швеции против наполеоновской Франции. Численность армии союзников была свыше 300 тысяч человек: русских воинов – 127 тысяч, австрийцев – 89 тысяч, пруссаков – 72 тысячи и шведов – 18 тысяч³. В армии Наполеона состояли французы, поляки, итальянцы, бельгийцы, голландцы и другие; ее общая численность – около 200 тысяч человек. Наполеон проиграл это сражение, потери его армии составили около 80 тысяч человек, среди которых 20 тысяч пленных. Союзники захватили Лейпциг. Их потери были гораздо меньшими, но также довольно серьезными: русские потеряли свыше 22 тысяч человек, пруссаки – 16 тысяч человек, а австрийцы – 15 тысяч человек⁴. Именно масштаб этого сражения и его значение для полного освобождения гер-

¹ Ассман Я. Культурная память. М., 2004. С. 43.

² См. об этом подробнее: Хаттон П. История как искусство памяти. СПб., 2003. С. 146-218.

³ Советская историческая энциклопедия. Т. 8. М., 1965. С. 537.

⁴ Там же.

манских земель от наполеоновских войск и общего разгрома наполеоновской державы определили его название – «Битва народов».

Это сражение в XIX в. в Германии и в России воспринималось как ключевое в войне 1813 г. за независимость Германии⁵. В XIX в. «битва памяти» оно не вызывало; более того, позиционировалось в России и Германии как элемент консолидации обеих стран. Велик был интерес к нему, связанный с раскрытием всех деталей этого события. Как отмечает А. Ассман, первый импульс культуры памяти – простое любопытство, ответом на которое являются публикации исторических книг, организация выставок, музеев⁶. Также не следует упускать из виду, что в первой половине XIX в. сражение было частью коммуникативной памяти и только в последней трети века стало объектом культурной памяти.

Образование в 1871 г. Германской империи поставило перед исторической памятью новые задачи – поиск основ идентичности немцев. Вторым импульсом в измерении культуры памяти А. Ассман называет стремление «убедить в идентичности», замечая, что индивидуальная или национальная идентичность доступна только благодаря истории, а воспоминания составляют суть и потребность человека⁷. Если раздробленная Германия в надежде обрести в лице России гаранта в решении «германского вопроса» была заинтересована в исторических основаниях консолидации с последней, то после объединения у Германской империи появились иные задачи. Поиск национальной идентичности – главная из них. Юбилеи были призваны играть в этом процессе ведущую роль. Еще до объединения Германии культурное сплочение немцев проявилось, например, в том, как отмечалось 50-летие со дня смерти Ф. Шиллера. Немцы находились в поиске национального героя. Поиск основ национальной идентичности продолжался и на рубеже XIX–XX вв. Юбилей «Битвы народов», который пришелся на турбулентное время кануна Первой мировой войны, был использован обществом для прославления немецкого оружия. Германское общество должно было быть уверенным, что в историче-

⁵ Богданович М.И. История войны 1813 года за независимость Германии. В 2 т. СПб., 1863; Михайловский-Данилевский А.И. Описание войны 1813 г. В 2 ч. СПб., 1844.

⁶ Assmann A. Geschichte im Gedächtnis. München, 2014. S. 25.

⁷ Ibid. S. 25–26.

ской ретроспективе немцы одерживали великие победы. В том числе и над «Великой армией» Наполеона.

В 1913 г. Россия и Германия отметили столетний юбилей битвы. Напряженность отношений обеих стран накануне Первой мировой войны, разные задачи, которые решали государства, обращаясь к воспоминаниям о Лейпцигском сражении, определили сопаратный характер юбилейных торжеств и разный статус мероприятий. В Германии под Лейпцигом был сооружен и открыт к 100-летию юбилею сражения величественный памятник «Битвы народов», так называемый «Völkerschlachtdenkmal». Он представляет собой 91-метровый монумент, построенный по проекту архитектора Б. Шмица. Внутри памятника и у его подножия находятся скульптуры работы Ф. Метцнера и Ф. Беренса. Памятник и сейчас является одной из самых известных достопримечательностей Германии, более того, его столетний юбилей стал также событием⁸.

Идея сооружения памятника принадлежала Эрнсту Морицу Арндту, который был участником войны с Наполеоном. В 1840-х годах он опубликовал свои воспоминания об этом и вошел в анналы борьбы за немецкое единство. Уже в 1813 г. Арндт заявлял о притязаниях Германии на Эльзас, обосновывая это с помощью «идеи национального языка как “естественной границы” между народами», и говорил об «опасности с Востока»⁹.

В 1863 г, в год 50-летия «Битвы народов», в основание памятника был заложен первый камень, но только на рубеже веков началось его сооружение. В начале XX в. идеи Э.М. Арндта оказались востребованы как никогда. Инициатором масштабного проекта стал председатель Союза патриотов Германии Клеменс Тиме. При его поддержке был организован сбор пожертвований в форме лотереи. Открытие огромного монумента состоялось с большой торжественностью, на церемонии лично присутствовал германский император Вильгельм II¹⁰.

⁸ См. об этом подробнее: *Brettner-Messler G.* Vor 200 Jahren: die Völkerschlacht bei Leipzig und die Stiftung des Eisernen Kreuzes – seit 100 Jahren: das Völkerschlacht-Denkmal in Leipzig. Wien, 2013; *Spohr S.* Das deutsche Denkmal und der Nationalgedanke im 19. Jahrhundert. Weimar, 2011.

⁹ *Земскова Е.Е.* Русская рецепция немецких представлений о нации в кон. XVIII – нач. XIX в.: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2002. С. 21.

¹⁰ *Linke K.* Das Völkerschlacht – Denkmal und seine Umgebung. Kleiner Führer. Leipzig, 1913.

Россия также организовала торжественные мероприятия: под Лейпцигом была сооружена часовня, куда перенесли прах 22 тысяч погибших русских участников битвы. Сейчас это сооружение называется храм-памятник русской славы в Лейпциге. Летом 1913 г. велись активные переговоры по поводу «сооружения русской часовни». Причем, несмотря на напряженные отношения между странами, Германия позволяла беспощинно ввозить все необходимые материалы для строительства этой часовни¹¹. В августе 1913 г. из России отправляются в Саксонию «колокола и все церковные приборы»¹².

В Архиве внешней политики Российской империи в фонде «Миссия в Дрездене» были обнаружены документы, которые включают в себя переписку генерала Воронцова (июль-октябрь 1913 г.) с посланником в Дрездене бароном Вольфом. Так, из этой переписки стало ясно, что Германия специально для перезахоронения останков русских воинов должна была выделить наряд войск, так что российские представители действовали при подготовке этого мероприятия совместно с саксонским военным министром¹³.

Сооружение этого храма-памятника над могилой 22 тысяч русских воинов, павших в бою под Лейпцигом, организовывалось на пожертвования, для сбора которых специально был создан комитет «под председательством его императорского высочества великого князя Михаила Александровича»¹⁴. Празднование в России 100-летнего юбилея «Битвы народов» – это проявление «живой памяти», которая является памятью трех-четырех поколений. Российская империя достойно отметила 100-летний юбилей Лейпцигского сражения. Однако крупных исторических трудов на эту тему уже не публиковалось. Это событие не только не являлось элементом консолидации России и Германии, но и продемонстрировало явную отчужденность между странами.

В 2013 г. отмечался 200-летний юбилей этой битвы. В Германии была разработана обширная программа юбилейных торжеств, которая носила пафосное заглавие «Лейпциг 1813–1913–2013. Ис-

¹¹ Архив внешней политики Российской империи (АВПРИ). Фонд № 177. Миссия в Дрездене. Л. 3.

¹² Там же. Л. 1.

¹³ Там же. Л. 3.

¹⁴ Там же. Л. 16.

тория Европы»¹⁵. 2013 год позиционировался как год двойного юбилея. Особенно много мероприятий было проведено в октябре-ноябре 2013 г., а с 16 по 20 октября проходила так называемая «Неделя памяти», в рамках которой актуализировались не патриотические идеи, а общеевропейские ценности, идеи экуменизма. Именно такой предстала «живая история» в юбилейных торжествах 2013 г. в Германии. Свое обращение посетителям сайта «Voelkerschlacht-jubilaeum» адресовал тогдашний президент Европарламента Мартин Шульц, который подчеркивал, что «Битва народов» – это уже долгое время «место памяти» не только немецкого народа, но объединенной Европы. В год юбилея поле битвы, – подчеркивал политик, – это пространство раздумий о нашем будущем, когда произойдет «развенчание национальных мифов», а юбилейные торжества должны стать демонстрацией скорби обо всех погибших в ходе этого сражения европейцах. Европейскую историю Шульц назвал идеалом демократии и свободы, а современность – временем, когда мечта стала реальностью¹⁶. В музее немецкой истории в Берлине летом 2013 г. открылась выставка «1813. На поле битвы под Лейпцигом»¹⁷, которая продемонстрировала высшую политкорректность, сосредоточившись в основном на экспозиционных решениях картины Иоганна Петера Крафта «Князь Шварценберг сообщает союзным монархам о победе в “Битве народов” при Лейпциге». Картина была написана в 1817 г., сейчас хранится в Вене. Ее доставка в Берлин стала только основой для концепции выставки. Картину как бы «деконструировали», как пазл, на отдельные элементы, и попытались проследить биографии людей, которые на ней изображены. На основе музейных экспонатов на выставке были представлены их личные вещи, дневники, письма. Таким образом, центром экспозиции стало не само событие, а биографии его участников.

К юбилею битвы под Лейпцигом был приурочен выпуск крупных исторических исследований по истории прусско-

¹⁵ 1813-1913-2013. Leipzig und die Völkerschlacht. Leipziger Medien Service GmbH, 2013. URL: <https://www.lvz-shop.de/buecher-magazine/1813-1913-2013-leipzig-und-die-voelkerschlacht.html> (дата обращения – 12.04.2017).

¹⁶ Ibid.

¹⁷ 1813. Auf dem Schlachtfeld bei Leipzig. Ein Rundgang durch die Gemälde „Sigesmeldung“ von Johann Peter Kraft. Berlin, 2013.

французских войн XIX в.¹⁸, которые, по мнению автора, Биргит Ашман, стали основой национального дискурса чести. Также вышли в свет книги¹⁹, посвященные самой битве.

В России 200-летний юбилей «Битвы народов» под Лейпцигом отмечался скромнее. В.М. Безотосный в докторской диссертации, защищенной в 2013 г., упоминал о «Битве народов» в контексте деятельности коалиции в 1813-1814 гг. В основном автор сосредоточил внимание на роли России в событиях 1813-1814 гг.²⁰ Также Лейпцигская битва нашла отражения в обобщающих трудах по истории войны 1812 года²¹.

В Государственной публичной исторической библиотеке с 10 октября по 2 ноября 2013 г. была открыта книжная выставка, посвященная «Битве народов» – «одному из крупнейших сражений мировой истории, переломившему ход наполеоновских войн»; на сайте библиотеки отмечалось, что «в результате поражения в этой битве Франция лишилась всех своих территориальных завоеваний в Европе, а союзные войска России, Австрии, Пруссии и Швеции вторглись на ее территорию»²². Основное место в экспозиции занимали воспоминания и записки современников сражения: мемуары, письма, различные документы на русском, французском и немецком языках. Таким образом, и в России биографическая история также оказалась в фокусе празднования юбилея. Современных работ об этом событии на выставке представлено не было. Почему?

¹⁸ *Aschmann B.* Preußens Ruhm und Deutschlands Ehre. Zum nationalen Ehrendiskurs im Vorfeld der preußisch-französischen Kriege des 19. Jahrhunderts. München, 2013.

¹⁹ *Platthaus A.* 1813 die Völkerschlacht und das Ende der alten Welt. Berlin, 2013; *Börner K.H.* Die Völkerschlacht in Augenzeugenberichten vor Leipzig 1813. Husum, 2012.

²⁰ *Безотосный В.М.* Россия в наполеоновских войнах 1805-1815 гг.: Автореф. дис. ... докт. ист. наук. М., 2013.

²¹ *Заграничные походы русской армии. 1813-1815 годы: Энциклопедия.* В 2 т. / Отв. редакторы: В.М. Безотосный, А.А. Смирнов. М., 2011. См. также: *Отечественная война 1812 года и освободительный поход русской армии 1813-1814 годов.* В 3 т. М., 2012.

²² Выставка ««Битва народов» под Лейпцигом 16-19 октября 1813 г.» // Сайт Государственной публичной исторической библиотеки. – URL: http://www.shpl.ru/events/exhibition/bitva_narodov_pod_lejpcigom_1619_okt_yabrya_1813_g1/?archive=yes (дата обращения: 21.05.2017).

Согласно Ю.М. Лотману, коллективная память – это текстообразующий механизм, его существование связано с определенными смыслами, но возможны и процессы деактуализации, при которых происходит исчезновение определенных текстов из смыслового пространства²³. Фокусом российских юбилейных торжеств в 2012 г. стала Отечественная война 1812 г., которая отчасти «поглотила», «растворила» в себе события 1813 г. и «Битву народов» в том числе. Русская армия и войска германских государств в ходе этой битвы внесли общий вклад в разрушение наполеоновской империи, но именно Отечественная война 1812 года сделала возможными другие победы над «Великой армией» Наполеона.

На международной конференции, посвященной 200-летию юбилею войны 1812 г., состоявшейся летом 2012 г. в Москве, прозвучали доклады, освещавшие зарубежный поход русской армии, но не юбилей «Битвы народов» под Лейпцигом. Конечно, говорить о деактуализации этого события в историческом дискурсе современной России не совсем корректно. Данный пример помогает понять, как реальность трансформирует историческую память, как социальные практики и политические реалии корректируют восприятие прошлого. Если в России 200-летний юбилей «Битвы народов» прошел довольно тихо и был вписан прежде всего в патриотический дискурс войны 1812 г., то в Германии он обрел общеевропейское значение и стал элементом углубления консолидации Европейского союза.

²³ См. об этом подробнее: *Лотман Ю.М. Семиосфера. Культура и взрыв. Внутри мыслящих миров.* СПб., 2000.

Е.Е. Савицкий

КОЛОНИАЛЬНЫЕ МЕСТА ПАМЯТИ В ГЕРМАНИИ И В РОССИИ*

В «Местах памяти» Пьера Нора среди десятков статей, посвященных французскому триколору, республиканскому календарю, «Марсельезе» и т.п., была всего одна, посвященная колониальным местам памяти во Франции – это статья «Колониальная выставка 1931 года» Шарля-Робера Ажерона¹, в которой, впрочем, основное внимание было уделено тому, как эта выставка служила созданию республиканской мифологии. Изданные позднее аналогичные «Немецкие места памяти» под редакцией Э. Франсуа и Х. Шульце содержали уже три текста, связанные с колониальной проблематикой, впрочем, не выделенной в качестве особой, а включенной в другие тематические блоки: это статьи «Музей народоведения» Ханса Фогеса, «Карл Май» Рольфа-Бернхарда Эсси-га и Гудрун Шури, а также «Зарубежные немцы» Райнера Мюнца и Райнера Олингера, где речь шла об имперской этнографии, о популярном авторе приключенческих колониальных романов, а также о месте немецких эмигрантов-колонистов в представлениях об общенемецкой идентичности². Таким образом, в рамках этих больших проектов описания национальной памяти колониальная тематика оставалась довольно маргинальной. Опыт значительного числа граждан Германии и особенно Франции, имеющих (пост)колониальный опыт, в этих национальных проектах мест памяти не учитывался в достаточной мере. Как реакция на критику такого узкого понимания «мест памяти» возникли альтернативные

* Статья написана в рамках проекта «Профессиональная историография и историческая память: опыт пересечения и взаимодействия в сравнительно-исторической перспективе» Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Механизмы формирования исторической памяти в обществе и принципов исторической политики».

¹ *Ageron Ch.-R. L'Exposition coloniale de 1931: Mythe républicain ou mythe impériale? // Les lieux de memoire / Sous la dir. de P. Nora. Vol. 1. P.: Gallimard, 1997. P. 493-515. (Quarto.)*

² *Voges H. Das Völkerkundemuseum // Deutsche Erinnerungsorte / Hgg. E. François, H. Schulze. Bd. 1. München: C.H.Beck, 2001. S. 305-321; Essig R.-B., Schury G. Karl May // Ibid. Bd. 3. S. 107-121.*

проекты, и в этой статье я хотел бы рассмотреть два из них, реализованных в Германии, а также подумать о возможности реализации подобных проектов в России.

В первую очередь, надо отметить, что исследование колониальных мест памяти, особенно в таких странах, как Германия и Россия, имеет свою специфику. Нора во Франции исходил из ситуации, когда была некая национальная память, и хотя ей угрожала историзация отношения к прошлому, но никому не нужно было объяснять, что такое Пантеон или революционный календарь. И хотя колониальные места памяти почти не были представлены в изданном Нора коллективном труде, их значение для французской идентичности сохранялось и после эпохи деколонизации. В Германии и России память о колониальном прошлом к концу XX в., напротив, почти полностью исчезла, и широкий публичный интерес к этой проблематике лишь постепенно восстанавливался в последние два десятилетия как в работах профессиональных историков и этнографов, так и в публикациях многочисленных исследователей-любителей или политических активистов. При этом даже сохранившиеся в России и Германии памятники, названия улиц, здания, произведения искусства до недавнего времени редко ассоциировались именно с колониальным прошлым, о котором мало кто помнил или воспринимал его в качестве такового. Только в последние годы эти остатки прошлого стали провоцировать широкие общественные дискуссии.

Примером одной из таких дискуссий может быть вопрос о переименовании аллеи Петерса и ряда соседних с ней улиц в Берлине в районе Веддинг. В мае 2017 года очередная петиция с требованием о переименовании появилась на сайте общественного движения «Деколонизируй Берлин». Карл Петерс, ключевая фигура в создании германской колонии Восточная Африка, даже по меркам конца XIX века был фигурой довольно одиозной. Заслужив прозвище «Петерс-вешатель», он, в конечном счете, был отозван из Африки, став неприемлемой фигурой для самих имперских администраторов. Петиция 2017 года – далеко не первая, и вообще-то формально аллея Петерса была переименована по требованию граждан еще в 1986 году, но тогда городские власти схитрили: было решено просто перепосвятить аллею другому Петерсу – политику и юристу Гансу Петерсу, помогавшему во времена Третьего

рейха преследуемым евреям. Однако в контексте соседних улиц, образующих так называемый Африканский квартал, название аллеи Петерса по-прежнему вызывает ассоциации отнюдь не с деятелем антинацистского сопротивления: аллея Петерса пересекает площадь, носящую имя этнографа и колониального администратора Густава Нахтигаль³, а также улицу имени бывшей германской колонии Того, и заканчивается на пересечении с Виндхукской улицей, носящей имя административного центра бывшей германской Юго-Западной Африки. Кроме аллеи Петерса и площади Нахтигаль активисты требуют переименования также и улицы Людерица в том же квартале – немецкий предприниматель Адольф Людериц, как теперь считается, обманом приобрел в 1883 г. у предводителя народа нама землю, ставшую основой германских владений в Юго-Западной Африке. Хотя улицы до сих пор не переименованы, сторонниками деколонизации Берлина удалось добиться установки в «Африканском квартале» информационных стендов, посвященных его спорной истории.

Исследованию колониальных следов в современной топографии Берлина был посвящен реализованный еще в начале 2000-х годов проект «Колониальная метрополия Берлин» под руководством Ульриха ван дер Хайдена и Иоахима Целлера, в котором

³ В предисловии к частичному русскому переводу книги Г. Нахтигаль «Сахара и Судан» Л.Е. Куббель старается развести «достаточно объективные», по его мнению, научные наблюдения немецкого путешественника, заслуживающие внимания современного читателя, интересующегося Африкой, и деятельность Нахтигаль как колониального администратора. Упоминая о том, что главной задачей Берлинского африканского общества, председателем которого был избран Нахтигаль, была, «если так можно выразиться, научная подготовка будущей германской колониальной экспансии», советский африканист считает возможным позитивно отзываться о «целеустремленности, наблюдательности и упорстве» немецкого коллеги. Советские переводы трудов колониальных деятелей XIX – начала XX века, выходившие часто не одним изданием как увлекательная научно-популярная и приключенческая литература, а также комментарии к таким текстам, обычно весьма небольшие, заслуживают отдельного исследования как элемент советской рецепции колониальной культуры, которая не была единообразной и менялась со временем. См.: *Нахтигаль Г. Сахара и Судан: Результаты шестилетнего путешествия по Африке* / сокр. пер. с нем. Г.А. Матвеевой; отв. ред. Л.Е. Куббель. М.: Наука, 1987. 312 с.

участвовало более тридцати исследователей. Опубликованный ими в 2002 году коллективный труд⁴ включает в себя восемь разделов, содержание которых интересно уже тем, что позволяет задуматься, как могла бы выглядеть подобная книга о Петербурге, Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Архангельске и многих других городах России.

В первом из разделов книги речь идет о располагавшихся в Берлине учреждениях, участвовавших в управлении германскими колониальными владениями, а также о местах, где принимались ключевые для колониальной истории решения: отдельные главы посвящены Берлинской конференции 1884–1885 годов, Колониальному отделу Министерства иностранных дел, Колониальному совету, Штабу охранных войск, а также проектам учреждения в Берлине колониального суда. Конечно, здания, где располагались подобные учреждения и где принимались колониально-политические решения, можно найти и в российских городах, начиная со здания Генерального штаба и Министерства иностранных дел в Петербурге на Дворцовой площади, которое, может быть, слишком беспроблемно было частично превращено в филиал Государственного Эрмитажа, при этом некоторые помещения стали музеем позитивно воспринимаемой имперской культуры, а другие – просто «белым кубом», нейтральным выставочным пространством, лишенным специфической истории. Аналогично, как место имперской славы, воспринимается здание Сената, куда в новейшее время переехал Конституционный суд Российской Федерации, и где в свое время как в апелляционной инстанции рассматривалось Мултанское дело⁵. Соотнесение конкретных событий колониальной истории с местами, с ними связанными, возможно, не откроет ничего нового для профессионального исторического знания, но, как подчеркивает германский исследователь российской истории Карл Шлегель⁶, представление истории в про-

⁴ Kolonialmetropole Berlin: Eine Spurensuche / Hgg. U. van der Heyden, J. Zeller. Berlin: Berlin Edition, 2002.

⁵ См., например: Джераси Р. Окно на Восток: Империя, ориентализм, нация и религия в России. М.: НЛО, 2013. С. 243–274.

⁶ Schlögel K. Im Raume lesen wir die Zeit. Berlin: Fischer, 2006; Sankt Petersburg: Schauplätze einer Stadtgeschichte / Hgg. K. Schlögel, F.B. Schenk, M. Ackeret. Frankfurt am Main: Campus, 2007.

странственных образах не менее важно, чем ее нарративное изложение, оно позволяет представить прошлое не как нечто далекое, а как происходившее прямо здесь, что как раз важно для опыта памяти – ощущения непосредственной, личной связи с некогда происходившим. И хотя места памяти не могут заменить собой подлинную память о прошлом, работа с ними, как на это указывал еще П. Нора, может способствовать созданию такого знания о прошлом, которое будет функционировать подобно прежнему мемориальному опыту. Одним из упреков в адрес «историзированного» отношения к прошлому было то, что оно неизбежно вводит разделения того, что изначально было целым, и, по мнению Шлегеля, как раз исследования городского пространства позволяют многие разделения преодолеть⁷.

Другой раздел книги «Колониальная метрополия Берлин» посвящен местам, связанным с лоббистами колониальных проектов: Германскому колониальному обществу и принадлежавшему ему «Африканскому дому», благополучно пережившему войну со всем специфическим декором фасада; Женскому союзу при Германском колониальном обществе; Германскому женскому союзу по уходу за больными в колониях, Берлинскому миссионерскому обществу; Рейхстагу как месту дебатов о «распространении культуры среди негров» и о предотвращении расового смешения в колониях. Третий, сравнительно небольшой, раздел книги посвящен колониальной экономике Берлина – магазинам колониальных товаров и использованию колониальных образов в рекламе. Тема эта, впрочем, могла бы быть разработана гораздо более обстоятельно, если использовать, например, опыт написания двойной европейско/центрально-американской истории сахара Сидни Минцем – историю того, как производство сахара в колониях меняло повседневную жизнь европейцев, и как все возрастающая потребность европейцев в сахаре сказывалась на жизни в колониях. Четвертый

⁷ «Эта книга сводит воедино то, что историография с присущим ей профессиональным разделением труда обычно разрывает: история дипломатии знать не желает об истории литературы, история разведки не имеет ничего общего с культурой, исследователи Коминтерна мало что знают об истории эмиграции и т.д.». – *Шлегель К.* История как топография // *Шлегель К.* Берлин, Восточный вокзал. Русская эмиграция в Германии между двумя войнами (1918–1945). М.: НЛЮ, 2004. С. 18.

раздел книги посвящен колониальным наукам и **их** представителям, связанным с Берлином: Густаву Нахтигалю как исследователю Африки и колониальному администратору; Роберту Коху как исследователю тропических болезней; Центру исследований по ботанике для германских колоний и издававшимся им Ботаническим справочникам; Семинару по изучению восточных языков в Берлинском университете и отдельно Карлу Готтхильфу Бюттнеру как лингвисту, миссионеру и колониальному политику; Географическому институту Берлинского университета и расовой биологии Ойгена Фишера. Пятый раздел книги посвящен «инсценировкам» колониального опыта в Берлине: Колониальной выставке 1896 года в Трептов-парке, более известному в России благодаря расположенному там теперь советскому военному мемориалу; Трансваальской выставке 1897 года; Германскому колониальному музею; демонстрации представителей диких народов; Берлинской колониальной панораме.

Остановлюсь здесь подробнее на очерке, посвященном Колониальной выставке 1896 года и Трансваальской выставке 1897 года, поскольку его удобно сопоставить с аналогичной статьей о Колониальной выставке 1932 года Ш.-Р. Ажерона в «Местах памяти» П. Нора. Автор этого очерка – сам Ульрих ван дер Хайден, один из руководителей берлинского проекта. Его текст начинается с амбивалентного описания того, как воспринимались эти выставки в Берлине: в нем соединяется аналитический взгляд исследователя с псевдо-мемориальным и ностальгическим погружением в атмосферу эпохи, граничащим с любованием этим имперским прошлым. Почти в журналистской стилистике ван дер Хайден пишет о том, что в 1890-е годы жители и гости Берлина (двойное обращение, в котором характерно для эпохи массового туризма выделяются приезжие, и они стандартно для туриндустрии именуется «гостями») «совершенно неожиданно могли дважды столкнуться лицом к лицу с относительно большим числом африканцев»⁸ (таким образом, первая фраза, как полагается в журналистском материале, создает интригу посредством удивления, в котором смешивается экзотическая загадочность с ощущением угрозы – «неожиданно для себя столкнуться с большим числом африканцев», да к тому же дважды) Далее автор еще более усиливает ощущение

⁸ Heyden U. van der. Die Kolonial- und die Transvaal-Ausstellung 1896/97 // Kolonialmetropole Berlin... S. 135.

странности произошедшего, поясняя, что для жителей Берлина того времени встреча с африканцами была более странной, чем она была бы для современного жителя: ведь в те времена только немцы, путешествовавшие в заморские владения, имели возможность видеть «цветных» (ван дер Хайден использует завыченным это слово, которое, таким образом, оказывается элементом ретрошика), теперь же эти люди должны были прямо в столице империи демонстрировать свою внешность и свои стереотипизированные этнические культуры, которые являли собой контраст по сравнению с «немецкой цивилизацией». Так автор плавно переходит от погружения в удивительную и увлекательную атмосферу того времени, когда на выставке показывали живых африканцев, к более аналитическому и критическому языку, в котором проблематизируются сразу и спектакуляризация Другого в визуальной культуре конца XIX в., и стереотипизация иных культур в широко востребованном этнографическом знании той эпохи, во многом до сих пор определяющем представления о других народах. Автор также маркирует посещение выставок с самого начала как «колониальную встречу», таким образом, обозначая происходящее в Берлине именно как часть колониальной истории, а не просто как полезное и познавательное знакомство с иными культурами, которое можно было бы отделить от колониальной политики.

Схоже начинает свой текст в 1984 году Ажерон: он тоже с самого начала играет с устаревшим некорректным языком, когда пишет: «Вот уже двадцать лет, как Белый человек сложил с себя всему миру то “колониальное бремя”, о котором говорил Киплинг»⁹. Слова «Белый человек», написанные с большой буквы в отличие от «колониального бремени», в тексте никак не завычены. Далее Ажерон отмечает, что сегодня желающие прославлять Республику уже не вспоминают о том, что еще недавно было одним из главных предметов гордости, а именно – о ее цивилизующей миссии по всему миру. Тем не менее, продолжает он, какой школьник, учившийся некоторое время назад, не вспоминает о том, что было написано в его учебниках: что достижением Третьей республики было превращение Франции во вторую по значимости в мире колониальную державу, что колонизация была высшим достижением и венцом

⁹ *Ageron Ch.-R. Op. cit. P. 493.*

Республики. Здесь, как и у ван дер Хайдена, можно увидеть обращение к личному опыту людей, только к гораздо более непосредственному: если немецкий исследователь обращается к фантазии своих читателей, которым нужно представить себя в 1890-е годы, то для французского историка колониальный опыт ощущается как гораздо более близкий, связанный с воспоминаниями о школьном детстве. Таким образом, здесь снова колониальное прошлое оказывается воспринимаемым амбивалентно – и как то, что оказалось уже политически неприемлемо после деколонизации, и как то, что, тем не менее, сохраняет еще для многих тепло живой связи с прошлым (ключевое свойство памяти для Нора). При этом Ажерон в гораздо меньшей степени склонен аналитически препарировать этот еще живой опыт людей: в своей статье он рассказывает об истории создания Колониальной выставки, которая изначально планировалась еще до Первой мировой войны; о том, что сроки ее проведения многократно переносились, и из международной она превращалась в преимущественно французскую; о стремлении устроителей выставки совместить имперские и республиканские идеи. Ажерон также довольно много пишет о полемике вокруг выставки, о связанных с ней антиколониальных акциях протеста, о том, что для многих французов она стала наглядным воплощением колониальных владений их страны, определявшим их политический опыт в последующие годы, но все описываемые им мнения о выставке на равных участвуют в историческом процессе формирования памяти о ней и выставки как места памяти. Заканчивает свой текст Ажерон, довольно неожиданно переходя к событиям 1946 года, к расширению гражданских прав жителей колоний, что описывается как республиканская «щедрость»¹⁰.

Вероятно, многие особенности текста Ажерона можно объяснить тем, что во Франции в 1980-е годы еще были весьма влиятельны землячества бывших колоний. Видимо, поэтому во французских «Местах памяти» оценки колониального прошлого очень сглажены: носители колониальной памяти, причем памяти колонизаторов, еще слишком присутствуют в настоящем, чтобы быть, как в немецком проекте, представленными в качестве странно-чуждых. Французский проект «Мест памяти», по мысли Нора, как раз и должен был обратиться к не совсем еще утраченным мемо-

¹⁰ Ibid. P. 515.

риальным связям, образующим национальную и республиканскую идентичность. Немецкий проект в этом плане отличался: ван дер Хейден и его коллеги могли писать свои очерки гораздо более свободно, поскольку в Германии землячества, связанные с африканскими колониями, даже в 1920-е годы не были многочисленными, а к началу XXI века уже и вовсе не имеют никакого существенного политического значения, в отличие от объединений немцев, изгнанных из Восточной Европы после Второй мировой войны. Хотя, как уже отмечалось, переименование улиц «Африканского квартала» все еще встречает административное сопротивление, оно связано с иными причинами, нежели чья-то личная привязанность к Того или искренняя признательность Петерсу и Нахтигалю. Ван дер Хейден может делать колониальный опыт объектом аналитического препарирования, применения к нему различных современных теорий как раз потому, что в Германии это уже не задает никого из живых действующих лиц колониального прошлого. Амбивалентность текста немецкого автора в этом плане имеет иное значение, чем во французском проекте, — это игра с непристойным прошлым, которая несет в себе серьезное содержание в силу исторических связей колониального опыта и важной для Германии проблематики Холокоста, но игра, которая, тем не менее, возможна в рамках «публичной истории», адресованной широкому кругу читателей, и потому использующая журналистские приемы, в том числе завлекательность непристойных образов прошлого (как и французские «Места памяти», «Колониальная метрополия Берлин» богато иллюстрирована, но используются в основном не современные, а старые фотографии, опять же создающие ауру ретро-шика). Это связано с тем, что, несмотря на все попытки представить геноцид хереро и нама как предысторию Холокоста, эти события не имеют в германской памяти и политической культуре того же возвышенного и бесспорного значения. Совсем недавно, 17 июля 2017 года германский Бундестаг в очередной раз принял решение отложить вопрос об исторической вине и примирении до времени после назначенных на осень этого года выборов¹¹. Такие особенности написания истории колониальных

¹¹ Völkermord: Versöhnung erst nach der Wahl // Heute. URL: <http://www.heute.de/versoenuung-mit-herero-und-nama-bleibt-in-dieser-legislaturperiode-ungesuehnt-47594788.html> (дата обращения: 17.07.2017).

мест памяти в Германии и во Франции указывают на то, что, если планировать аналогичный российский проект, то нельзя будет просто перенести готовые методы исследования историографического острашения колониального прошлого. Необходимо будет наряду с исследованием конкретных мест колониальной памяти продумывать и специфические для российской ситуации способы говорения о них.

Еще один немецкий проект, о котором здесь также хотелось бы коротко сказать – это большой коллективный труд под редакцией профессора Гамбургского университета Юргена Циммерера «Без места под солнцем: Места памяти немецкой колониальной истории», изданный в 2013 году¹². В работе над этим проектом участвовали как довольно знаменитые историки и этнографы (в их числе можно назвать Карла-Хайнца Коля, Хильке Тодде-Ароры, Винфрида Шпайткампа и других), так и ряд менее известных: Марианна Беххаус-Герст, Франк Бекер, Торальф Кляйн и другие. Организована книга во многом схоже с «Колониальной метрополией Берлин», хотя некоторые акценты расставлены иначе: сначала в ней рассматриваются «воображаемые миры», связанные с такими понятиями, как «Южные моря», «Девственные леса», «Юго-Запад», «Килиманджаро», «Эшнапурский тигр» и др.; только на втором месте помещены разделы, связанные с колониальной политикой: о Берлинской конференции по разделу Африки в 1884-1885 гг., о «Депеше Крюгеру» (1896 г.), о «Гуннской речи» кайзера в 1900 г., о «Готтентотских выборах» 1907 г, Багдадской железной дороге и пр. Третий раздел посвящен институциям, таким как Музей народоведения, Зоопарки и этнические шоу Карла Хагенбека, гамбургский Колониальный институт, а также людям как институциям – миссионеру и аскари. Еще два раздела посвящены действующим лицам колониальной истории и памятникам: Генриху Карлу фон Шиммельману, Гете и его «Западно-восточному дивану», сочинениям Александра фон Гумбольдта, Эмину-паше, Фриде фон Бюлов, Лео Фробениусу; «Виндхукскому всаднику», намибийским черепам в антропологических собраниях колониального времени (что довольно странно выглядит в разделе «Памятники»), Ватербергу и пр.

¹² Kein Platz an der Sonne: Erinnerungsorte der deutschen Kolonialgeschichte / Hg. J. Zimmerer. Frankfurt am Main, N.Y.: Campus Verlag: 2013.

Многое из этого перечня могло бы найти соответствия в российских исторических реалиях, о которых, однако, у нас до сих пор не принято говорить. Намибийские черепа в германских коллекциях имеют свои аналоги в России¹³. Многие персоналии, в частности в российской географической науке или в этнографии, могут быть описаны так же, как деятельность Г. Нахтигала или Л. Фробениуса в немецких проектах. Примером тут может быть описание экспедиций Н.М. Пржевальского и их связи с колониальной политикой в книге Д. Схиммельпеннинка ван дер Ойе «Навстречу восходящему солнцу»¹⁴. Памятник Пржевальскому напротив Адмиралтейства в Петербурге вполне может быть отнесен к категории «колониальных памятников», которые нуждаются в проблематизации.

Приведу в заключение еще два примера, связанные как раз с памятниками – одним британским и одним российским. В 2016 году до британского Оксфорда докатилась волна кампании «Родс должен пасть», начавшейся в Южной Африке и направленной на демонтаж памятников этому известному колониальному деятелю, предпринимателю и политику, но также и благотворителю: именно поэтому его статуя украшает сегодня здание одного из колледжей в Оксфорде, и студенты этого университета до сих пор получают стипендию имени Родса. Оговорюсь, что снос памятников, по моему мнению, – не лучший способ работы со сложным прошлым, тем не менее, важно, что статуя Родса перестала в определенный момент восприниматься как беспроблемная, она стала причиной широких общественных дискуссий. В какой-то мере как аналог оксфордской статуи Родса, пожалуй, может быть рассмотрен бюст генерала А.Л. Шанявского,

¹³ В одном из примечаний к первому очерку своей книги «Советский кишлак», говоря о покорении русской армией Туркестана в 1870-е гг. и, в частности, действиях полковника П.А. Пичугина, С. Абашин пишет: «Петр Аристархович Пичугин был участником многих военных операций в Средней Азии в 1860–1870-е годы. Любопытная деталь – двоюродная сестра Пичугина была замужем за известным антропологом А.П. Богдановым, для которого полковник «поставлял» черепа на изучение (см.: С.М.С. «Отрывать же головы... решительно не имели времени» // Природа. 2004. № 5. С. 66)». *Абашин С.* Советский кишлак: Между колониализмом и модернизацией. М.: НЛЮ, 2015. С. 64, прим. 18.

¹⁴ *Схиммельпенник вад дер Ойе Д.* Навстречу восходящему солнцу: Как имперское мифотворчество привело Россию к войне с Японией. М.: НЛЮ, 2009.

установленный в начале 1990-х годов в старой части комплекса зданий РГГУ на Миусской площади в Москве – в бывшем Народном университете, основанном на средства генерала. Подобно Родсу, Шанявский, долгое время служивший военным администратором на Дальнем Востоке при Н.Н. Муравьеве-Амурском и М.С. Корсакове, сделал свое состояние как золотопромышленник, используя природные и человеческие ресурсы недавно присоединенных к России территорий. Впоследствии жене Шанявского, чей отец также был военным, организовавшим на Дальнем Востоке добычу золота, даже пришлось написать специальный текст, объясняющий происхождение тех огромных денег, которые позднее тратились на благотворительность, – текст, впрочем, в действительности мало что объясняющий¹⁵. Изданный в 2004 году в РГГУ сборник документов, относящихся к основанию Народного университета, намеренно оставляет за скобками дальневосточный период жизни четы Шанявских. О нем говорится лишь в примечаниях и комментариях, при этом выделяются лишь отдельные черты, воспринимаемые составителями как позитивные и связанные, например, с заботой Шанявского о просвещении инородцев¹⁶. Между тем, было бы важно сделать и РГГУ местом российской колониальной памяти, что вовсе не означает необходимости демонтировать бюст или рассматривать фигуру основателя университета в преимущественно негативном ключе: гораздо интересней понять, как у таких людей, как Шанявский или Н.Н. Миклухо-Маклай (разрабатывавший планы создания российской колонии в Новой Гвинее, которая была бы и более свободным сообществом, чем те, что возможны в России, и одновременно находилась бы под покровительством русского царя¹⁷), демократические и просвещенче-

¹⁵ Шанявская Л.А. <Без названия> (Биография А.Л. Шанявского) // <http://www.istina.religare.ru/print292.html> (дата обращения: 7.08.2017.)

¹⁶ ...Начинание на благо и возрождение России. Создание Университета имени А.Л. Шанявского: Сборник документов / под ред. Н.И. Басовской и А.Д. Степанского; сост.: И.И. Глебова, А.В. Крушельницкий, А.Д. Степанский. М.: РГГУ, 2004. С. 343.

¹⁷ См.: Неизвестный Миклухо-Маклай: Переписка путешественника с царствующим Домом Романовых, Министерством иностранных дел, Морским министерством и Императорским Русским Географическим обществом / сост. О.В. Каримов. М.: Кучково поле, 2014. 480 с. *Тумар-*

ские идеи удивительным образом переплетались с колониальными способами мышления, и это приводило их к соучастию в проектах, которые сегодня не выглядят безупречными.

В этой статье я попытался наметить лишь некоторые черты возможного российского проекта изучения колониальных мест памяти, примером для которого отчасти могли бы быть аналогичные немецкие работы. Конечно, исследование этой проблематики несет в себе угрозу пробуждения старых конфликтов и связанных с ними исторических обид, выдвижения взаимных претензий, культивирования разного рода новых национализмов. Однако представляется, что историография не должна оставлять обсуждение этих тем лишь политическим активистам, и здесь важно как раз использование уже имеющегося опыта взаимодействия исторической памяти и профессиональной историографии¹⁸.

кин Д.Д. Белый папуас: Н.Н. Миклухо-Маклай на фоне эпохи. М.: Восточная литература, 2011. 624 с.

¹⁸ См. об этом: Ретина Л.П. Историческая память и национальная идентичность: подходы и методы исследования // Диалог со временем. 2016. № 54. С. 9-15.; Ретина Л.П., Леонтьева О.Б. Образы прошлого, мемориальная парадигма и «историография памяти» в современной России // Электронный научно-образовательный журнал История. 2015. № 9 (42). С. 5; Воробьева О.В. Историческая память и профессиональная историография // Преподаватель XXI век. 2015. Т. 2. № 4. С. 240-250.

Е.Ю. Ванина

**ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ ПОБЕЖДЕННЫХ:
РАЗРУШЕНИЕ И ВОССОЗДАНИЕ
(КОЛОНИАЛЬНАЯ ИНДИЯ)**

Среди вопросов, привлекающих внимание Лорины Петровны Репиной, особое место занимает историческая память. Этой проблематике посвящен целый ряд статей и изданных под ее редакцией научных сборников. Собственные работы Лорины Петровны¹ – это, как правило, теоретически-обобщающие статьи, в которых критически анализируется современная (отечественная и западная) историография на тему исторической памяти. Все эти работы отличает огромная эрудиция, объективность и высокая историческая культура автора, позволяющая беспристрастно и уважительно анализировать подходы различных исследователей; не растворяясь в чужих мнениях, Лорина Петровна всегда позволяет читателям услышать собственную позицию, которая, как правило, выделяет самое разумное и состоятельное в каждой из дискутирующих сторон. Будучи по научной специализации «западником», изучающим проблемы историописания на европейском материале, она, что крайне ценно, не пытается представить западные концепции (как историографии, так и самой истории) в качестве единственной для всех регионов мира модели, все отклонения от которой рассматривались бы как «отсталость» или «незрелость». Именно это делает работы Лорины Петровны столь важными и актуальными для востоковедов, в том числе индологов, изучающих страну с «больной»,

¹ *Репина Л.П.* Культурная память и проблемы историописания (историографические заметки). М.: ГУ ВШЭ, 2003. С. 3-43; *Репина Л.П.* Историческая память и современная историография // Новая и новейшая история. 2004. № 5. С. 33-45; *Репина Л.П.* Память и историописание // История и память. Историческая культура Европы до начала Нового времени. М.: Кругъ, 2006. С. 19-46; *Репина Л.П.* Память о прошлом и история // Диалоги со временем. Память о прошлом в контексте истории / под ред. Л.П. Репиной. М.: Кругъ, 2008. С. 7-18; *Репина Л.П.* Вместо предисловия. Представления о прошлом и связь времен в историческом сознании // Образы времени и исторические представления. Россия – Восток – Запад / под ред. Л.П. Репиной. М.: Кругъ, 2010. С. 9-24.

«травмированной» исторической памятью народа, почти двести лет находившегося под колониальной властью чужеземцев.

Индийские подданные Британской империи обязаны были благодарить «белых сахибов» за множество самых разных «благодетей» (их список ученики заучивали в школе): «прогресс», включавший железные дороги, пароходы, телеграф и т.д., «закон и порядок», европейское образование для элиты и многое другое. Важное место в этом списке занимала история, которая, с точки зрения англичан, у «туземцев» отсутствовала в обоих значениях: как нарратив о событиях прошлого и как сами эти события. По выражению известного британского санскритолога, «Индия раннего периода не писала истории, потому что никогда не творила ее»². Такое представление оставалось доминирующим в европейской историографии на протяжении большей части колониального периода и внедрялось в сознание высших и средних классов туземного населения с помощью таких мощных средств воздействия, как образование (от начальной школы до университета) и пресса на английском и местных языках. Образованный индеец обязан был выучить эту концепцию как таблицу умножения и принимать ее как должное, «забывая» не только традиционное, унаследованное от предыдущих поколений отношение к событиям и персонажам прошлого, но и, в значительной степени, историю своей страны как таковую. Ему надлежало знать и верить, что на протяжении столетий его соотечественники страдали от исторической амнезии, единственным лекарством от которой были английские учебники и труды европейских ориенталистов, которые знали об Индии больше, чем ее жители.

Публикация в 1978 г. знаменитой книги Эдварда Саида погрузила академическое сообщество в нескончаемые дебаты об ориентализме и наследии колониального востоковедения. Активно участвовавшие в этих дискуссиях индологи³ убедительно показа-

² Macdonnell Arthur Anthony. A History of Sanskrit Literature. N.Y.: D. Appleton and Company, 1900. P. 11.

³ Упомяну лишь несколько: Inden Ronald. Imagining India. Oxford – Cambridge MA: Basil Blackwell, 1990; Breckenridge Carol A. and van der Veer Peter (ed.). Orientalism and the Postcolonial Predicament. Perspectives on South Asia. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1993; Cohn Bernard S. Colonialism and Its Form of Knowledge: the British in India. Princeton: Princeton University Press, 1996; Clarke J.J. Oriental Enlightenment. The Encounter Between Asia and Western Thought. London – New

ли, что ориенталисты не просто изучали, но изобретали и конструировали «Восток» (в данном случае – Индию) в соответствии, во-первых, с запросами западного общества в самоутверждении по контрасту с негативным «другим» и, во-вторых, с потребностями колониальной администрации, видевшей свою цель и миссию в управлении Индией и «улучшении» ее по западным лекалам. Это, разумеется, ни в коем случае не преуменьшает заслуг европейских ученых-ориенталистов, их бесценного вклада в изучение истории, культуры, языков и литератур Индии и других азиатских обществ.

Ориенталисты сообщили подвластным «туземцам» много интересного: что индийское общество не менялось на протяжении столетий, и потому «Законы Ману» (первые века н.э.) могли использоваться в колониальном законодательстве XIX в.; что Индия получила архитектуру, театр, науку и литературу с Запада, что похищение героини в эпосе «Рамаяна» указывает на заимствование сюжета из «Илиады» (как будто без греков индийцы сами не могли додуматься о похищении красавицы и борьбе за нее)⁴, а также что индийцы никогда не размышляли о своем прошлом и не фиксировали свои представления о нем. Последнее не означало, что в доколониальный период в Индии вообще ничего не происходило. Просто, по мнению европейских индологов, жители Индии, погруженные в «трансцендентальное», были равнодушны к окружающему миру и собственной истории, «а брахманы, чьей задачей, естественно, могла бы быть фиксация великих деяний, ранее приняли доктрину, согласно которой все деяния и само существование представляют очевидное зло, и поэтому не имели желания записывать исторические события»⁵. Такая интерпретация стала общепринятой и была обречена на исключительное долголетие.

York: Routledge, 1997; *Dirks Nicholas B.* Castes of Mind. Colonialism and the Making of Modern India. Princeton, Princeton University Press, 2001; *Dalmia Vasudha.* Orienting India. European Knowledge Formation in the Eighteenth and Nineteenth Centuries. Delhi: Three Essays, 2003; *Dodson Michael S.* Orientalism, Empire and National Culture: India, 1770–1880. New York: Palgrave MacMillan, 2007.

⁴ *Cohn Bernard S.* Colonialism and Its Form of Knowledge. P. 87; *Keay J.* India Discovered. The History of a Lost Civilization. London: Harper Collins, 2001. P. 42, 175; *Weber A.* The History of Indian Literature. London: Trubner, 1882. P. 194, 207, 300.

⁵ *Macdonnell Arthur Anthony.* A History of Sanskrit Literature. P. 11.

Она диктовала, что если индийцы даже помнили и фиксировали что-то из своего прошлого, то это были всего-навсего «мифы» и «сказки», недостойные доверия и серьезного анализа. Поэтому историю Индии, как полагали ориенталисты, могли создать с нуля европейские ученые и, в лучшем случае, их индийские ученики и ассистенты, вооруженные западной методологией и западным, единственно верным, взглядом на прошлое и настоящее Индии.

Стоит отметить, что подобные концепции возникли в европейской мысли далеко не сразу. Западные путешественники, посещавшие Индию в позднее Средневековье и в начале Нового времени, иногда сообщали своим читателям о тех или иных событиях истории страны – разумеется, речь шла о делах недалекого прошлого, которым тот или иной европеец был свидетелем сам или о котором слышал. Фигурировали в записках путешественников и индийские «легенды» о царях и героях более отдаленных эпох: европейцы относились к ним скептически, главным образом потому, что эти нарративы расходились с библейской историей и хронологией. Считалось, что индийцы в древние времена были христианами, а потом «деградировали» до язычества⁶. Вместе с тем на ранних этапах индо-европейских контактов никто на Западе не утверждал, что индийцы не имеют истории. Путешественники неоднократно утверждали, словами англичанина конца XVI в., что индийцы «пишут множество остроумных поэм, сочиняют истории и анналы своей страны»⁷.

Амнезия и деградация

Вторая половина XVIII в. стала временем первых попыток европейских исследователей, в основном чиновников утверждавшейся у власти колониальной администрации, изучить историю Индии. У многих из них практические задачи более эффективного управления подвластными народами сочетались с подлинным любопытством, желанием открыть новую цивилизацию для себя и европейского читателя. При этом важно подчеркнуть, что для ранних ориенталистов наличие у Индии устной и письменной истории

⁶ *Subrahmanyam Sanjay*. Mughals and Franks. Explorations in a Connected History. Delhi: Oxford University Press, 2005. P. 164-165.

⁷ *Foster William*. Early Travels in India (1583-1619). Oxford: Humphrey Milford; Oxford University Press, 1921. P. 309-310.

было неоспоримым фактом. Так, Дж.З. Холуэлл в своем трактате «Интересные исторические события, относящиеся к Бенгалии и империи Индостана» (1765) заявлял, что изучал индийские тексты, содержавшие «истории их собственных раджей и принцев, часто облаченные в аллегории и сказки»⁸; при этом он был настолько объективен, чтобы заявить в этом же абзаце, что античные сочинения об Индии были столь же недостоверны. А. Доу, автор популярной на Западе и в России «Истории Индостана» (1768), утверждал, что «мы не должны... считать индусов лишенными подлинных собственных анналов или полагать, что многотомные записи, которыми они обладают, являются всего лишь легендами, оформленными брахманами»⁹. Представляя читателям эпос «Махабхарата», он подчеркивал, что «это поэма, а не история..., но существуют сотни томов в прозе на санскрите, в которых говорится об индийской древности..., и есть основания утверждать, что индусы прослеживают свою подлинную историю гораздо дальше в глубь веков, чем любая из ныне существующих наций»¹⁰. В этот ранний период, по заключению современного исследователя, «отсутствие в Индии истории и исторического чувства еще не стало колониальной догмой»¹¹. Впоследствии, однако, концепция «антиисторичности» индийского сознания стала доминирующей не только в европейском дискурсе, но и в представлениях индийской элиты о собственном народе. Единственное, что надлежало индийцам помнить о своем историческом прошлом, состояло в том, что они о нем ничего не помнят, а если и помнят, то лишь «мифы».

В британском общественном мнении со второй половины XVIII в. существовали два основных дискурса относительно Ин-

⁸ *Holwell J.Z.* Interesting Historical Events, Relative to the Provinces of Bengal, and the Empire of Indostan, vol. I. London: Printed for T. Becket and P.A. De Hondt, 1765. P. 12.

⁹ *Dow Alexander.* The History of Hindostan; from the earliest account of time, to the death of Akbar; tr. from the Persian of Mahummud Casim Ferishta of Delhi; together with a dissertation concerning the religion and philosophy of the Brahmins; with an appendix, containing the history of the Mogul empire, from its decline in the reign of Mahummud Shaw, to the present times by Alexander Dow. London: Printed for T. Becket, and P.A. De Hondt, vol. I, 1768. P. 1-2.

¹⁰ *Ibid.* P. vi.

¹¹ *Dirks Nicholas B.* Castes of Mind. P. 303.

дии. Ориенталисты-индофилы, среди которых были уже упомянутые Холуэлл и Доу, а также основатель Королевского азиатского общества, калькуттский судья и блистательный лингвист сэр Уильям Джонс (1746 – 1794), восхваляли подвластную страну как великую и древнюю цивилизацию, немногим уступавшую греко-римской Античности, которая для европейца той эпохи была социально-политическим, культурным, эстетическим и нравственным идеалом. Они призывали колониальные власти бережно и уважительно относиться к наследию покоренного народа, опираться в своей деятельности по «улучшению» Индии на традиционные институты. Труды ориенталистов-индофилов вдохновляли Вольтера, Шлегеля, Фихте, Гете, Шопенгауэра, Шелли, Карамзина и многих других великих европейцев. Их оппоненты, утилитаристы-индофобы, манифестом которых стала «История Британской Индии» Джеймса Милля (1817), видели в местной культуре лишь «языческое варварство», отрицали какие-либо ее достижения и требовали поголовного обращения индийцев и прочих жителей субконтинента в христианство – только так, полагали они, можно было спасти туземцев от «дикости и морального падения»¹².

Полемика индофилов и индофобов, обмен критическими стрелами между ними – важная страница в истории колониальной идеологии. На первый взгляд, разногласия были непримиримыми. Индофилы с восторгом изучали санскрит и шедевры древнеиндийской литературы, которые переводили на европейские языки; им Индия обязана первыми археологическими и палеографическими исследованиями. Их идеалом была индийская древность, в которой они видели параллель греко-римской Античности. Индофобы считали индийцев «дикарями», лишенными культуры, морали – и истории как таковой¹³. Однако у идейных противников была точка соприкосновения. В своем знаменитом «Рассуждении», восхвалявшем культуру и моральную высоту древней Индии, Джонс утверждал: «Какими бы деградировавшими и опустившимися индийцы ни выглядели в наше время, мы не можем сомневаться, что в некие древние времена они были великолепны в искусствах и

¹² Ванина Е.Ю. Индия: история в истории. М.: Наука – Восточная литература, 2014. С. 59-89.

¹³ Mill James. History of British India. Vol. I. Delhi: Associated Publishing House, 1972. P. 28-29, 482.

оружии, счастливы в управлении и мудры в законодательстве»¹⁴. Его непримиримый оппонент Чарлз Грант (1746–1823), офицер британской армии и автор популярнейшей книги «Наблюдения над общественным положением азиатских подданных Великобритании, особенно в отношении морали и средств ее исправления», настаивал на том, что индийцы – «раса людей, прискорбно деградировавшая и подлая, сохраняющая минимальное чувство морального долга и при этом упорная в пренебрежении к тому, что они сами считают правильным»¹⁵. Величие индийской цивилизации, которое воспевали индофилы и отрицали индофобы, относилось к «неким древним временам», за которыми – и тут была точка согласия – следовала деградация, слово, употребленное обоими участниками дискуссии для описания индийского общества после древности.

Почему концепцию «деградировавшей Индии» поддерживали индофилы? Во-первых, в Европе XVIII – начала XIX в. широко распространенным было представление о том, что на смену блистательной Античности пришло мрачное Средневековье – эпоха невежества, фанатизма и жестокости. Вполне естественно, что, оценивая индийское общество и его историю по европейским стандартам, ориенталисты относились к индийскому Средневековью точно так же, как к европейскому. Если у Индии была своя великолепная Античность, ее неизбежно должно было сменить «мрачное Средневековье». Правда, в Европе XIX в. на смену негативному отношению к Средним векам пришел медиевализм с модой на рыцарские баллады, замки и романы Вальтера Скотта (на Индию такое нововведение распространено не было, об этом ниже). Во-вторых, почти полностью завися от брахманов – «туземных информантов» и переводчиков, европейские ученые усваивали их представления о классической древности и последующей «деградации» индийского общества, когда брахманы, носители священного знания и санскритской учености, были оттеснены от власти феодальной элитой, часто проис-

¹⁴ Jones William. The Works of Sir William Jones. With a Life of the Author, by Lord Teignmouth [John Shore]. Vol. III. London: John Stockdale and John Walker, 1807. P. 32.

¹⁵ Grant Charles. Observations on the State of Society Among the Asiatic Subjects to Great Britain, Particularly with Respect to Morals, and on the Means of Improving it. Written Chiefly in the Year 1792. London: Ordered by the House of Commons, 1813. P. 71.

ходившей из «низкородных» земледельческих и пастушеских каст (уцелевшие римские интеллектуалы так смотрели бы на франкских и готских вождей, ставших королями новой Европы). От них же ориенталисты усваивали и презрение к местным языкам и литературе на них, в том числе и исторической.

«Текстуальный подход» к Востоку, как определял Э. Саид¹⁶, сыграл важную роль в формировании обеих концепций, «деградации» и «антиисторичности». Изучая с помощью брахманов классические санскритские тексты, в которых фигурировали не реалии, а идеалы, европейские индологи не могли не видеть, насколько отличается конструируемое этими текстами общество возвышенных, высоконравственных и благородных царей, мудрецов и принцесс от реальных индийцев – обычных людей со своими противоречиями, пороками и заблуждениями. Все это порождало неколебимое убеждение в том, что единственной историей Индии (после древности или вообще всегда) была история деградации, упадка, которую никто не хотел фиксировать и которую не было смысла изучать. Политика британских колониальных властей все больше была направлена на то, чтобы, по выражению современного исследователя, «помочь индийцам и освободить их от их отталкивающей истории»¹⁷. Чтобы сделать это, нужно было убедить индийцев, что никакой истории у них нет.

Еще одним доводом в пользу «антиисторичности» индийцев была «порочность» индийцев (индофобы считали ее имманентно им присущей, индофилы – плодом деградации). Считать порочным «другого» – обычная мировая практика, хорошо известная и самим индийцам, и их «белым хозяевам». Для «цивилизованных европейцев» все азиаты, африканцы и даже «схизматики»-православные были, несомненно, аморальными, просто потому, что их образ жизни не соответствовал европейским стандартам. Некоторые ранние ориенталисты отмечали у индийцев позитивные качества – гостеприимство, уважение к старшим, терпимость, открытость, супружескую верность, правдивость, – но все это, в

¹⁶ *Said Edward. Orientalism. Western Conceptions of the Orient. London: Penguin, 2003. P. 52.*

¹⁷ *Koditschek Theodore. Liberalism, Imperialism and the Historical Imagination: Nineteenth-Century Visions of a Greater Britain. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. P. 84.*

большинстве случаев, относилось к давно прошедшим временам или рассматривалось как «естественная добродетель благородного дикаря». Как утверждал в одном из писем первый генерал-губернатор Индии (1786–1794), друг и покровитель Джонса лорд Корнуоллис, «я непоколебимо убежден, что каждый житель Индии порочен»¹⁸. «Порочные» люди не могли иметь истории – такой, которая давала «цивилизованным» нациям достойные примеры отваги, благородства, чести, патриотизма и прочих добродетелей, неведомых «дикарям». Гегель, никогда не бывавший в Индии и выбиравший из записок путешественников те факты, которые подтверждали изначально созданные им концепции, прямо связывал «порочность» и «лживость» индийцев с отсутствием у них истории¹⁹.

Со временем британские ориенталисты обнаружили в Индии письменные нарративы, в которых речь шла о событиях прошлого. Это были баллады, средневековые «романы» и поэмы о деяниях реальных, не мифологических, царей и героев. Многие из данных произведений бытовали в устной традиции, их исполняли (и до сих пор делают это²⁰) профессиональные барды и сказители. В них жила историческая память народа. Все это, на взгляд индологов, не было «историей» в том смысле, который считался в Европе XVIII–XIX и даже в начале XX в. единственно правильным. Подлинный исторический текст, согласно этим воззрениям, мог быть только в прозе. Не случайно, характеризуя «Махабхарату», Дуу специально указал, что это произведение было «поэмой, а не историей» и противопоставил ее «сотням томов в прозе», которые, по его мнению, «историей» были. Согласно европейским представлениям, дожившим до сравнительно недавнего времени, поэзия была изначальным жанром, выражавшим «чувства» и «страсти» примитивного человека, в то время как возникновение прозы, фиксировавшей «разум» и «саморефлексию», считалось критерием «цивилизованности», доступной только «передовым нациям»²¹. Поэтому

¹⁸ Цит. по: *Metcalf Thomas R. Ideologies of the Raj // The New Cambridge History of India*. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. P. 24.

¹⁹ Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии истории. СПб.: Наука, 1993. С. 196–200.

²⁰ Карачкова Е.Ю. Диалоги с прошлым: этноистория раджпутского княжества. М.: Совпадение, 2013. С. 45–60.

²¹ *Dodson Michael S. Orientalism, Empire and National Culture*. P. 68.

европейские индологи не могли считать индийские стихотворные нарративы о прошлом историческими – по ироническому замечанию авторов хорошо известного современного труда о средневековых южноиндийских исторических сочинениях, эти тексты, согласно европейской оценке, не являлись историческими потому, что «были недостаточно скучными»²². И в самой Британии средневековые романы, баллады и поэмы о прошлом долго считались «выдумками», а не историей²³. В Европе стало неоспоримой догмой, особенно в результате усилий Леопольда фон Ранке, что исторический текст – это датированный документ или погодная хроника, написанные простым и сухим языком, без романтических деталей и прочих литературных красот; только он может позволить историку выполнить главную задачу – выяснить, «как это было на самом деле».

Некоторые средневековые индийские тексты, с которыми сталкивались ориенталисты, подходили и под европейское понятие исторических. Но это не ставило всю концепцию под вопрос. Даже если это и была история, то, разумеется, «плохая» и такая же «аморальная», как и люди, ее создавшие. Так, для прославленного оксфордского индолога Винсента А. Смита анналы раннесредневековых индийских государств были «шокирующими», и единственная их полезность состояла в том, чтобы «показать читателю, какой всегда была Индия, лишенная контроля верховной власти, и какой она может стать вновь, если ослабеет благотворительная рука, охраняющая ее в наши дни»²⁴.

Когда сэр Генри Майерс Эллиот в 1876 г. начал публикацию многотомной «Истории Индии, рассказанной ее собственными историками. Мусульманский период», он оценил эти тексты, полностью отвечавшие европейским критериям средневековой хроники, как скучные, неинформативные и грубые, не фиксирующие ничего, кроме насилия, братоубийства, интриг, религиозного фа-

²² Rao Narayana Velcheru, Shulman David and Subrahmanyam Sanjay. *Textures of Time. Writing History in South India 1600-1800*. Delhi: Permanent Black, 2001. P. 3.

²³ Alexander Michael. *Medievalism: the Middle Ages in Modern England*. Yale: Yale University Press, 2007. P. 14.

²⁴ Smith Vincent A. *The Early History of India from 600 B.C. to the Muhammaddan Conquest*. Oxford: Clarendon Press, 1914. P. 358.

натизма и моральной деградации. Цель публикации этих хроник (вернее – специально подобранных фрагментов из них) заключалась в том, чтобы «сделать наших туземных подданных более чувствительными к бесконечным преимуществам нашего мягкого и справедливого правления» и показать им, что исторические персонажи, «прославленные ныне только за великолепные достижения и победы, предстанут, если откинуть вуаль лести и риторических украшений, в более правдивом свете, как отбросы человечества»²⁵.

Если же кто-то из английских авторов пытался отнестись к истории Индии по-иному и, главное, принять во внимание историческую память самих туземцев, огонь критики бил на поражение. В 1828–1832 гг. полковник Джеймс Тод опубликовал свою знаменитую книгу «Анналы и древности Раджастхана», где изложил историю княжеств Западной Индии, созданных раджпутами – военно-феодальной элитой региона. В этой книге отважный шотландец осмелился поставить под вопрос само представление об «антиисторичности» индийской культуры, заявив: «Можно ли вообразить, что столь цивилизованная нация, как индусы, среди которых точные науки процветали, а искусства, архитектура, скульптура, поэзия и музыка не только распространялись, но были предметом обучения и регулировались тончайшими и подробнейшими правилами, были незнакомы с простым умением фиксировать события истории, характеры государей и их поступки?»²⁶. Изучив с помощью местных ассистентов письменные анналы и устную историческую традицию, он посмел обрисовать раджпутов как доблестных рыцарей, способных на высокий подвиг ради родины и чести, а их общество – как аналог европейского Средневековья.

Книга вызвала в Англии шквал критики – не столько за фактические ошибки, которых Тод допустил немало, а за сравнение раджпутского общества с европейским феодализмом. Оппоненты обвиняли Тода в том, что он дал себя обмануть «коварным тузем-

²⁵ Elliot Henry Miers. *The History of India as Told by Its Own Historians. The Muhammadan Period*. Edited from the posthumous papers of the late Sir H.M. Elliot, K.C.B., East India Company's Bengal Civil Service, by Professor John Dowson, M.R.A.S., Staff College, Sandhurst. Vol. I. London: Trübner, 1867. P. xxii-xxiii.

²⁶ Tod James. *Annals and Antiquities of Rajast'han of the Central and Western Rajput States of India*. Vol. I. Oxford: Humphrey Milford – Oxford University Press, 1920. P. Ivii.

цам» и принял на веру их «сказки» и «мифы» о героическом прошлом, которого не было и быть не могло. К тому времени медивализм в Европе стал модной тенденцией, но индийцам в праве на него было отказано: если на Западе Средневековье было оценено как важный период общественной эволюции, во многом заложивший основы современной цивилизации, то распространение подобных представлений на индийское прошлое грозило обрушить обе основополагающие концепции колониальной индологии: «деградацию» и «антиисторичность». Последнее было особенно опасно: ведь индийцы могли подумать, что у них есть история, да еще такая, которой надлежит гордиться, значит, они не такие отсталые и аморальные, как им внушали. Книга Тода не была запрещена, но ее издавали с многостраничными комментариями, указывавшими на «ошибки» автора, который долго оставался в истории британской индологии на положении «чужака».

Концепции «антиисторичности» и «деградации» стали основополагающими инструментами формирования исторической памяти индийской элиты британскими колониальными администраторами. Как показала Л.П. Репина, «доминирующие группы имеют возможность определять картину общего исторического прошлого, навязывать собственную его трактовку, устанавливая соответствующую иерархию фактов и критерии их оценки, предписывая запоминание одних событий или лиц и забвение других»²⁷. Можно было бы усомниться в применимости этого вывода для колониальной Индии, где у англичан и индийцев прошлое было не «общим», а «разным». Но на самом деле у индийцев, согласно британским представлениям, не было своего прошлого – по крайней мере, обозримого (восхваляемые ориенталистами поэты и мудрецы жили в той древности, о которой Индия давно забыла, ибо испытала даже более кардинальный разрыв со своей Античностью, чем Европа), такого, которым стоит гордиться. «Общей историей» для сахибов и туземцев была история Англии, которую учили в школах, колледжах и университетах. В рассказе «Старший брат» классика индийской литературы Премчанда (1880–1936) воспроизведен «крик души» индийского школьника, постоянно проваливающего экзамены по истории: «Семь-восемь одних Генрихов! Вместо седьмого

²⁷ Репина Л.П. Память и историописание. С. 28.

написал восьмой – и провалился! А эти дюжины Джеймсов, Уильямов, Чарльзов – голова кружится!»²⁸. При этом, что характерно, индийских правителей в этом скорбном списке нет. Как отмечал в своих заметках о путешествии в Индию (1880) российский индолог И.П. Минаев, в индийских школах и колледжах «история Индии читается вкратце по-английски и даже вовсе не читается в продолжение нескольких лет»²⁹. Историю Британии изучали как историю успеха, историю Индии если и преподавали, то как историю упадка, историю без истории, без героических примеров³⁰. Вся суть этого преподавания индийский поэт Майтхилишаран Гупта сформулировал простой фразой: «Мы были глупы и нецивилизованны»³¹.

Не стоит думать, что в случае с колониальной Индией мы имеем дело с неким «историческим геноцидом», злонамеренным стремлением уничтожить историческую память подвластного народа. Европейцы «воображали» Индию, создавали собственные концепции, в том числе ее прошлого, вооружаясь, по определению Э. Саида, «неуничтожимыми абстрактными максимами относительно изучаемой страны, и редко ориенталистов интересовало что-либо, кроме подтверждения этих туманных “истин” путем применения их, без особого успеха, к непонимающим и потому вырождающимся туземцам»³². В совершенно искреннем стремлении «улучшить» Индию они внедряли эти концепции с помощью прессы и системы образования в сознание элиты, которая должна была усвоить навеки, что у нее нет истории, что хранимая народом память о прошлом – «выдумки» и «мифы», а исторические деятели – «отбросы человечества».

«Открытие» истории

В результате колониальная Индия была обществом с двумя, почти не пересекавшимися потоками исторической памяти. Один представлял элиту, получившую английское образование (без это-

²⁸ *Munshi Premchand. Pratinidhi kahāniyā. Delhi: Rajkamal Prakashan, 2007. P. 17.*

²⁹ *Минаев И.П. Дневники путешествий в Индию и Бирму. М.: Восточная литература, 1955. С. 46.*

³⁰ *Deshpande P. Creative Pasts. Historical Memory and Identity in Western India 1700–1960. N. Y.: Columbia University Press, 2007. P. 85-87.*

³¹ *Gupta Maithili Sharan, Bhārat bhāratī. Chirganv (Jhansi): Sahitya sadan, 1974. P. 119.*

³² *Said Edward. Orientalism. P. 52.*

го никакая карьера не была возможна). Эти люди учились по английским учебникам и впитывали представления ориенталистов об историческом прошлом Индии – «Золотом веке» древней Индии и последующем упадке, о том, что Индия, несмотря на многие шедевры литературы, философии, искусства всегда была обществом без истории (даже блистательную Античность можно было изучать только по греко-римским источникам, все индийское было «мифом»). Второй хранил историческую память народа, устные и письменные традиции о подвигах героев и о мудрости государей. Эти два потока почти не пересекались: единственным проводником народной истории и культуры в семьях англизированной элиты были женщины, как правило, не получавшие английского образования, и прислуга. Но полученным от них знаниям индийскому джентльмену, «загорелому сахибу», верить не подобало. В результате Бхаратенду Харишчандра, драматург, поэт и публицист (1850–1885), за сюжетом для своей романтической трагедии «Нилдеви» о подвигах храбрых раджпутов обратился к поэме английского автора Эдвина Арнолда «Раджпутская жена». Банким Чандра Чаттопадхьяй (1838–1894), «бенгальский Вальтер Скотт», черпал сюжеты для своих романов на темы индийского Средневековья из книги Тода.

Культивируемое колониальной пропагандой отношение к прошлому Индии как к истории упадка и поражения не могло не оскорблять индийскую элиту. Навязанная победителями «амнезия» оказалась негодным лекарством от ментальной травмы, наносимой индийцам, которых западное образование не только не освободило от постоянного расистского унижения и комплекса неполноценности, но заставило все отчетливее осознавать несправедливость того факта, что некогда великая цивилизация оказалась в столь плачевном состоянии.

В такой ситуации было естественно, что возникновение и развитие просветительства и особенно национализма в Индии было непосредственно связано с сознательными усилиями образованной по-европейски элиты «открыть» свою историю. О таком стремлении свидетельствуют, например, названия книг: от одной из первых просветительских историй Индии – «История, рассеивающая мрак» (1864, автор – Шивпрасад) – до знаменитого сочинения Джавахарлала Неру «Открытие Индии» (1946), ставшего манифестом националистической реконструкции прошлого страны. Об-

ращение к истории стало для индийской интеллигенции своего рода лекарством от ментальной травмы колониального закабаления. Ей нужно было «открыть» для себя и для соотечественников, что у Индии есть история, в которой немало славных и героических страниц, доказать, что, как заявлял выдающийся деятель освободительного движения Бал Гангадхар Тилак (1856–1920), что «Индия не была богом забытой страной»³³. Помочь соотечественникам в преодолении исторической травмы и навязанного колониальной идеологией комплекса неполноценности считал своей задачей каждый индийский патриот эпохи национально-освободительного движения. Один из самых известных бенгальских националистов Б.Ч. Пал (1858–1932) заявлял: «Пусть знают все, кого это касается, что Индия будет оценивать своих героев на собственном, национальном пробирном камне и ни в коем случае не примет баллов, выставленных иностранными оценщиками, неспособными по своему эгоизму и невежеству к познанию истины, как бы высоко они ни возносились в официальной иерархии»³⁴.

Как создавался «национальный пробирный камень» для исторических деятелей Индии, можно судить на примере Шиваджи Бхосле (1630–1680), маратхского феодала, отважно противостоявшего империи Великих Моголов и создавшего суверенное государство маратхов. Хотя на родине Шиваджи считался героем и о его подвигах в народной памяти сохранилось множество баллад и сказаний, в британской историографии колониальной эпохи (а, следовательно, и в учебниках, по которым учились школьники и студенты), этот персонаж, вопреки «мифам», рассматривался как «разбойничий атаман», жестокий грабитель, преследовавший сугубо эгоистические цели; а само возвышение Шиваджи и создание им независимого государства трактовали как историческую случайность, не имевшую ничего общего с патриотическими чувствами и устремлениями народа³⁵. Индийские националисты развернули мощное движение за «реабилитацию» Шиваджи и официальное

³³ *Tilak Bal Gangadhar. His Writings and Speeches. Appreciation by Babu Aurobindo Ghose. Madras: Ganesh & Co, 1919. P. 48.*

³⁴ *Pal Bipin Chandra. Shivaji; the True Democrat // P.D. Saggi (ed). Life and Work of Lal, Bal and Pal. Delhi: Overseas Publishing House, 1962. P. 256.*

³⁵ *Deshpande P. Creative Pasts. P. 76-109.*

признание его национальным героем³⁶. Суммируя эти усилия, популярная газета «Лунный свет» писала в 1896 г.: «Еще полвека назад имя Шиваджи было окутано мраком, и те из нас, кто знал о нем, считали его просто дерзким мятежником и горным разбойником³⁷. Но невежество и предрассудки были побеждены верной оценкой маратхской истории, и по прошествии многих лет мы, наконец, научились судить Шиваджи по справедливости. Мы знаем, не из трудов предубежденных английских историков, которые находят удовольствие в искажении фактов нашей истории, но из авторитетных документов, таких как бакхары³⁸ и т.д., что Шиваджи сражался за нашу национальную независимость и освободил нас от чужеземного ига»³⁹.

Разумеется, в своем противостоянии колониальной историографии националисты также не слишком церемонились с историческими фактами, нередко подгоняя их под собственные концепции и приписывая героям далекого прошлого мысли и цели, которых те не могли иметь⁴⁰. Однако борьба за «возвращение» индийцам собственной истории стала эффективным лекарством от исторической травмы, важнейшей составной частью движения за национальное освобождение.

³⁶ Laine J.W. Shivaji. Hindu King in Islamic India. Delhi: Oxford University Press, 2003. P. 63–79.

³⁷ Речь идет об англозированной элите, изучавшей историю по английским учебникам; народные баллады, прославлявшие Шиваджи как героя, были вне ментальной сферы «образованных классов» до тех пор, пока их не «открыли» и не приняли на вооружение националисты.

³⁸ Бакхары – исторические баллады и поэмы на маратхи. Характерно, что английская историография не признавала за бакхарами, как и прочими текстовыми проявлениями народной исторической памяти, статуса документа, что вполне осознанно делает автор процитированной газетной статьи – мнение англозированной индийской элиты, ранее не доверявшей «мифам», заметно изменилось.

³⁹ Цит. по: Deshpande P. Creative Pasts. P. 115.

⁴⁰ Ванина Е.Ю. Индия: история в истории. С. 153–203.

Т.Г. Скороходова

**КОНЦЕПЦИЯ ИНДИЙСКОЙ ИСТОРИИ
ДЖОДУНАТХА ШОРКАРА:
ИТОГИ РАЗВИТИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ
БЕНГАЛЬСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ**

В марте 1928 г. в Мадраасском университете был прочитан курс лекций «Индия сквозь эпохи», который затем был издан отдельной книгой с подзаголовком «Обозрение роста индийской жизни и мысли». В этом курсе всемирно известный историк, почетный член Королевского Азиатского общества Великобритании, почетный вице-канцлер Калькуттского университета Джодунатх Шоркар (Саркар)¹ (1870–1958) предложил собственное концептуальное видение индийской истории с древнейших времен до современности. По его собственным словам, целью лекций было предложить «обзор внутренней жизни и внешнего роста Индии с точки зрения эволюционного развития сквозь эпохи»².

Дж. Шоркар как историк-профессионал стремился создать объективный очерк развития Индийского субконтинента во временной и пространственно-географической определенности, расставив главные содержательные акценты по эпохам. Однако как интеллектual и представитель общественной мысли Бенгальского Возрождения³ он вышел на историософские обобщения, в которых воплотились ведущие смыслы исторического сознания и памяти, созданные в эту эпоху национально-культурного ренессанса XIX – первой трети XX в. Поэтому его концепцию индийской истории можно интерпретировать как итог развития исторического сознания этого периода.

¹ В хиндиязычном и англоязычном варианте – Джадунатх Саркар. В статье используется бенгалозычный вариант произношения имени историка.

² *Sarkar Jadunath. India Through the Ages. 2nd ed. Calcutta: S.C. Sarkar & Sons, 1944. P. 3.*

³ См. новейшие труды об этой эпохе: *Dasgupta Subrata. The Bengal Renaissance: Identity and Creativity from Rammohun Roy to Rabindranath Tagore. Delhi: Permanent Black, 2012; Dasgupta Subrata. Awakening: the Story of the Bengal Renaissance. Noida: Random House Publishers, 2010.*

Культуротворческие и социотворческие процессы в модернизирующейся Бенгалии, одном из самых передовых регионов Британской Индии, развивались в самых разных сферах: духовной, социальной, правовой, политической, религиозной, научной – благодаря деятельности интеллектуалов «творческого меньшинства» (А. Бергсон), которые взяли на себя задачу формирования нового общественного сознания и культуры для успешной интеграции страны в новую модернизированную реальность. Важным направлением их усилий стала сфера исторического сознания, в которой они совершили интеллектуальную революцию, поскольку, во-первых, сделали историю Индии предметом осмысления и тем заложили основу исторической памяти, и, во-вторых, сформировали основы методологии научного исследования истории родной страны.

Не останавливаясь подробно на самом процессе становления исторического сознания, рассмотренном в предшествующих статьях⁴, отмечу здесь главные вехи и аспекты этого становления. Бенгальские интеллектуалы начали с *открытия* истории Индии, которая позволяла осмыслить настоящее и определить перспективы будущего – первым знаком открытия был «Краткий очерк древних и современных границ и истории Индии»⁵ Раммохана Рая (1772–1833), родоначальника ренессансных процессов, «Отца современной Индии». В традиционном обществе Индии, где господствовало циклическое представление об историческом времени и а-историческая форма религиозного историзма, препятствовавшая формированию традиции описания и осмысления повседневной истории⁶, возникновение векторного историзма и мотивации к историописанию произошло благодаря, с одной стороны, воздейст-

⁴ См.: *Скореходова Т.Г.* Историческое сознание Бенгальского Возрождения (историко-философский анализ) // Восток. Афро-азиатские сообщества: история и современность. 2009. № 1. С. 76-87; *Скореходова Т.Г.* Открытие индийской истории в общественной мысли Бенгальского Возрождения // Диалог со временем. 2017. № 1. С. 291-306.

⁵ См.: *Рай Раммохан.* Краткий очерк древних и современных границ и истории Индии / пер. с англ. Т.Г. Скореходовой // Исторический журнал: научные исследования. 2013. № 5. С. 513-521. DOI: 10.7256/2222-1972.2013.5.9064.

⁶ См.: *Хазанов О.В.* Феномен религиозного историзма: некоторые подходы к пониманию еврейской и индийской традиций. Автореф. ... канд. ист. наук. Томск, 2002. С. 20-21.

вию европейской ориенталистики, сделавшей историю Индии объектом изучения⁷, а с другой – общей трансформации сознания представителей творческого меньшинства под воздействием западной культуры.

Ключевыми моментами открытия истории Индии стали представление о ней как социокультурной целостности (Р. Рай), о ее прошлом как сложном развитии во времени со своими периодами расцвета и упадка – и возможностью нового возрождения. Не менее важным стало стремление категорически опровергнуть европейскую идею об отсутствии у Индии истории (Джеймс Милль, Г.В.Ф. Гегель)⁸.

Появление идеи индийской истории в первой половине XIX в. у Р. Рая и его младших современников из группы «Молодая Бенгалия» (К.М. Банерджи, П. Митро, Г. Шена) стало отправной точкой формирования, а точнее, конструирования интеллектуалами исторической памяти соотечественников. И по намерениям, и по содержанию это конструирование было ориентировано на общендийский масштаб, поскольку по смыслу возвращение исторической памяти связывалось с перспективами возрождения Индии и ее интеграции в современный мир⁹. Сердцевиной исторической памяти было создание образа индийской истории, в котором главными были признаны способность Индии объединять разные народы и культуры («единство в многообразии» – Свами Вивекананда, Рабиндранат Тагор, Бипинчондро Пал) и ее достижения в сфере духа – религии, философии, литературы и искусства.

Бенгальские интеллектуалы, так или иначе способствовавшие развитию нового исторического сознания, были убежденными сторонниками научного познания истории и возражали против мифологизации прошлого (в частности, для них была неприемлема концепция ориенталистов о «золотом веке Индии») и некритического принятия свидетельств источников. Поэтому в исторических штудиях и историософских размышлениях складываются теорети-

⁷ См.: *Kopf D.* British Orientalism and Bengal Renaissance. Berkeley: University of California Press, 1969. P. 19-20, 24; *Dasgupta Subrata.* The Bengal Renaissance. P. 25-36.

⁸ См.: *Ibid.* P. 33-38.

⁹ См.: *Banerjee S.* The Study of Indian History // *Nationalism in Asia and Africa.* N.Y.: Cleavland, L.: Widenfield, 1970. P. 230.

ко-методологические основы профессиональной историографии Индии: подход к истории как прогрессивному процессу, структурирование истории по эпохам/стадиям, методы реконструкции истории через анализ всех доступных источников и методы критики последних, принцип историзма и широкое понимание предмета исторического исследования, включающего историю социальности, экономики и культуры. Большинство методологических инструментов было европогенно, однако их присвоение уже во второй половине XIX в. дало позитивный результат в виде серьезных исследований по конкретным темам истории Индии, принадлежащих Оккхойкумару Дотто, Раджендролалу Митро, Хоропрошаду Шастри, Ромешчондро Дотто¹⁰.

Сложившееся в XIX в. историческое сознание не только вызвало к жизни профессиональное исследование истории Индии самими индийцами¹¹, но и новые жанры в художественной культуре – исторический роман и историческую драму. Сквозные идеи исторического сознания – понимание истории как истории народа, акцент на духовных и культурных достижениях Индии, обращение к героическим страницам истории за вдохновением в настоящем, уважение к высшим ценностям и культурному наследию и т.д. – воплощались в художественно-образной форме и так транслировались в общественное сознание и культуру Индии.

Наследником этого нового направления общественной мысли и стал Джодунатх Шоркар, который профессионально исследовал конкретные темы и периоды в истории Индии и в то же время создал обобщающую концепцию ее истории, где не просто суммировал идеи предшественников в образе индийской истории, но акцентировал базовые смыслы, которые *должны быть* интегрированы в исторической памяти.

Дж. Шоркар родился в Бенгалии, в семье заминдара (землевладельца) из касты *каястха* (писцы). Семья принадлежала к вишнуитам-последователям религиозного вероучителя, проповедника *бхакти* Кришны Чайтаньи. Юноша получил английское образование в Президенси-колледже Калькутты, несколько лет работал в

¹⁰ См.: *Mukherji Bimala Prosad. History // Studies in the Bengal Renaissance* / Ed. by A. Gupta. Calcutta: Jadavpur University, 1958. P. 368-373.

¹¹ См.: *Алаев Л.Б. Историография истории Индии*. М.: Институт востоковедения РАН, 2013. С. 96-110.

колледжах преподавателем английского языка и литературы, затем преподавал историю в университетах Бенареса, Каттака и Калькутты. После отставки он полностью посвятил себя своему призванию – историческим исследованиям¹². Среди наиболее крупных его трудов – пятитомная «История Аурангзеба на основе оригинальных источников» (1912–1958), «Могольское управление» (1921–1925, 2 т.), «Падение Могольской империи» (1932–1938, 4 т.), «Шиваджи и его время» (1919, 6 т.), а также исследования «Чайтанья, его паломничество и учение» (1913), «Экономика Британской Индии» (1909), «Очерки Могольской Индии» и др. Он занимался средневековой историей так называемого «мусульманского периода», поскольку вполне справедливо считал его не столь тщательно и аккуратно изученным, как древняя история Индии, и полным «благочестивых вымыслов», которые он и разоблачал в своих трудах¹³.

Формирование Дж. Шоркара как историка происходило под влиянием европейской критической школы историографии – он считал своими учителями Л. Ранке, Т. Моммзена, лорда Актона, Метланда, Т.Б. Маколея и Э. Гиббона¹⁴. Опираясь на объективистский подход, Дж. Шоркар стремился выявлять все позитивные и негативные стороны любого исторического процесса и события – будь то правление Аурангзеба или Британский Радж в Индии. В этом смысле он работал как западный историк, чьим кредо был объективизм. «Родившаяся в эпоху античности установка на объективное описание и оценку окружающего – фундаментальная характеристика культуры Запада, – подчеркивает И.Г. Яковенко. – Это касается всего: друзей и врагов, союзников и противников, знакомого, давно освоенного, и неизведанного, только-только открываемого. Речь идет об одной из важнейших сущностных характеристик западноевропейского духа»¹⁵. Джодунатх Шоркар, идя от

¹² О жизни и научном труде Дж. Шоркара в историческом контексте см. монографию Дипеша Чокроборти: *Chakrabarty Dipesh. The Calling of History: Sir Jadunath Sarkar and His Empire of Truth*. Chicago, L.: University of Chicago Press, 2015.

¹³ Mukherji B. History. P. 381.

¹⁴ Алаев Л.Б. Историография истории Индии. С. 116.

¹⁵ Яковенко И.Г. Познание России: цивилизационный анализ. М.: РОССПЭН, 2012. С. 478.

источников и достоверно подтвержденных фактов, проложил путь такому объективному историческому дискурсу в Индии – однако, как замечает российский востоковед, «объективность никогда не была в Индии достоинством»¹⁶.

Дж. Шоркар не принадлежал к какому-либо из современных ему общественных движений или организаций, был всецело предан своей работе и, по словам Б. Мукерджи, «сам подобен институту и работал более или менее в одиночестве – в области, где ему не было равных»¹⁷. Однако его становление в культурной атмосфере Бенгалии рубежа XIX–XX вв. по-своему определило его симпатии и ценности. Отец его симпатизировал религии, которую проповедовало общество Брахмо самадж, основанное в 1828 г. Раммоханом Раем, но насколько брахмоизм был интересен и привлекателен для самого Дж. Шоркара – сказать сложно, тем более что брахмоисты никогда не причисляли его к своим кругам¹⁸. Являясь индуистом, он испытывал симпатии к исламу и христианству¹⁹ – как многие его предшественники и современники, выстроившие в сознании диалог своей религии с другими. Исследования Дж. Шоркара высоко ценил Рабиндранат Тагор, который перевел на бенгали его исторические статьи и эссе, а в 1911 г. посвятил историку «в знак глубокого уважения» пьесу «Крепость консерватизма» («Очолайотон»), где выступал против обрядности и окостеневших правил, сковывающих развитие общества. Целый ряд идей Дж. Шоркара, высказанных в «Индии сквозь эпохи», входят в резонанс именно с тагоровскими размышлениями об индийской истории и культуре. Это можно сказать и о кредо историка как профессионала: целью его «является *истина*, на которой должна покоиться всякая здравая история, истина приятная или неприятная, извлеченная из научно выявленных и проанализированных данных»²⁰. Эта бескомпромиссная установка на поиск истины во всех сферах жизни, мысли, духа и культуры отличала всех кори-

¹⁶ Алаев Л.Б. Историография истории Индии. С. 119.

¹⁷ Mukherji B. History. P. 382.

¹⁸ Ray Aniruddha. Sarkar, Jadunath // Banglapedia: National Encyclopedia of Bangladesh. URL: http://en.banglapedia.org/index.php?title=Sarkar,_Jadunath (дата обращения – 19.01.2017).

¹⁹ Алаев Л.Б. Историография истории Индии. С. 117.

²⁰ Mukherji B. History. P. 382.

феев Бенгальского Возрождения от Раммохана Рая до Рабиндраната Тагора. В этом плане курс лекций Дж. Шоркара стал попыткой представления истины – как ее видел профессионал-историк, поднабывшийся до обобщения ее смыслов.

В основании подхода Дж. Шоркара – представление об истории Индии как непрерывной жизни нации, которую вряд ли стоит делить на ограниченные непроницаемые периоды, чтобы не упустить из вида самую жизнь людей. Индия «сделалась домом живущего и растущего народа, последовательно движущегося сквозь все века – и каждое поколение использует, расширяет или усовершенствует то, что им оставила долгая цепь предшественников»²¹. Иными словами, жизнь народа сквозь века и тысячелетия в общем доме-«континенте» и есть история Индии. Подчеркивая важность «географического фактора» (разнообразия природных условий разных регионов) для понимания истории Индии, Дж. Шоркар воспроизводит две базовые идеи исторического сознания, возникшие у Р. Рая: пространство («скорее континент, чем одна страна»²²), отличающееся разнообразием регионов, рас и языков, и собственно *история* людей, названных собирательным именем «индийский народ»²³ – показательным во всех смыслах, поскольку в современной Дж. Шоркару Индии различение «индийского» и «индусского» было принципиальным вопросом политического процесса, а большие и малые народы разных регионов трепетно осмысливали свою этническую и религиозную идентичность, пытаясь соотнести ее с идентичностью общеиндийской.

Рисуя картину «Индии сквозь века», Дж. Шоркар говорит об «индийском народе» как особом результате исторической эволюции, как общности, сложившейся из множества рас и этносов: «Индийский народ сегодня, несомненно, составной этнический продукт»; историк заявляет, что независимо от происхождения все его различные компоненты «приобрели общий индийский склад, и все внесли свою долю в общую культуру и общий тип традиций, мысли и литературы»²⁴. Ретроспективно история Индии предстает как история «индианизации» разных народов – местных и пришлых «иностранных».

²¹ *Sarkar Jadunath. India Through the Ages. P. 1.*

²² *Ibid. P. 4.*

²³ *Ibid. P. 1.*

²⁴ *Ibid. P. 1-2.*

ных», которые все вместе создавали неповторимую общую культуру. По мысли историка, этот «индийский тип» выдержал испытания и катаклизмы времени, и каждая раса и религия принесли ему свои дары. И с северо-запада, и с северо-востока в Индию приходили и оседали на постоянное жительство «расы-иммигранты» – из Центральной Азии, с Ближнего и Среднего Востока, Тибета, Китая и Монголии. Представители разных народов и религий становились своими, «индианизировались» – парсы из Ирана в Махараштре, иудеи Конкана, христиане-несториане Малабарского побережья и т.д. «С самой зари наша западная морская граница была... гостеприимно открыта для иммигрантов»²⁵, – подчеркивает историк, и тут же отмечает активность самих индийцев в мореплавании, торговле и колонизации заморских земель на Востоке, куда они «несли цивилизацию». Примечательно, что на толерантность к любым верованиям при взаимодействии с другими народами как историческую черту индийцев в конце XIX в. указывал Свами Вивекананда: «Когда Иерусалим был разрушен римлянами, несколько тысяч [иудеев] поселились в Индии. Когда персы были изгнаны из своей страны арабами, несколько тысяч нашли убежище в этой же стране, и никогда никто их не беспокоил. Индусы верят, что все религии истинны, но сами они предвосхитили все другие»²⁶. Философ подчеркивал, что эта древнейшая из цивилизаций мира никогда не была нацией завоевателей, но ассимилировала разные расы и народы не силой, а с помощью культуры и духовности²⁷. В XX в. эту идею интегрирует в свою концепцию Дж. Шоркар, говоря об индианизации осевших на субконтиненте народов.

В современный период благодаря индийскому политическому движению, в которое вовлечены все индийцы, начала складываться нация²⁸; условием ее существования историк считает самоуправление. В политико-идеологическом плане идея индийской нации у Дж. Шоркара соответствует секулярному представлению о ней как «нации-согражданстве», нации политической; представлению, заимствованному индийскими либеральными политиками из

²⁵ Ibid. P. 6.

²⁶ *Vivekananda Swami. Complete Works*. 12th ed. Mayavati–Almora: Advaita Ashrama, 1998–2002. Vol. III. P. 494–495.

²⁷ См.: Ibid. Vol III. P. 105, Vol. IV. P. 309.

²⁸ *Sarkar Jadunath. India Through the Ages*. P. 1–2, 101.

британской политической мысли и интегрированному в идеологии Индийского национального конгресса.

Масштабы субконтинента и его дробность согласно естественным границам, климату, формам правления, языку и образу жизни обусловили многообразие, которое, по мысли историка, объединялось в общеиндийском масштабе действием разных сил – человеческих и культурных. «С ранних индусских времен эта внутренняя изоляция часто нарушалась и общеиндийская общность идей, обычаев и культуры создавалась разными силами», – подчеркивает Дж. Шоркар и относит к этим силам странствующих учеников и паломников, «солдат удачи», императоров-завоевателей и «зятьев, импортируемых из центров голубой крови»²⁹.

Общезначимыми для всех индийцев были священные города, центры санскритской учености, священные реки и храмы, привлекавшие паломников. Фигурами общеиндийского масштаба были великие философы, вероучители и святые, подобные Шанкарачарье и Чайтанье. Как и для его предшественников, для Дж. Шоркара первостепенно значимо культурное единство Индии: «вопреки политической дробности и различиям языков, традиций и обычаев, – единство религии, философии, культурных идей и убеждений и взгляда на жизнь во всей индусской Индии» в древности³⁰. От Р. Рая до Р. Тагора все бенгальские мыслители, так или иначе обращавшиеся к индийской истории, обязательно подчеркивали объединяющие субконтинент культурные характеристики: религию, традиции, санскрит и традиционную ученость (Р. Рай), социальную стратификацию и право (П. Митро), духовную культуру и социально-экономическую жизнь (Р. Дотто), религию и философию веданты и возвышенную этику самоотречения (Свами Вивекананда), способность объединять множественность в общем гармоническом синтезе (Р. Тагор). Упорное подчеркивание внутреннего единства Индии, ее культуры и истории в противовес целому ряду обстоятельств и факторов, исторически противостоящих этому процессу объединения и синтеза, – есть часть процесса конструирования общеиндийской идентичности и исторического сознания бенгальскими мыслителями. Наряду с моментом идеоло-

²⁹ Ibid. P. 8.

³⁰ Ibid. P. 10.

гическим – противостоянием ориенталистским и колониальным представлениям, акцентирующим региональные, религиозные и культурные различия Индии, в новом историческом сознании был важный объективный смысл: указание на действующие в ее истории факторы культурного и социального синтеза и объединения несходных форм духовной жизни и социальности, соединяющие историю разных народов в общую историю цивилизации на субконтиненте. И тем очевиднее этот объективный смысл профессионалу-историку, утверждающему его как основание видения истории страны.

Есть здесь и другой важный для исторической памяти и идентичности момент: Дж. Шоркар дифференцирует категории «индийское» и «индусское». Оба термина заимствованы индийской мыслью и наукой Нового времени из европейских языков соответственно для обозначения своей страны (аналог в новоиндийских языках – Бхарата/Бхаратварша, «Земля потомков Бхараты»), а другой – для религии и религиозной принадлежности людей и общин. Термин «индуизм» тоже европогенный; он был избран учеными-ориенталистами для обозначения всей системы верований Индостана³¹ и оказался кстати для индийцев как общее самоназвание «религии дхармы» и религиозной общности – с аналогом «*санатана дхарма*» (т. е. «вечная религия») в индийских языках. В бенгальской мысли использование термина «индийский» обычно предполагало масштаб страны и цивилизации безотносительно к религиозно-социальному измерению ее культуры и социальной структуры, тогда как термин «индусский» («индуистский») ограничивает описываемые процессы религией и/или общиной, а в националистических построениях – отождествляет «индусское» с «индийским». Употребление обоих терминов в трудах индийских интеллектуалов обычно вполне дифференцировано, и основной вектор их действий – формирование общеиндийской идентичности соотечественников, размышления об Индии как таковой и ее истории, хотя и с пониманием того, что «индусская» религия, традиции и общность составляют основу цивилизации, исторической эволюции и социальности. Этому последнему немало способствовало ориентальное представление истории Индии как смены периодов –

³¹ Штитенкрон Г., фон. О природе индуизма. О правильном употреблении обманчивого термина // *Древо индуизма*. М.: Восточная литература, 1999. С. 247-249.

индусского, мусульманского и британского, которое было усвоено многими интеллектуалами.

В историческом плане «индийское» в концепции историка дано как постоянно становящееся динамическое качество народов и цивилизации, и одновременно – как термин для обозначения «культурной общности всех индийских рас». «Если мы выберем *широкий и гибкий взгляд* (курсив мой. – Т.С.), избегая слишком узкого. Мы можем зайти настолько далеко, чтобы сказать, что есть и некоторое слабо различимое сближение и в физическом типе, и образе жизни среди различных рас, довольно долго проживших в Индии и питающихся общей пищей, пьющих из общих источников и согреваемых одним солнцем», – заявляет Дж. Шоркар. Даже на пришедших сюда иммигрантов-мусульман с течением веков Индия наложила свой отпечаток, и «они стали значительно отличаться по многим существенным чертам от своих братьев, живущих в других частях Азии»³².

В свете этого широкого и гибкого взгляда Дж. Шоркар использует термин «индусское» для собирательного обозначения всего комплекса народных верований, которые были интегрированы вокруг общих религиозно-философских идей и создали в процессе эволюции *индуизм* – «синтез религий». Представление об исторической эволюции индуизма в древности от ведийской религии ариев к возвышенным формам веры в вишнуизме и шиваизме³³ Дж. Шоркар сочетает с пониманием этой религии как процесса «одухотворения» и результата «синтеза» арийских и доарийских верований «во всеобъемлющей системе терпимости», а затем – ее развития благодаря воздействию буддизма, чьи лучшие черты индуизм усвоил и развил³⁴. Так или иначе, слово «индусский» Дж. Шоркар употребляет для обозначения религиозных измерений и движений в индийской истории, не отождествляя его с «индийским».

Уже в подразделении истории на эпохи, которое прочитывается по названиям лекций³⁵, Дж. Шоркар вполне явно отвергает

³² Ibid. P. 10.

³³ В развернутом виде такое представление обосновано у Свами Вивекананды в серии статей «Восток – Запад».

³⁴ Ibid. P. 13, 42-50.

³⁵ «Арии и их наследие для Индии», «Работа буддизма в Индии», «Мусульманское расселение и изменения, которое оно принесло», «Англичане и их дары Индии».

ставшее почти общим местом деление на три периода. «Джодунатх одинаково сдержанно относился к периодизации индийской истории у Дж. Милля, – отмечает Анируддха Рай в биографической статье об историке в «Банглапедии». – Намеренно он не оспаривал расовую и общинную основу такой периодизации, но предвидел трудности в том, что периоды частично заходят один на другой»³⁶. Но дело здесь не только в приблизительности определения «индусского» и «мусульманского» периодов, но и в секулярном интерпретации истории Джодунатхом. Она не сведена к истории доминирования религий и общин, но истолкована как эволюция цивилизации, судьбу которой определяли на разных этапах разные расы и носители разных вер: ведийские арии, буддисты, мусульмане, затем – британцы. Причем и в этой условной периодизации, и в ее содержательном наполнении отражен ведущий смысл и вектор размышлений, определивший характер и достижения Бенгальского Возрождения – понимание Другого и диалог с ним для взаимного обогащения и развития³⁷.

Согласно Дж. Шоркару, арии, пришедшие в Индию в древности, создали ее цивилизацию воздействием на ее коренное население. Для дравидов Юга и неарийских первобытных народов арии были Другими, пришедшими издалека. Затем внутри цивилизации появились свои-Другие – буддисты, придавшие импульс обновления и развития истории и культуре и в результате способствовавшие появлению современного индуизма, но вытесненные из Индии. Новыми и кардинально отличными по вере оказались мусульмане – Другие, чье влияние во многом определило многие черты современной Дж. Шоркару Индии. Наконец, Другие-британцы, хотя и не сделали Индию своим домом, вывели ее народы на качественно новую стадию исторической эволюции. При этом общей интенцией историка оказывается демонстрация *результата* присутствия Другого на земле Индии от эпохи к эпохе, и – при трезвом понимании, что история сложна и противоречива, – эти результаты *положительны* для народа, общества и культуры Индии.

³⁶ Ray Aniruddha. Sarkar, Jadunath.

³⁷ См.: Скорородова Т.Г. Понимание Другого в философии Бенгальского Возрождения // Вопросы философии. 2010. № 2. С. 141-151.

Во второй половине XIX в. у неоиндуистских мыслителей появилась идея о миссии Индии в мире, которую она должна исполнить в истории. В частности, Свами Вивекананда говорил о своих историософских размышлениях и даже планировал написать книгу «Послание Индии миру», которую намеревался завершить изложением тех аспектов индийского наследия – «даров Индии», значимых для всего мира «в эпоху Калиюги», – дары духовного и светского знания, идеи кармы как труда без заинтересованности в результате, веданты и т.д.³⁸ Но это была лишь одна из сторон конструирования исторического сознания – обретение достоинства через обоснование значимости наследия и культуры Индии для мира. Был в бенгальской мысли и другой вектор – понимание значимости Другого и его достижений, принесенных в Индию. Проявлением вектора был феномен англофильства интеллектуалов – от Раммохана Рая и учеников Г. Дерозию до Сурендронатха Банерджи³⁹, а также собственно интерес к исторической эволюции Индии. В концепции Дж. Шоркара, которого на протяжении всей научной карьеры критиковали за «англофильство» и «недостаток патриотизма» в оценках британской политики в Индии, оба вектора словно объединены: он использует слово «дар» для описания всего положительного, что Другие принесли Индии.

Арии принесли Индии «идеи и культуру», которые, в объединении с некоторыми дравидийскими элементами, по существу, «дали ей внутреннее единство вопреки многообразию, созданному нашей географией, этнологией и политической историей»⁴⁰. Объединение заложило базовую модель «индианизации», – умения включать в свое сообщество под общими ключевыми идеями каждую форму веры и религиозной практики, кроме «жестко исключаящих (exclusive) вер» ислама и христианства. Дж. Шоркар называет шесть даров Индии от ариев: 1) возвышенная духовность, которая возвысила даже неарийские элементы в ходе «величественного синтеза, называемого Индуизмом»; 2) «Дух систематизации» или методического упорядочения любой сферы мысли детальным анализом ее

³⁸ *Vivekananda Swami. Complete Works. Vol. IV. P. 310-311.*

³⁹ См.: *Скороходова Т.Г. Англофильство бенгальских интеллектуалов: путь к себе от признания Другого // Вопросы философии. 2013. № 6. С. 118-128.*

⁴⁰ *Sarkar Jadunath. India Through the Ages. P. 11.*

частей (то есть развитие знания, наук и искусств); 3) направляемое воображение в культурном и художественном творчестве (то есть эстетика); 4) упорядочение народов во взаимно-исключающие касты, основанные на различии функций и предполагаемого происхождения; 5) уважение к женщине – с отвержением феминистских институтов матриархата и полиандрии, господствовавших на юге и севере; 6) институт отшельничества, благодаря которому действовали «древние университеты», транслировавшие знание и культуру⁴¹. Большая часть даров ариев относится к упорядочению земной жизни и обустройству традиционной варновой социальной структуры. Господствующее положение в последней благодаря учености, благочестию и авторитету занимали брахманы, и именно в этом «чисто индусском государстве» были развиты системы философии, этики, теологии и литература, велись содержательные дискуссии о политике и морали. В этой «брахманической эпохе», ставшей результатом усилий индо-ариев, Дж. Шоркар видит «истинный источник древней цивилизации индусов»⁴².

Однако со временем «первоначальная сила арийской цивилизации» оказалась истрачена – и знаком того было самостоятельное и независимое от брахманского верховенства действие кшатриев. «Восстание кшатриев против брахманов» начинается, по мысли Дж. Шоркара, новую стадию эволюции, пиком которой стал приход Гаутамы Будды⁴³. В структурировании эпох истории по преобладанию в обществе власти конкретного слоя – варны брахманов-священнослужителей, затем кшатриев, правителей и воинов – нельзя не увидеть имплицитного влияния на исторические построения ученого историософской схемы Свами Вивекананды, предложенной в статье «Современная Индия» (1899). Философ разделил всю историю человечества на условные периоды – «царства» брахманов, кшатриев, вайшьев (торговцев) и шудр (низшего социального слоя, занятого физическим трудом), причем борьба варн оказывается движущей силой исторического процесса⁴⁴. У Дж. Шоркара новая эпоха индийской истории вырастает из «про-

⁴¹ Ibid. P. 11-12.

⁴² Ibid. P. 18.

⁴³ Ibid. P. 19.

⁴⁴ См.: Костюченко В.С. Вивекананда. М.: Мысль, 1977. С. 147-152.

теста против власти и ритуала брахманов» и вводит новую силу в индийскую жизнь и мысль⁴⁵.

«Дары буддизма» по масштабу сопоставимы с дарами ариев – их тоже шесть, и в совокупности они составили «работу буддизма в Индии». Первый дар – религиозный; «буддизм дал нам народную религию, безо всяких усложненных и непонятных ритуалов, которые мог выполнять только жреческий класс»⁴⁶; эта религия была обращена к массам, которые отозвались на простую и эмоциональную веру, простой свод этики и доступную проповедь в форме притч, а также общее богослужение. Личностный элемент религии, явленный в человеке-Спасителе (Будде), выгодно отличался от безличных сил природы у ариев и бесстрастного абстрактного божества Упанишад. В этом смысле второй дар буддизма, по мысли Дж. Шоркара, – появление почитания образов (image-worship), происходящего от почитания статуй Будды. Сам вопрос о поклонении изображениям богов («идолопоклонство» в терминологии Р. Рая и брахмоистов) в индуизме был одним из значимых в религиозной мысли и реформаторской практике Бенгалии, и решение его в диапазоне от неприятия у брахмоистов до оправдания у неопиндуистов определяет отношение к религиозным практикам общины. Позиция Дж. Шоркара по данному вопросу показательна: как историк он находит (с оговоркой «вероятно») происхождение практики почитания изображений в буддизме, который глубоко повлиял на эволюцию индуизма⁴⁷; как интеллектуал, размышляющий о *современной* Индии, он отмечает «чудесную ассимилирующую силу» индуизма, способного присваивать и интегрировать даже противостоящие ему движения и идеи⁴⁸. Третий

⁴⁵ Sarkar Jadunath. India Through the Ages. P. 19.

⁴⁶ Ibid. P. 20.

⁴⁷ «Первоначальный буддизм – только новая форма индуизма» – так назван раздел 3 лекции, где Будда трактуется как святой, а не пророк, а его учение – как следствие предшествующего развития индусской мысли – *санкхьи* и Упанишад. Помимо прочего, в истолковании буддизма у Дж. Шоркара мне видится влияние трудов Кришномохана Банерджи («Диалоги об индусской философии»), который связывал с буддизмом появление в индуизме представления о жизни как страдании, отсутствовавшего в арийских верованиях, а с другой – убеждения Вивекананды в том, что буддизм стал «высшим осуществлением индуизма».

⁴⁸ Ibid. P. 90.

дар буддизма – система монастырей, объединяющих преданных в религиозное братство, которое следует пути Будды. Три духовных дара буддизма подтверждают, что современный индуизм обязан ему больше, нежели «арийской духовности».

Остальные три дара буддизма – культурные: рождение и развитие обширной литературы на разговорных языках, доступной простому человеку, развитие архитектуры и скульптуры и установление тесного контакта с внешним миром. Благодаря буддийскому миссионерству новая религия завоевала умы людей далеко за пределами Индии и сломала ее изоляцию от внешнего мира. Говоривший до этого момента о дарах *для* Индии, Дж. Шоркар здесь подчеркивает, что буддизм – «величайший дар *Индии* *внешнему миру*»⁴⁹, чем лаконично суммирует размышления о роли буддизма у своих предшественников – Сурендронатха Банерджи, Ромешчондро Дотто и Свами Вивекананды.

Буддизм стал фактором «индианизации» целого ряда народов Центральной Азии, а в период упадка способствовал созданию современного индуизма и индуусского общества – в период, названный историком «реконструкцией» (VI–XI вв. н.э.)⁵⁰. В это время «новый индуизм» завершил работу формирования того, что Дж. Шоркар называет «индуусской цивилизацией» в социальном смысле – пространства, дающего возможность жить и развиваться всем, и потому обладающего «притягательной силой». Усвоив лучшие идеи и практики буддизма, эта цивилизация сумела его преодолеть – «не преследованием и наказанием буддистов, но рождением великих ученых, лучших писателей, благороднейших святых и прекрасных художников, и, кроме того, практикой действенного благочестия и человеколюбия»⁵¹. Здесь историк явно идеализирует историю конфессии, к которой принадлежит по рождению, и воспроизводит общие черты того образа индуизма, что сложился в неоиндуистской мысли, в частности, у Б. Чоттопадхья и Свами Вивекананды. Индуизм пост-буддийского периода («неоиндуизм» в терминологии Дж. Шоркара) предстает как религия, доступная восприятию людей разных уровней религиозного соз-

⁴⁹ Ibid. P. 21.

⁵⁰ Ibid. P. 26-27.

⁵¹ Ibid. P. 37.

нения и сотворенная «великими проповедниками» – Шанкарачарьей, Рамануджей и Чайтаньей⁵².

Несмотря на неспособность пришедших в Индию мусульман «влииться в индусское общество и веру» из-за строгого монотеизма и сознательной дистанции, установленной между ними и индусским населением («правлящая раса жила словно в вооруженном лагере в этой земле»), Дж. Шоркар насчитал десять их даров Индии – чуть меньше, чем дары ариев и буддистов вместе взятых. Это 1) восстановление взаимодействия с внешним миром; 2) установление мира на большей части территории Индии и прекращение междоусобиц; 3) упорядочение администрации; 4) унификация образа жизни и манер среди высших классов безотносительно к вере; 5) индо-сарацинский стиль в искусстве, повлиявший на архитектуру и изящные искусства; 6) общий язык хиндустани и распространение прозы на фарси; 7) взлет литературы на местных языках как результат мира и экономического процветания; 8) монотеистическое религиозное возрождение (revival) и суфизм; 9) историческая литература и 10) усовершенствование военного искусства и цивилизации как таковой⁵³.

Перечисление даров здесь строится по иному принципу: на первом плане – социальные, политические и культурные, а религиозный дар интересен скорее как стимул для проявления критики ортодоксии брахманов и кастовой системы, которая, по мнению Дж. Шоркара, изначально была присуща индуизму⁵⁴, – как и обращение к одному Богу. Мусульманская эпоха неоднородна, с чередованием расцвета и упадка, «темных веков» (как афганский период в Северной Индии) – и просвещенного правления (Акбар и другие Моголы); однако высокая оценка именно культурных достижений мусульманского средневековья подтверждает позиции Дж. Шоркара как объективного и непредвзятого исследователя, который стремится представить положительные уроки прошлого. В частности, индусы с их «несовершенным чувством хронологии» и отсутствием исторического знания вообще стали подражать примеру мусульманских историков и создавать хроники собы-

⁵² См.: Ibid. P. 46-48.

⁵³ Ibid. P. 54-55.

⁵⁴ Ibid. P. 63-64.

тий⁵⁵. Но со временем и мусульманская цивилизация в лице Моголов ослабла в военном и политическом отношении и пришла к социальному и культурному упадку, так что старый порядок «был мертв» на момент английского завоевания.

«Работа англичан в Индии», по Дж. Шоркару, – это модернизация всего континента, и во многом они продолжили начатое мусульманами, но добавили новые мощные силы. «Английское влияние на индийскую жизнь и мысль, которое все еще очень далеко от своего завершения (!), сравнимо только со стимулом, данным древними ариями – по интенсивности и всеобъемлющему характеру»⁵⁶, – заявляет историк. Он назвал пять даров англичан Индии, причем то, что произошло в XIX в., оказалось для историка едва ли не самым главным их даром. Первый – «всеобщий мир и свобода от иностранных вторжений и внутренних междоусобиц» в масштабах всей Индии, второй – восстановление контакта с внешним миром по всем континентам (чего не было при мусульманах): «изолированная жизнь больше невозможна даже для самых удаленных деревень», – заключает историк, явно довольный прекращением изоляции и «самодостаточности» внутри природных барьеров, налаживанием современных средств связи и транспорта⁵⁷ и упорядочением административной системы – третьим даром британской эпохи. Намерения британцев, по мысли Дж. Шоркара, простираются до смешения рас и верований в один гомогенный народ, в «общность жизни и мысли» как «основание национальной целостности» (nationality)⁵⁸, но этот процесс только начался. Четвертый дар англичан – принесенный ими дух прогресса, противоположный восточной пассивности и фатализму. Усвоение духа прогресса лидерами общественных движений Индии, попытки его воплощения на практике и устремленность в будущее вместо поисков золотого века в прошлом Дж. Шоркар отмечает как позитивное действие этого дара. Наконец, «величайшим даром англичан, после всеобщего мира и модернизации общества, и действительно прямым результатом воздействия обеих этих сил, – стал Ренессанс, которым отмечен наш XIX в., – заявляет Дж. Шоркар. –

⁵⁵ Ibid. P. 65.

⁵⁶ Ibid. P. 70.

⁵⁷ Ibid. P. 71-72.

⁵⁸ Ibid. P. 72.

Современная Индия всем обязана ему. Этот ренессанс был первым интеллектуальным пробуждением (awakening)»⁵⁹.

Понимая «ренессанс» в Индии предельно широко, историк приходит к парадоксу, которого сам не замечает: называет его «даром англичан», но в следующей лекции описывает его как движение *внутри индийского общества*. Он говорит о трех поколениях *индийцев* Ренессанса, среди которых первое – интеллектуальное – повлияло на литературу, образование, мысль и искусство; во втором поколении Ренессанс «стал реальной силой и реформировал наше общество и религию»; в третьем – началась *экономическая модернизация Индии*.

Содержательное рассмотрение поколений Ренессанса в лекциях Дж. Шоркара делает очевидным факт интеллектуального пробуждения благодаря английскому образованию в период, названный «временем посева новой Индии» от Корнуоллиса до Бентинка. Историк подчеркивает, что «индийцы (!) ... черпали вдохновение и силу не от Востока, но от Запада. Они приобрели английскую образованность (learning) и тем вооружились для работы в современную эпоху. Они были первыми плодами Индийского Ренессанса, и их пророком был Раммохан Рай»⁶⁰. Ренессанс в Британской Индии, обрисованный в лекции Дж. Шоркара, – это деятельность индийских энтузиастов, которые исполнили «работу веков за несколько десятилетий» в литературе, науке, социальном реформировании, духовных движениях (брахмоизм, неоиндуизм с его порывом служить человеку), а затем начало политического движения, появление Индийского национального конгресса и инициатив М.К. Ганди. Но деятельность эта в трактовке Дж. Шоркара по преимуществу вдохновлена английской культурой, английскими институтами и идеями. Лучшие произведения индийской литературы – «европейские по духу и подходу», однако они «сохраняют тесную связь со всем лучшим, что было в литературе древней Индии»⁶¹. И неоиндуизм назван «всецело плодом английского Ренессанса, работающего в неожиданном направлении» – с благоговением интерпретирующего все индусское. И тактика Конгресса

⁵⁹ Ibid. P. 74.

⁶⁰ Ibid. P. 79.

⁶¹ Ibid. P. 84, 85.

позаимствована у ирландцев⁶²... Концептуально Ренессанс в Индии выглядит как все тот же процесс присвоения, «индианизации» нового, пришедшего от англичан, «духа Англии, одетого в полу-восточный наряд»⁶³, но теперь не англичане «индианизируются», а их дух и институты усваиваются в мысли и жизни индийцев.

Если предшественники Дж. Шоркара были субъектами ренессансных процессов и говорили о перспективах и необходимости возрождения страны, понимаемого как развитие в современном мире, а их оценка эпохи не была включена в контекст истории, то Дж. Шоркар как историк дает абрис и оценку эпохи, которая фактически завершается, уступая место новой. По сути, Дж. Шоркар связывает Индийский Ренессанс с началом эпохи модернизации (Индии требуется экономическое, политическое и военное развитие, так как «ни одна нация не может существовать в современном мире в наши дни, просто развивая свой мозг, без развития экономических ресурсов и военной силы»⁶⁴); эта эпоха пришла благодаря Другим – британцам, но разбудила дух и активность индийцев. И эта эпоха обращает народ в будущее, к формированию независимой политической нации.

Нельзя сказать, что Дж. Шоркар рисует образ истории Индии в сугубо положительных и светлых тонах, хотя и рассматривает прежде всего накопление *позитивного* исторического наследия от древности к современности. Не сосредоточивая внимания на негативных характеристиках индийской жизни и истории, историк отмечает их в контексте попыток их преодоления: склонность к изоляции от внешнего мира – и преодоление ее всё в больших масштабах; склонность социальных групп и слоев к разобщенности и замыканию – и преодоление ее во взаимодействии с Другими и друг с другом; постоянные конфликты и междоусобицы внутри континента – и их прекращение благодаря налаживанию рационального управления; и наконец, восточная пассивность и фатализм – и их оспаривание в современности самим духом прогресса и устремленности в будущее. И в этом – важный итог понимания истории страны: она развивается благодаря *преодолению*, а не кон-

⁶² Ibid. P. 93, 102.

⁶³ Ibid. P. 85.

⁶⁴ Ibid. P. 104-105.

сервации, продвижению в будущее, а не мечтам о прошлом, усложнению и интеграции, а не упрощению и разобщенности.

Свои лекции Дж. Шоркар подытожил словами об уроке индийской истории. Индийцам требуется усвоить дух прогресса, прекратить уповать на мудрость предков и вечно подчеркивать значение арийской Индии. Поскольку весь ход эволюции являет собой постоянное усвоение нового, «современная индийская цивилизация – это составной и ежедневно растущий результат, а не мумия, хранящаяся в сухих песках четыре тысячи лет»⁶⁵. Чтобы жить в современности, Индии требуется быть экономически и социально развитой и взаимодействовать с миром. Подчеркивая позитивность выхода из состояния изоляции и тупиковый характер упования на прошлое, Дж. Шоркар оспаривает набирающую силу в Индии религиозно-националистическую идеологию индусских экстремистов, конструирующих мифы о древнем величии и золотом веке индусов.

Историческое сознание, воплощенное в концепции Дж. Шоркара, построено на представлении о прогрессивном развитии Индии от древности к современности, которое приносит из века в век новые достижения в сфере мысли, социальной жизни и культуре – и эти достижения значимы как для самих жителей страны, так и для внешнего мира. Такое понимание истории вырастает из *приятия современности* (Modernity) как блага – несмотря на объективные ее противоречия и сложности, которых достаточно и в других периодах истории страны. Это приятие современности Дж. Шоркар воспринимает от лучших умов Бенгальского Возрождения, которые неизменно критиковали традиционализм. Поэтому историк антитрадиционалистски ориентирован – он не ищет в прошлом образцов и ценностей, подлежащих реставрации, а периоды изоляции Индии от внешнего мира связывает с упадком культуры. Его образ индийской истории секулярен – религия и религиозная принадлежность групп и классов не выступает детерминантом развития или упадка, случающихся в любой эпохе. И поэтому история страны – это *история индийцев*, из века в век идущих к культурно-цивилизационной общности и строящих ее своими стараниями, история их жизни и мысли. Более того, это

⁶⁵ Ibid. P. 105.

история, создаваемая приходящими в Индию Другими, – и потому важно наследие *всех* ее эпох.

Исторический опыт взаимодействия с Другими в этом образе индийской истории – положительный, поскольку благодаря «дарам» Индии от Других происходит накопление нового, дающее импульсы к развитию. Зная обо всех перипетиях и трагедиях реальной истории, историк предложил современникам хранить в исторической памяти прежде всего *лучшее*, что дали Другие стране, – взамен практикуемого экстремистами поиска в далеком прошлом обид и ущерба, якобы нанесенных и по сей день требующих возмещения⁶⁶. Главный смысл индийской истории Дж. Шоркар увидел в том, что она развивается через усвоение нового, которому *всегда есть место* на индийской земле, – наряду с богатым наследием других эпох. Такое понимание смысла и хода индийской истории стало итогом исторических размышлений интеллектуалов Бенгальского Возрождения; и в начале XXI века оно служит альтернативой историческим мифам и идеологемам индуcского национализма.

⁶⁶ См.: *Setalwad Teesta*. Historian and Truth-teller: Jadunath Sarkar has not got his due as he was attacked by both Left and Right // The Indian Express. 2016. December 10. URL: <http://indianexpress.com/article/opinion/columns/jadunath-sarkar-birth-anniversary-left-right-kolkata-politics-government-historian-and-truth-teller-4419486/> (дата обращения – 25.01.2017).

Т.М. Гавристова

**АФРИКА И «ДЕТИ ГЕРОДОТА»:
СТЕНОГРАММА ПАМЯТИ ПОКОЛЕНИЙ***

«Дети Геродота» – так называлась лекция нигерийского писателя, поэта, драматурга, публициста Воле Шойинки, первым из африканцев удостоенного в 1986 году Нобелевской премии в области литературы. Лекция была прочитана на открытии международной конференции («Шойинковские чтения») в феврале 2012 года в Университете Южной Африки (UNISA) – одном из самых современных и престижных университетов континента. Многогранность ее смысла открывала перед присутствующими на форуме исследователями (среди них была и автор данной статьи) необъятное поле деятельности, направленной на изучение и тиражирование истории Африки, которая еще сравнительно недавно на обывательском и академическом уровнях рассматривалась как континент «без истории». Об Африке не упоминали в авторитетных комплексных научных и учебных изданиях, посвященных глобальным проблемам и процессам всемирной истории. Ее практически не было «видно» в энциклопедиях и справочниках. В немногочисленных многотомных трудах, написанных преимущественно в традициях евроцентризма, упоминалось разве что об ее «открытии» европейцами, торговле рабами, колониальной системе империализма и варварстве чернокожих «дикарей». Вплоть до настоящего времени стереотипы в отношении Африки (и африканцев) не развенчаны. По мнению В. Шойинки, сделать это должны «дети Геродота», продолжатели традиций, заложенных «отцом истории».

Заслуги Геродота (480-420 гг. до н.э.) многогранны. В обществе, где исторические знания базировались на устной традиции и выживали благодаря коллективной памяти, где, по весьма приблизительным оценкам современных исследователей, всего 10 % населения обладали азами грамотности, то есть умели читать и писать, он, зафиксировав существующую информацию письменно, сохранил ее таким образом для многих поколений читателей, соз-

* Статья написана при финансовой поддержке РГНФ в рамках научного проекта № 16-31-00025 «Современная история Тропической Африки (опыт классификации источников)».

дав новый жанр повествовательной историографии, синтезировав эпос и хронику, логику и эмоцию, не избежав, как принято считать, ни эгоцентризма, ни мифотворчества.

«Пробуждение» Африки, которую веками считали мировой периферией, обретение ею независимости стало началом новой эпохи со своими – вполне аутентичными – «местами памяти»¹, памятными датами, и, конечно, Героями (с большой буквы). Политические и государственные деятели – образованные и ангажированные – возложили на себя миссию фиксации истории. В условиях едва ли не поголовной неграмотности именно им предстояло написать о своей жизни, о пути, ведущем к свободе. Таков был посыл. Оставалось только, чтобы их услышали: в Африке второй половины XX века все еще довели традиции устной передачи знаний.

Пионером мемуарного жанра стал Кваме Нкрума (1909–1972 гг.), первый премьер-министр (1957–1960 гг.) и первый президент (1960–1966 гг.) независимой Ганы, философ, интеллектуал, автор книги с характерным названием «Гана: автобиография Кваме Нкрумы»². К. Нкрума признавал себя творцом истории: благодаря ему британская колония Золотой Берег после освобождения обрела аутентичное название – Гана. Для миллионов людей его собственное имя и имя страны воспринимались если не как синонимы, то как две части единого целого. Осваивая риторику и стилистику грядущей эпохи (книга была написана и вышла в свет незадолго до провозглашения независимости), К. Нкрума преодолел (прежде всего для самого себя) множество стереотипов в восприятии Африки, соединив модерн и архаику, хронотоп испытания и авантюрного романа, биографический хронотоп.

Время в книге сгущается в хронотопе «порога» (кризиса, перелома). Чтобы осуществить выход в «биографическое время», протекающее с нормальной длительностью, автор совершает прорыв в будущее. Он апеллирует к молодежи, отдавая дань идеям модернизации и гуманизма, повествуя об Африке, Лондоне, где

¹ Нора П. Проблематика мест памяти // Франция-память / П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пюимеж, М. Винок. СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1999. С. 17–50.

² *Nkrumah K. Ghana: Autobiography of Kwame Nkrumah*. N.-Y.: 2001. 256 p.; Кваме Нкрума. Автобиография / Пер. с англ. М.: Издательство иностранной литературы, 1961. 286 с.

пережил «духовную эмансипацию» и «почувствовал себя как дома», о педагогах, у которых учился; о США и Линкольнском университете, предназначенном для обучения чернокожих; о панафриканизме и поисках идентичности³.

Место К. Нкрумы (с его мечтой о создании Соединенных Штатов Африки) в истории Ганы схоже с ролью Джорджа Вашингтона в истории США и генерала де Голля – в истории Франции. Амбициозный и субъективный политик, Нкрума хотел единолично управлять страной. Осагиефо (Спаситель – так его звали на языке акан), мессия, призванный освободить Африку от пут колониализма, кумир молодежи, тиран, опасющийся конкурентов и страдающий от собственной изоляции, философ, христианин, увлеченный идеями К. Маркса, на исходе жизни любил повторять, что в юности хотел стать священником, а стал президентом⁴. Он привел Гану к независимости, но, как подметил профессор Гарвардского университета Кваме Энтони Аппиа (сын близкого друга К. Нкрумы), не сделал народ счастливым и не обрел счастья сам. Будучи наблюдательным ребенком, К.Э. Аппиа, знавший К. Нкруму лично, не раз видел президента утомленным работой и бессонницей. В книге «В доме отца моего...» он (в границах культурной антропологии) подверг обстоятельному анализу годы детства, вспоминая, как в канун Рождества в течение многих лет К. Нкрума приходил к ним в дом и неизменно дарил детям календарь с изображением королевы Елизаветы Второй, главы и символа Содружества наций. Возможно, уже тогда он был разочарован происходящим в стране и на континенте⁵.

Насколько объективна и реальна изложенная К. Нкрумой история? Известно, что он стремился писать правду, избегая искажений, не допуская фальсификации, однако намеренно опустил некоторые имена и сюжеты по разным причинам. Из-за политических разногласий он ни разу не упомянул имени своего соратника и друга Джозефа Эммануэля Аппиа (1918–1990 гг.) – автора «Авто-

³ *Кваме Нкрума. Автобиография.* С. 46-47, 52.

⁴ *Mazrui A., Tidy M. Nationalism and new States in Africa: From about 1935 to the Present.* L.: Heinemann, 1984. P. 65.

⁵ *Appiah K.A. In My Father's House: Africa in the Philosophy of Culture.* N.-Y.: Oxford University Press, 1992. 225 p.

биографии африканского патриота» (1990 г.)⁶. Их конфликт достиг апогея к 1960-м: в октябре 1961 года Дж. Аппиа был обвинен в участии в политическом заговоре. Современниками и исследователями были замечены и другие купюры, хотя в целом автобиографию К. Нкрумы принято рассматривать как достоверный источник. Выход ее в свет открыл новую страницу в персональной истории Африки – африканец обрел право голоса, а вместе с ним и свободу слова.

В первые десятилетия независимости на фоне африканизации госаппарата и сферы образования, во многом благодаря выдающимся африканцам, круг которых невелик, но заслуги огромны, началось оживление интереса к прошлому – к исторической памяти. Возник афроцентризм – намерение переписать историю Африки по-африкански⁷. Задача более или менее объективной ее реконструкции и репрезентации требовала активности образованных африканцев, которые охотно включились в процесс написания мемуаров. Во второй половине XX века вышли в свет сотни историй, вызвавших большой резонанс.

В Нигерии, крупнейшей по численности населения стране континента (ее называют «Африкой в миниатюре» из-за концентрации едва ли не всех африканских проблем политического, экономического, социального, культурного, регионального характера), написанием мемуаров, как и всюду, занялись представители политической и интеллектуальной элиты. Одни рано осознали свою миссию могильщиков колониализма и стремились монополизировать право именовать себя освободителями. Другие – «сердитые молодые люди», идеалисты-романтики, опоздавшие к «раздаче» министерских портфелей в первые годы независимости, – видели задачу в том, чтобы пробудить Африку к лучшей жизни, открыть ее для окружающего мира, доказать, что у континента есть своя история и культура и они являются частью мировой.

В 1960 году вышла в свет автобиография Обафеми Аволова (1909–1987 гг.). В книге «Аво: автобиография вождя Обафеми

⁶ Appiah J. The Autobiography of an African Patriot. L., N.Y.: Praeger, 1990. XXIV, 374 p.

⁷ Хохолькова Н.Е. Молефи Кете Асанте: как Африка «цивилизовала» весь мир // Вестник Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова. Серия Гуманитарные науки. 2014. № 4. С. 19-22.

Аволово»⁸ он подробно изложил свои представления о федерализме, считая его наиболее подходящей формой правления для Нигерии. Аво – известный политический деятель, по этнической принадлежности йоруба. В Нигерии, волею судеб, ему всегда была уготована роль «второй скрипки». В начале 1960-х годов он находился в оппозиции правящему режиму, в 1962 году был незаконно осужден (на 10 лет) за участие в попытке переворота, освобожден после прихода к власти военных (1966 г.); занимал пост министра финансов в федеральном правительстве в период президентства Якубу Говона (1966–1975 гг.); после восстановления гражданского правления создал Объединенную партию Нигерии и дважды (безуспешно) баллотировался на пост президента (1979, 1982 гг.). Наряду с политической деятельностью он занимался организацией университетского образования (университет в Эль-Ифе, созданный в 1961 году, считается его «детисцем» и с 1987 года носит его имя) и – весьма успешно – издательским делом.

О. Аволово обладал незаурядным даром публициста и оратора. Его первая книга воспоминаний «Путь к нигерийской свободе»⁹ вышла в свет в 1947 году, за ней последовали другие. Мемуары отличает взвешенность авторской позиции, стремление к объективности, соблюдение хронологии событий, точность в датах и деталях. По форме и стилистике они представляли собой «публичный апологетический отчет о своей жизни»¹⁰, впрочем, как и воспоминания других политических деятелей.

Первый президент Нигерии (1963–1966 гг.), поэт, журналист, Бенджамин Ннамди Азикиве (1904–1996 гг.), Зик, основоположник нигерийского национализма (зикизма), автор очерков, памфлетов, стихов, по словам нигерийского исследователя Г. Олусанья, «как никто другой способствовал <...> политическому пробуждению народа. Его прямолинейные, напористые, порой скандальные статьи, как и вся руководимая им пропагандистская машина, будоражили сознание нигерийцев. Такой же эффект име-

⁸ Awo – Autobiography of Chief Obafemi Awolowo. Cambridge University Press, 1960. 316 p.

⁹ Awolowo O. Path to Nigerian Freedom. L.: Faber & Faber, 1947. 137 p.

¹⁰ Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике // Сайт «Poetica». URL: <http://philologos.narod.ru/bakhtin/hronotop/hronotop3.html> (дата обращения – 16.04.2017).

ли и его выступления на митингах и собраниях, где он нападал на колониальные институты, говорил о комплексе неполноценности, присущем африканцам, знакомил своих слушателей с достижениями негроидной расы в различных областях человеческой деятельности. Азикиве помогал нигерийцам обрести чувство собственного достоинства, проникнуться гордостью за свою расу, что было основным источником, питавшим национализм¹¹. В 1971 году Зик опубликовал автобиографию под названием «Моя Одиссея»¹², где тщательно проанализировал время своего становления как политика, когда он занимал должности в регионе Восточной Нигерии, период своего президентства.

Книга начинается с истории города Онича, где прошло его детство. Н. Азикиве подробно описал родословную, семью, среду, в которой вырос, традиции народа игбо. Как ранее К. Нкрума и О. Аволово, он не оставил без внимания ни религиозные искания (он сменил англиканство на католичество; за возвращением в англиканскую церковь последовал переход к методистам, потом к баптистам и обратно к методистам), ни столкновения с расовой дискриминацией. Большое влияние на него оказало знакомство с трудами М. Гарвея и проповедями Дж. Аггрея; за ними пришло осознание несправедливости колониального режима, надежды на возрождение Африки. Атмосфера Говардского и Линкольнского университетов, где он учился, привела его, как позднее К. Нкруму, к мысли о необходимости возглавить движение за независимость.

Зик стремился, чтобы с его книгой (с помощью радио – наиболее распространенного средства массовой информации в Африке вплоть до конца XX века) познакомилось как можно больше людей. Однако к моменту ее выхода в свет он сознавал, что время ушло, и, уповая на будущее, призывал молодежь добиваться своего, дабы оставить след в мировой истории.

Воспоминания мусульманской политической элиты в Нигерии представлены ангажированной в академической и читательской среде книгой «Моя жизнь» Ахмаду Белло (1962 г.)¹³. Ахмаду

¹¹ Глущенко Е.А. Первая республика в Нигерии. М.: Наука, Изд-во восточной литературы, 1983. С. 55.

¹² Azikiwe N. My Odyssey: An Autobiography. N.-Y.: Praeger, 1971. 452 p.

¹³ Bello Ah. My Life. The Sardauna of Sokoto. Cambridge: Cambridge University Press, 1962. 245 p.

Белло (1910–1966 гг.) – Сардауна Сокото, первый и единственный премьер Северной Нигерии (1954–1966 гг.), один из «отцов» независимости (участник переговоров о независимости Нигерии), кавалер ордена Британской империи (1959 г.), правнук Мухаммаду Белло (1781–1837 гг.), мусульманского просветителя и писателя, по этнической принадлежности фульбе, получил классическое мусульманское образование и профессию учителя. В 1938 году он едва не стал султаном Сокото, в силу молодости уступив сэру Абубакару Сиддику III, который правил полвека (до 1988 г.). Султан сразу даровал бывшему конкуренту титул Сардауны (военачальника) и приблизил к трону, сделав главным политическим советником. В 1950-х А. Белло прошел курс обучения в Англии; в 1955 году совершил хадж в Мекку и стал именоваться альхаджи. В Нигерии он обрел репутацию добродетельного человека, его считали образцом толерантности и благородства. Отстаивая региональные интересы, Сардауна считал себя сторонником единой и неделимой Нигерии. Вплоть до настоящего времени многие нигерийцы обвиняют радикально настроенных игбо в его преждевременной гибели, считая, что она спровоцировала разжигание кровопролитной гражданской войны 1967–1970 гг.

История жизни А. Белло вместила в себя незаслуженные обвинения в мошенничестве и успехи в модернизации образования. Его любимое детище – университет в Зарии (1962 г.) – в настоящее время носит его имя. А. Белло был его первым вице-канцлером и присутствовал на церемонии открытия. Как Н. Азикиве и О. Аволово, он немало сделал ради «спасения нации» и жил в надежде быть услышанным. В книге воспоминаний, анализируя свои действия и поступки, он пытался восстановить правду и справедливость, оправдать себя, примирить прошлое и настоящее.

Борцов за независимость в Африке и Нигерии всегда окружал ореол святости. Образы кумиров – К. Нкрумы, Н. Азикиве, О. Аволово – со временем подверглись мифологизации. Их истории передавались из уст в уста, обрастая множеством слухов, что нередко ставило в тупик исследователей, задававшихся вопросом о том, где правда, а где – вымысел. Зафиксированные письменно воспоминания облегчали задачу. Однако до настоящего времени чрезвычайно сложно ответить на вопрос, что по сути они представляли собой, с какими отраслями гуманитарного знания они

входят в соприкосновение? Литература ли это, история, биография или некий мегажанр (типичный продукт XX века), разновидность коммуникативной интенции, направленной на репрезентацию письменной истории в обществе, где все еще сильна устная традиция?

Границы истории, социальной и культурной антропологии, философии, филологии вплоть до конца XX века в Африке оставались размытыми по разным причинам – из-за недостаточного развития инфраструктуры науки, дефицита научных кадров, из-за аморфности и недиверсифицированности знаний и неопределенности самого изучаемого предмета – Африки. Комплекс гуманитарных наук, импортированный на континент извне, развивался во взаимосвязи с государственной стратегией, подвергаясь африканизации в условиях патриотического подъема и универсализации в условиях глобализации. Писатели позиционировали себя как историки, политики – как философы, те и другие – как педагоги, наставники, пророки, носители высокой миссии спасения, пробуждения и просвещения народа. Слово «миссия» многократно повторяется в воспоминаниях. Из-под пера африканцев выходили настоящие «мемуары воспитания». Однако более всего они тяготеют к истории, к историческому рассказу, к эго-истории.

В рамках одной статьи сложно охватить все многообразие воспоминаний, опубликованных за период независимости (более полувека!). Структурировать их не менее сложно. Развитие образования на континенте способствовало их эмиссии. В современных условиях своеобразного мемуарного «бума» они в наибольшей мере нацелены на ликвидацию «белых пятен» в истории. Наряду с обретением суверенитета, вызвавшим волну «афрооптимизма», становлению жанра способствовали трагические события, имевшие большой резонанс: гражданская война в Нигерии (1967–1970 гг.), геноцид в Руанде (1994 г.), борьба против апартеида (1948–1994 гг.) и его последствий, добровольное и вынужденное изгнание, тюремное заключение, диссидентство.

В числе авторов всемирно известные люди: лауреаты Нобелевской премии (Воле Шойинка¹⁴, Нельсон Мандела¹⁵, Вангари

¹⁴ Воле Шойинка (родился в 1934 г.) – нигерийский писатель, драматург, публицист; лауреат Нобелевской премии в области литературы (1986 г.).

Маатаи¹⁶), писатели (Чинуа Ачебе¹⁷, Нгуи Ва Тхионго¹⁸; Крис Абани¹⁹, Аминатта Форна²⁰, Грейс Огот²¹, Биньяванга Вайнайна²²,

¹⁵ Нельсон Мандела (1918–2013 гг.) – борец против апартеида, президент ЮАР (1994–1999 гг.), лауреат Нобелевской премии мира (1993 г.). Книга его воспоминаний «Долгий путь к свободе» (1994 г.) была экранизирована (2013 г.; совместное производство Великобритании, ЮАР) английским режиссером Джастином Чедвиком.

¹⁶ Вангари Маатаи (1940–2011 гг.) – эколог, биолог; основатель движения «Зеленый пояс» (1977 г.); лауреат Нобелевской премии мира (2004 г.); автор книги воспоминаний «Непокоренная». См.: *Maathai W. Unbowed: A Memoir*. N.-Y.: Knopf Publishing Group, 2006. 352 p.

¹⁷ Чинуа Ачебе (1930–2012 гг.) – нигерийский писатель, стоявший у истоков современной литературно-художественной традиции в Нигерии и Африке; автор ряда воспоминаний. См., например: *Achebe Ch. There Was a Country: A Personal History of Biafra*. L.: Penguin Books, 2013. 352 p.

¹⁸ Нгуи Ва Тхионго – Джеймс Нгуи (родился в 1938 г.) – кенийский писатель, публицист, драматург; автор серии воспоминаний. См., например: *Ngũgĩ wa Thiong'o. Dreams in a Time of War: a Childhood Memoir*. L.: Harvill Secker, 2010. 256 p.; *Ngũgĩ wa Thiong'o. In the House of the Interpreter: A Memoir*. N.-Y.: Pantheon (Random House, Inc), 2012. 246 p.; *Ngũgĩ wa Thiong'o. Birth of a Dream Weaver: A Memoir of a Writer's Awakening*. N.-Y.: New Press, 2016. 240 p.

¹⁹ Крис (Кристофер) Абани (родился в 1966 г.) – писатель, поэт, музыкант; родился от смешанного брака (мать – англичанка, отец – игбо); постоянно живет в США; причисляет себя к новому поколению африканских писателей, «миссия которых заключается в том, чтобы передать англоязычной читательской аудитории опыт тех, кто вырос в этой беспокойной Африке»; автор книги воспоминаний «Картография пустоты». См.: *Abani Ch. The Face: Cartography of the Void*. 2016 // Сайт «Restless Books». URL: <http://www.restlessbooks.com/bookstore/the-face-abani> (дата обращения – 20.04.2017).

²⁰ Аминатта Форна (родилась в Великобритании в 1964 году) – афро-шотландская писательница, преподает в университетах Великобритании и США; постоянно живет в Лондоне; входит в художественный совет Королевского национального театра. Ее автобиография «Дьявол, что танцует на воде: странствия дочери» (2002 г.) стала бестселлером. См.: *Forna A. The Devil That Danced on the Water: A Daughter's Quest*. N.-Y.: Grove Press, 2002. 223 p.

²¹ Грейс Огот (1930–2015 гг.) – кенийская писательница, в 1960-х начала писать рассказы и сценарии, занялась политикой, была избрана в парламент; автор воспоминаний «Дни моей жизни». См.: *Ogot G. Days of My Life*. Kisumu, Kenya: Anyange Press Ltd., 2012. V, 325 p.

²² Биньяванга Вайнайна (родился в 1971 г.) – кенийский писатель, журналист; по мнению журнала «Time», один из 100 наиболее влиятель-

Бесси Хед²³), государственные и политические деятели разного уровня (К. Нкрума²⁴, Л. Сенгор²⁵, Томас Исидор Ноэль Шанкара – «Африканский Че Гевара»²⁶; Кветт Кетумиле Мазире – президент Ботсваны (1980–1998 гг.); ученые (Б. Огот²⁷, Тойин Фалола²⁸); музыканты (Ману Дибанго²⁹); мужчины и женщины, родившиеся в колониальный и постколониальный период; представители традиционной знати (Мутеса II³⁰, Элизабет Торо³¹). Их воспоминания, с

ных африканцев современности; автор книги воспоминаний «Однажды я напишу об этом месте». См.: *Wainaina B. One Day I Will Write About This Place: Memoir*. Minnesota: Graywolf Press, 2011. 272 p.

²³ Бесси Хед, урожденная Бесси Амелия Эмери (1937–1986 гг.) – южноафриканская писательница; писала на английском языке. Ее автобиографическая книга «Женщина в одиночку» (1990 г.) вышла в свет после ее смерти.

²⁴ Кваме Нкрума (1909–1972 гг.) – первый премьер-министр (1957–1960 гг.), первый президент (1960–1966 гг.) независимой Ганы.

²⁵ Леопольд Сенгор (1906–2001 гг.) – поэт, философ, переводчик, первый президент Сенегала (1960–1980 гг.); участник Второй мировой войны и движения Сопротивления; депутат Конституционной (1945–1946 гг.) и Национальной Ассамблеи Франции (1946–1955 гг.); первым из африканцев удостоен в 1984 году чести стать членом Французской академии (кресло номер 16). Л. Сенгор на протяжении более полувека, согласно опросам, считался одним из самых знаменитых африканцев в Африке и мире; автор книги воспоминаний «То, во что я верю: негритуд, французская идентичность и универсальная цивилизация». См.: *Senghor L.S. Ce que je crois: négritude, francité et civilisation de l'universel*. P.: Grasset, 1988. 234 p.

²⁶ Томас Исидор Ноэль Шанкара (1949–1987 гг.) – лидер революционного движения Буркина-Фасо, сочувствующий марксизму и panaфриканизму; президент Буркина-Фасо (1983–1987 гг.).

²⁷ Бетвел Алан Огот (родился в 1929 г.) – кенийский историк; сфера его интересов – колониальная и постколониальная история Африки; один из организаторов современной системы университетского образования и науки в Кении; автор книги «Мои следы в песках времени». См.: *Ogot B.A. My Footprints in the Sands of Time: An Autobiography*. Bloomington: Trafford Publishing, 2006. 552 p.

²⁸ Тойин Фалола (родился в 1953 году) – нигерийский историк, профессор, постоянно живет и работает в США; сфера его интересов – история Нигерии, история Африки; история Америки; автор книги воспоминаний «Уста слаще соли». См.: *Falola T. A Mouth Sweeter than Salt: An African Memoir*. University of Michigan Press, 2004. 288 p.

²⁹ Ману Дибанго (родился в 1933 г.) – камерунский музыкант, композитор.

³⁰ Сэр Эдуард Мутеса II (1924–1969 гг.) – 35-й кабака Буганды, первый президент Уганды (1963–1966 гг.).

одной стороны, можно рассматривать как разновидность «реальных историй» – одного из самых востребованных исследователями жанров современной мемуарной литературы, а с другой – как эго-истории, всегда связанные с поиском корней.

У каждого автора не только своя история, но и свои силуэты времени. В Африке в силу особой связи с этносом (родом, кланом) личные истории неразрывно связаны с историей страны и континента. Кроме того, очевидна и их сопричастность традициям устной истории. Африканцы нередко именуют себя рассказчиками и, декларируя объективность и подлинность, фиксируют письменно результат многократного осмысления и переосмысления увиденного и услышанного, прочитанного и многократно пересказанного в надежде быть понятыми современниками и потомками, в расчете на то, чтобы аккумулировать, синтезировать, систематизировать и, в конечном счете, приумножить знания о континенте и его людях.

Дуайеном в данной области выступил Воле Шойинка, поэт, писатель, драматург, создатель современной нигерийской публицистики невероятной остроты и силы. К сожалению, ни одно из его произведений в жанре non-fiction не переведено на русский язык³². В традициях художественной автобиографии выдержана его удивительная по умонастроению трилогия: «Аке: годы детства»³³, «Исара»³⁴ и «Ибадан»³⁵ – о семье и друзьях, о мудрой дея-

³¹ Принцесса Элизабет Торо (родилась в 1936 г.) – Батебе королевства Торо (Уганда); юрист, политик, дипломат, модель, актриса; первая женщина восточноафриканского происхождения, ставшая членом Британской коллегии адвокатов; по отцовской линии тетка нынешнего короля Торо Рукиди IV; в 1974 г. занимала пост министра иностранных дел, представляла Уганду в ООН.

³² Подр. см.: Гавристова Т.М. Воле Шойинка: Story или History? (к вопросу о становлении жанра non-fiction в Африке) // Вестник ЯрГУ им. П.Г. Демидова. Серия Гуманитарные науки. 2016. № 3. С. 5-10; Гавристова Т.М. Литературно-художественные мемуары Нигерии: время, люди, судьбы // История, память, идентичность. Теоретические основания и исследовательские практики. Материалы международной научной конференции. Москва. 3-4 октября 2016. М.: ИВИ РАН, «Аквилон», 2016. С. 87-89.

³³ «Аке: годы детства» – первая и единственная часть трилогии, изданная в переводе на русский язык. См.: Шойинка В. Аке: годы детства // Шойинка В. Избранное. М.: Радуга, 1987. С. 231-437.

³⁴ Soyinka W. Isara: A Voyage around "Essay". L.-N.-Y.: Vintage, 1991. 262 p.

тельной матери и отце – директоре школы, об Абеокуте и Исаре, Ибаданском университетском колледже – первом высшем учебном заведении Нигерии, где практически одновременно обучалась целая плеяда поэтов, писателей, публицистов. С их именами связано рождение современной нигерийской литературы, продолжающей традиции английской, французской, немецкой, русской классики.

Нельзя не согласиться с Л.П. Репиной, что «биографии известных людей <...> – в форме морального наставления или каталога подвигов, адвокатской речи или обвинительного приговора, наградного листа или заключения психиатра, помимо прочего, всегда служат своеобразным зеркалом (вопрос о степени его „кривизны“ без устали дебатруется), глядя в которое читатель может многое узнать и о себе»³⁶. Кроме того, это лучшие в мире учебники.

В. Шойинка в книге «Из Африки» объяснял истоки своего интереса к истории. Ему важно было понять, откуда такое отношение к Африке – как к аутсайдеру, хотя, по его мнению, любой континент – это неотъемлемая часть мирового пространства, существующая с ним в едином ритме. Писателю требовалось противостоять и тем, кто считал, что у Африки и африканцев нет своей истории и культуры, и афроцентристам с их безосновательными эскападами по поводу того, что «Африка „цивилизovala“ весь мир»³⁷. В своих мемуарах «Человек умер»³⁸ (1972 г.), «Бремя Памяти, Муза Забвения» (1999 г.)³⁹; «Вы должны выступить на рассвете» (2008 г.)⁴⁰; «Из Африки» (2012 г.) и других он легко переходит от бытописания к анализу прочитанного, рисует портреты разных людей, заставляет читателя задуматься о происходящем.

³⁵ Soyinka W. Ibadan, The Penkelemes Years. A Memoirs. 1945–1967. L.: Methuen Publishing Ltd, 2000. 397 p.

³⁶ Репина Л.П. Личность и общество, или История в биографиях (вместо предисловия) // История через личность: историческая биография сегодня / под ред. Л.П. Репиной. М., 2005. С. 5–6.

³⁷ Soyinka W. Of Africa. L.: Yale Univ. Press & New Heaven, 2012. 199 p.

³⁸ Soyinka W. The Man Died. Prison Notes of Wole Soyinka. L.: Rex Collings, 1972. 315 p.

³⁹ Soyinka W. The Burden of Memory, the Muse of Forgiveness. N.-Y., Oxford: Oxford University Press, 1999. IX, 208 p.

⁴⁰ Soyinka W. You Must Set Forth at Dawn. A Memoirs. N.-Y.: Ransom House, 2008. XX, 411 (408) p.

Ощущение Африки, времени и себя во времени у всех авторов – в силу возраста, происхождения, образования – разное. Даже в среде писателей, принадлежащих к одному этносу – игбо, одни тяготели к модерну (Ч. Ачебе, Бучи Эмечета⁴¹, Чимаманда Нгози Адичи⁴²), другие – к постмодерну (К. Абани), в равной мере используя элементы дидактики, кодирования, игры. Правда, там, где Ч. Ачебе проявлял себя как ментор – Учитель (с большой буквы), Б. Эмечета воспитывала по-матерински (на собственном примере), Ч.Н. Адичи иронизировала, посмеиваясь, К. Абани лицедействовал. Разнообразие репрезентаций (разные люди, разные судьбы): рассказы о детстве и юности, становлении личности, соратниках и соперниках, победах и поражениях – было рассчитано на то, чтобы донести до читательской аудитории правду, завоевать доверие и, в конечном счете, развеять стереотипы. Искажение, но чаще сокрытие информации имело место в воспоминаниях в силу субъективности высказываемых взглядов и точек зрения и из-за того, что авторы не желали осквернить собственную или чью-то еще репутацию. Читатели в идеале должны были соучаствовать, сочувствовать, сопереживать, сострадать автору, рассчитывающему на интерактивное общение. Им надлежало увидеть себя, свое прошлое, настоящее и будущее (неразрывная триада в представлении африканцев) в произведении, где писатель одновременно являлся автором и героем, и не просто вспоминать, а вспоминать сообща: в формировании исторической памяти (памяти поколений) литераторы видели свое предназначение.

Для Ч. Ачебе и Ч.Н. Адичи, едва ли не самой известной ныне нигерийской писательницы и одной из самых влиятельных женщин континента, гражданская война в Нигерии, создание сепаратистского государства Биафра и геноцид игбо – едва ли не главные темы. Несмотря на сорокасемилетнюю разницу в возрасте, разли-

⁴¹ Бучи Эмечета (родилась в 1944 году) – нигерийская писательница; с 18 лет постоянно живет в Лондоне, автор романов, рассказов, стихов для детей; ей принадлежит книга воспоминаний «На плаву». См.: *Emecheta B. Head About Water. An Autobiography*. L.: Heinemann, 1988. 229 p.

⁴² Чимаманда Нгози Адичи (родилась в 1977 г.) – писательница; постоянно живет в США, работает в США и Нигерии; автор романов и рассказов; в 2011 году на русский язык переведен ее роман «Половина желтого солнца» о гражданской войне 1967–1970 гг. в Нигерии. Экранизация романа имела большой резонанс.

чий в формализации объекта воспоминаний и трактовке событий у них немного. Оба считают персонификацию истории путеводной звездой в процессе создания произведений.

Ч. Ачебе, отличный рассказчик, выдерживает последовательность описываемых событий, давая обстоятельную характеристику участвующих в разжигании конфликта людей, пытаясь быть объективным. Лидер сепаратистов Чуквуэмека Одумегву Оджукву (1933-2011 гг.) и президент Нигерии (1966-1975 гг.) Якубу Гавон в глазах писателя – амбициозные мальчишки, не имеющие никакого политического опыта, не умеющие договариваться и презревшие рекомендации экспертов: упущенные ими возможности урегулирования конфликта привели к кровавой резне и геноциду игбо. В книге «Была страна: персональная история Биафры»⁴³ Ч. Ачебе подробно описал последние месяцы жизни своего друга, известного поэта Кристофера Окигбо (1930-1967 гг.). Вместе они пытались создать издательство в Энугу, сочиняли манифесты в защиту Биафры. Спустя десятилетия Ч. Ачебе блестяще воссоздал интеллектуальную атмосферу тех лет, подчеркивая, что многие искренне верили в возможность общественно-политической, экономической, культурной модернизации, возрождения (на основе слияния традиционных установок игбо с идеями американского либерализма и европейского социализма). Не оставил он без внимания и период, когда был «послом доброй воли» республики Биафра в Европе и Канаде и когда прозрел, осознав просчеты и ошибки.

Описание хроники «ненормальных времен»⁴⁴ – так Ч. Ачебе называл период гражданской войны – перемежается стихотворными вкраплениями, которые представлены в завершение каждого сюжета. Поэтические зарисовки (на написание романов времени не было) повествовательны и содержат образы коллективной памяти (кровь, смерть, страх, разрывы снарядов, крик, плач). Известное на весь мир стихотворение «Беженцы»⁴⁵ призвано заставить читателя понять, что война не должна повториться.

Никакая «Мадонна с младенцем» не могла бы
сравниться в нежности с матерью,
не отрывавшей взора от умиравшего сына.

⁴³ *Achebe Ch. There Was a Country.*

⁴⁴ *Вольпе М.Л.* Чинуа Ачебе. М.: Наука, 1984. С. 155.

⁴⁵ В оригинале стихотворение называется «Беженцы: мать и дитя».

Воздух насквозь пропах диареей,
терзавшей немых детей
с оскалившимися ребрами и высохшими
кишками, что исходили в мучительных спазмах
под желудками, продутыми пустотой. Почти
все матери уже перестали заботиться о своих
детях, но только не эта; между
ее зубами застряло подобие улыбки,
в глазах застыла тень материнской
гордости, когда она принялась расчесывать
волосы ржавого цвета, а потом
разделять их тщательно на пробор,
и по глазам ее было видно,
что она беззвучно поет сыну песню...
В другой жизни
это было бы каждодневным утренним ритуалом
перед завтраком и уходом ребенка
в школу – а сейчас
она словно укладывала цветы
на маленькую могилку⁴⁶.

Страницы книги пронизаны болью утрат⁴⁷. Потрясением для писателя стала гибель матери (Жанет Анаенечи Ачебе) и ушедшего на фронт К. Окигбо. Описание ужасов нагнетает атмосферу страха: блокада; голод; квашиоркор⁴⁸; психозы; грифы – предвестники смерти – над головами людей в лагерях беженцев. Так Ч. Ачебе, мастер детали, дал возможность осознать ужас происходящего с человеком и человечеством. Народ игбо, пережив величайшую трагедию, нашел в себе силы вернуться в лоно нормальной жизни. Однако, по мнению писателя, есть немало примеров травли и притеснений игбо, йоруба, хауса. Местничество, коррупция, спекуля-

⁴⁶ Ачебе Ч. Беженцы / Пер. с англ. Э. Шустера // Избранные произведения поэтов Африки. М.: Радуга, 1983. С. 320.

⁴⁷ По официальным данным, потери Биафры составили 3 миллиона человек – против 100 000 со стороны федеральных властей.

⁴⁸ Квашиоркор – разновидность тяжелой дистрофии на фоне недостатка белков в пищевом рационе. Болезнь обычно возникает у детей 1-4 лет в период голода.

ция нефтью, борьба с инакомыслием – в Нигерии мало что изменилось. Подтверждение можно найти в воспоминаниях К. Абани⁴⁹.

Глобализация обострила проблему идентичности. Английский язык и западная культура, довлея над нигерийскими этносами, продолжали воспроизводить вестернизированный образ жизни и стиль мышления. Язык игбо, утрачивая позиции, со временем обрел черты сакральности как инструмент познания, что нашло отражение в литературе и искусстве. Диктат партий, правящих «именем Барреля»⁵⁰, усиливал рефлексию. Атмосфера страха устойчиво присутствовала в памяти поколений. Истории о войне передавались из уст в уста. Поэт и художник Олу Огуйбе⁵¹, очевидец резни и травли игбо, запечатлел образы памяти в стихах и рисунках. Сборник под названием «Скопище страха»⁵² является отражением его воспоминаний о стране, где

*вешают поэтов и художников...
сжигают их книги...
ломают им шеи*⁵³.

Спустя годы, в 1980-х, юная Ч.Н. Адичи, слушая рассказы близких о гражданской войне, задумала стать писательницей. Реализовав мечту, она поведала миру об ужасах не ею – ими пережитого⁵⁴, ретранслировав миру свою семейную историю.

Память избирательна. Процесс вспоминания близок творчеству. Для интеллектуалов это труд, полезный и приятный. «Интроспекция выдающихся людей, писателей, мастеров слова обладает огромной силой воздействия на читателя. Проникновенность и “невыдуманность” авторского слова наряду с использованием художественных средств обусловили большую притягательность мемуаристики. С другой стороны, мемуаристике издавна присуща

⁴⁹ *Abani Ch.* Op. cit.

⁵⁰ Шойинка, В. Звонок Иосифу Бродскому в связи с делом Кена Сапо-Вивы // Text only. Сетевой журнал. Вып. 34. URL: <http://textonly.ru/mood/?issue=34&article=36033> (дата обращения – 27.02.2017).

⁵¹ Олу Огуйбе (родился в 1964 году) – поэт, публицист, историк искусства.

⁵² *Oguibe O.* A Gathering Fear. Poems with Drawings by the Author. Bayreuth, 1992. 88 pp.

⁵³ *Oguibe O.* A Song from Exile. Bayreuth, 1990. 118 pp.

⁵⁴ Адичи Ч.Н. Половина желтого солнца. М.: Фантом-Пресс, 2011. 480 с.

экспериментальная смелость и широта. Отсутствие жестких норм, диктующих способ организации произведения как эстетического целого, позволяет свободно выражать себя»⁵⁵. Именно ангажированность жанра в XXI веке привлекла внимание молодого поколения африканских авторов, весьма прагматично настроенных. Вслед за мэтрами они включились в процесс создания историй, из которых складывалась история континента.

Старшее поколение скрупулезно выстраивало хронику событий, демонстрируя жесткую логику, особенно если написание воспоминаний было мотивировано войной или борьбой за освобождение. Следовало восполнить пробелы, уйти от европоцентристского взгляда на Африку. На смену событийному изложению пришли рефлексия и самоанализ. Молодое поколение сформировало своеобразную стенограмму памяти – некую систему кодов в стиле постмодернизма. Необходимость в них существовала и усиливалась по мере того, как происходил переход от сигналов и знаков к смыслу. Благодаря молодым на смену героям эпохи освобождения пришли другие герои – борцы за свободу и права человека, профессионалы, добивающиеся успеха. Начался процесс десакрализации истории, заметно расширились ее границы.

В условиях либерализации, демократизации, медиатизации по мере роста образовательного уровня населения и растущего пренебрежения условностями осознание истории и себя в истории шло на разных социально-профессиональных уровнях – в среде политических и государственных деятелей, звезд шоу-бизнеса, писателей, ученых, художников и просто обычных людей. На рубеже XX-XXI веков любой человек, в той или иной мере осознавший свою самость (на уровне восприятия себя и своего тела), мог выставить на потребу публики собственную историю, тем самым посягнув на права тех, кого Аби Вабург (1866-1929 гг.) – один из интереснейших мыслителей рубежа XIX-XX веков – относил к «сообществу вспоминающих»⁵⁶, чья профессиональная деятельность так или иначе была связана с традициями приумножения и хране-

⁵⁵ Кириллова Е.Л. Мемуаристика как метажанр и ее жанровые модификации // Каталог статей и учебных пособий «JourClub». URL: <http://www.jourclub.ru/20/1430/> (дата обращения – 20.02.2017).

⁵⁶ Warburg A.M. Ausgewahlte Schriften und Wurdigungen / Hg. v. D. Wuttke. Baden-Baden, 1992.

ния историко-культурной памяти, кто следовал курсом Мнемозины, матери всех Муз, сестры Хроноса и Океаноса, акцентируя внимание на воссоздании картин и событий прошлого, на постижении своей роли в истории и культуре и роли Других людей, ставших героями своего времени.

Эпоха постмодерна – «время игры» – способствовала актуализации историко-культурных сюжетов, задействовав киберпространство, а вместе с ним – гораздо более сложный и менее формализованный социально-политический (и культурный) организм, включивший десятки разных государств и миллионы людей, приобщившихся к чтению историй, призванных развенчать сложившиеся стереотипы. «И в этом конкретном и как бы всеобъемлющем хронотопе совершались раскрытие и пересмотр»⁵⁷ образа, который веками воплощала собой Африка. Эксперименты оказались удачными. Открытие молодым поколением себя и Африки (ее литературы, скульптуры, живописи, кинематографа, моды) оказалось «зримым и звучащим»⁵⁸.

«Поколение Африка»⁵⁹ («внуки Геродота») осознало возможности самоидентификации не только (и не столько) на уровне расы и этноса, сколько на уровне профессиональном. Создание Facebook (2004 г.), Twitter (2006 г.), Instagram (2010 г.) совпало по времени с их взрослением и началом профессиональной и творческой активности. «AfriGen» – термин, широко используемый в сетях как хэштег (знак, марка, пароль), – в немалой степени способствовал актуализации историй, рассказанных молодыми профессионалами. Существует даже проект создания Африпедии – свободной сетевой энциклопедии по истории и культуре континента; у истоков этого проекта стоят опытные литераторы и блогеры.

Освоение киберпространства шло параллельно с отказом от экзотизма. Уход от него показал, что литературная экосистема, в границах которой в настоящее время представлены, по крайней мере, три поколения авторов (1930-1990-х годов рождения), вполне может быть интеллектуальной. Стилистика повествования, направленная на самораскрытие, самоопределение, самопрезентацию

⁵⁷ Бахтин М.М. *Формы времени и хронотопа* в романе.

⁵⁸ Там же.

⁵⁹ «Поколение Африка» – «AfriGen», «African Generation» – поколение, объединившее родившихся преимущественно в 1980-х годах.

и даже самовосхваление, оказалась востребована широкой аудиторией читателей и пользователей Интернета. Типичные «культурные гибриды»⁶⁰, в сфере новых коммуникаций молодые авторы охотно позиционируют себя во взаимосвязи с мировой, континентальной и региональной историей. Писательница Тайе Селаси⁶¹, обращаясь к теме своей семьи и нигерийско-ганской идентичности, провоцирует дебаты о новом прочтении панафриканизма и афроцентризма. Минна Салами⁶² (ее отец – нигериец; мать – финка) в своих авторских материалах освещает множество проблем «от полигамии до феминизма», полагаясь на собственный опыт и исследовательские парадигмы. Ее блог (MsAfropolitan), основанный в 2010 году, очень популярен, чему способствует блестящее образование, полученное в лучших университетах Европы и США. М. Салами в совершенстве владеет пятью языками, что позволяет ей апеллировать к международной аудитории.

Как и старшее поколение, молодежь использует дидактические приемы, мотивы исповеди и проповеди, поучая, просвещая, наставляя и одновременно репродуцируя (на уровне рекламы) свой образ жизни и стиль мышления.

«Поколение Африка» под воздействием постмодернизма подвергло ревизии пространство истории и культуры, инициировав переосмысление идентичности во взаимосвязи с проблемами истории и культуры континента и диаспоры. Поиски формы и стиля привели к созданию нового – синтетического – жанра. Он вместили в себя автобиографический роман, балладу, жизнеописание, ироничное эссе – на грани фарса, трагедию и комедию. За пределами литературной традиции (в виртуальном измерении) новый жанр расширил формат, преодолев границы пространства и времени благодаря Ч.Н. Адичи, Т. Селаси, Динау Менгисту⁶³; Олуфемии Терри⁶⁴, Новай-

⁶⁰ Selasi T. Bye-Bye Babar. March 3, 2005 // The LIP Magazine. URL: <http://thelip.robertsharp.co.uk/?p=76> (дата обращения: 29.01.2017).

⁶¹ Тайе Селаси (родилась в Лондоне в 1979 г.) – англо-американская писательница, автор термина «афрополитизм».

⁶² Минна Салами (родилась в 1978 г. в Финляндии) – публицист, журналист, блогер.

⁶³ Динау Менгисту (Дино Менджесту) (родился в Эфиопии в 1978 г.) – писатель, журналист; его называют «восходящей звездой» американской литературы.

олет Булавайо⁶⁵, Хелен Ойейеми⁶⁶, Алену Мабанку⁶⁷ и другим авторам, чья мотивация заключалась не просто в том, чтобы продолжить традицию отцов, а чтобы преуспеть и стать если не победителями, то, по крайней мере, лучшими в плане научной аргументации и презентации Африки (и себя) на международной арене.

Рубеж XX-XXI и особенно начало XXI века ознаменовалось вхождением в африканскую литературу целой плеяды писателей-женщин. В Нигерии и других странах континента женщины – рассказчицы, хранительницы не только семейной истории, но и различного рода кодовых и знаковых систем, в том числе, например, тайнописи народа игбо (ули), которая легла в основу одного из самых известных направлений современного трансвангардного искусства, дав ему название – улизм. Устами женщин истории передавались от поколения к поколению, при этом они не были исключительно «женскими». Не удивительно, что в настоящее время из сферы гуманитарных знаний женщины («дочери Геродота») вытесняют мужчин. Проявляя мужество там, где сильный пол склонен проявлять слабость, например, перед лицом власти, в условиях диктаторских режимов, травли и преследований, они – вслед за Ю. Кристевой – ставят вопрос об ограниченности «андроцентричной картины мира» и его ценностных ориентаций⁶⁸, об опасности единомыслия.

Показателен фрагмент выступления Ч.Н. Адичи на TED TALKS об опасности одной-единственной (однозначной) истории. В переводе с английского языка он представлен в сборнике «История Африки: люди и судьбы»⁶⁹. В своей речи писательница акцен-

⁶⁴ Олуфемии Терри – писатель; родился в Сьерра-Леоне, вырос в Нигерии.

⁶⁵ Новайолет Булавайо (родилась в 1981 г. в Зимбабве) – писательница.

⁶⁶ Хелен Ойейеми (родилась в 1984 г. в Нигерии) – британская писательница; ее относят к числу самых одаренных молодых авторов; с 2014 г. живет в Праге (Чехия).

⁶⁷ Ален Мабанку (родился в 1966 г. в Республике Конго) – писатель.

⁶⁸ Кристева Ю. *Selected Works: The Destruction of Poetics* // Сайт «Центр лингвистических исследований мировой поэзии». URL: http://plr.iling-ran.ru/upload/book_files/kristeva_izbrannyye_trudy.pdf (дата обращения: 24.01.2017).

⁶⁹ Адичи Ч.Н. *Опасность одной единственной истории* // История Африки: люди и судьбы. Сборник документов и материалов. Ярославль: ЯрГУ, 2016. С. 12-21.

тировала внимание на том, как стереотипы восприятия влияют на процесс создания и ретрансляции истории. По ее мнению, многообразие смыслов могло бы обогатить историю: «Много историй гораздо более значимы. Истории всегда использовались, чтобы поработить и оклеветать, но могут быть также использованы в деле либерализации и гуманизма. Истории могут ущемлять достоинство народа, но есть истории, которые могут восстановить его и упрочить»⁷⁰. Все вместе они формируют текстуру исторической памяти – памяти поколений.

К «портретной галерее» создателей многочисленных историй, формирующих образ континента, вполне применимы слова Л.П. Репиной о том, что в ней «нашлось место и для крупных исторических деятелей, и для лихих авантюристов, и для знаменитых писателей, и для образов святых»⁷¹. Будучи отражением семейной и индивидуальной памяти, произведения, написанные африканцами, в значительной степени основаны на субъективном и эмоциональном восприятии прошлого, без которого немислимо его рациональное осмысление. Преимущественно это истории «борьбы и страданий». Коллективная память вместила в себя вековой трагический опыт. Тем не менее «местом памяти», где, по выражению П. Нора, «память кристаллизуется и находит свое убежище»⁷², является некая общая для всех многоликая Африка; Египет и Эфиопия, с которыми ассоциируются представления о прародине человечества и древних цивилизациях; города Ифе или Ибадан – центры традиционной культуры йоруба; героические истории гриотов или просто «кухня чьей-нибудь тетушки»⁷³ – с ее ритмами, ароматами и вкусом домашней снеди.

Африканцы вырвались из «оранжевого гетто»⁷⁴ первых серийных (преимущественно англо-американских) изданий, тиражирующих литературу континента, которая воспринималась как не-

⁷⁰ Там же. С. 20.

⁷¹ Репина Л.П. Вместо Предисловия: личность и общество, или История в биографиях// История через личность: историческая биография сегодня / ред. Л.П. Репина. М.: Кругъ, 2005. С. 5-16.

⁷² Нора П. Проблематика мест памяти.

⁷³ Selasi T. Bye-Bye Babar.

⁷⁴ «Оранжевое гетто» – так В. Шойинка называл первые англо-американские выпуски серий африканской литературы, обложки которых были оранжевыми.

что эксклюзивное. Произведения современных авторов широко тиражируются в мире и переведены на десятки языков. В 2013 году вышла в свет антология «Африканские жизнеописания»⁷⁵ под редакцией американского исследователя Джефа Вайснера⁷⁶, уникальное издание, включившее 48 историй (из первых уст). Сбор материалов велся по разным странам. В числе авторов – 33 мужчины и 15 женщин. На русский язык, кроме автобиографии К. Нкрумы, ни полностью, ни фрагментарно (за исключением нескольких речей П. Лумумбы и нескольких страниц из путешествий Ибн Батуты – фрагментарно) не переведено ни одно из вошедших в книгу произведений. Между тем в основном они принадлежат лучшим из лучших, тем, кто, возложив на себя «бремя подлинности», даровал широкой аудитории правду об Африке.

Нельзя не согласиться с Л.П. Репиной в том, что «история – прежде всего способ самопознания и самоидентификации общества», которая «в разные исторические эпохи облекалась в самые разные формы – мифа, эпоса, священного предания», что только в обществах эпохи модерна она выступает как «рациональное научное знание, ориентированное на поиск истины и опирающееся на правила исторической критики и общепринятые критерии достоверности»; и «поскольку история всегда является ответом на потребности общества, она обречена на постоянное переписывание»⁷⁷. Все это видно на примере изучения Африки, где противостояние евроцентризма и афроцентризма породило такое явление, как афрополитизм⁷⁸.

⁷⁵ African Lives: An Anthology of Memoirs and Autobiographies. Geoff Wisner (ed.). Boulder, Colorado: Lynne Rienner, 2013. 401 p.

⁷⁶ Джеф Вайснер – выпускник Гарвардского университета; публицист, литературный критик; автор книги «Корзина с листьями: 99 книг, которые хранят дух Африки»; сотрудничает с рядом журналов, в числе которых “The Christian Science Monitor”, “Transition Magazine”, “Boston Globe”, “Wall Street Journal”, “Wild Earth”.

⁷⁷ Ретина Л.П. История исторического знания: пособие для вузов / Л.П. Репина, В.В. Зверева, М.Ю. Парамонова. 2-е изд. М.: Дрофа, 2006. 288 с.

⁷⁸ Афрополитизм возник в XXI веке в среде молодых африканских профессионалов, амбициозных и ориентированных на карьерный рост, заявивших о своей готовности противопоставить себя космополитам и таким образом бросивших вызов старшему поколению. С одной стороны, афрополитизм можно рассматривать как альтернативу космополитизму, а с другой – как его разновидность, космополитизм с африканскими кор-

Поиски новой парадигмы в эпоху постмодерна ведутся «в тех направлениях, которые ставят во главу угла категорию культуры, что приводит к изменениям в предметном поле, концептуальном аппарате и методологической базе исторического исследования»⁷⁹. Процесс выстраивания причинно-следственных связей происходит на уровне профессиональной истории. В границах африканских исследований особую роль играют проблемы подлинности и исторического воображения, а также способность противостоять предубеждениям и стереотипам. «Своеобразное воссоединение истории с литературой»⁸⁰ замкнуло гуманитарные знания в рамках единого пространства повествования – в поле напряжения, созданного теми, кого по праву можно считать наследниками Геродота. Писатели бросили вызов историкам, сделав их заложниками социально-культурной антропологии. Ответом может стать актуализация исследований на уровне университетской и академической науки.

нями. По сути он представляет собой идею (или комплекс идей), философию (и эстетику), исследовательскую парадигму, пришедшую на смену европоцентризму и афроцентризму, панафриканизму и негритуду. Афрополитизм рассматривается и как новая трансконтинентальная идентичность, формирование которой связано с актуализацией деятельности молодых интеллектуалов, прежде всего писателей, позиционирующих себя в киберпространстве как «поколение Африка».

⁷⁹ Ретина Л.П. История исторического знания. С. 277.

⁸⁰ Там же. С. 278.

Арно Бауеркемпер

НА ПУТИ К «ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ ПАМЯТИ»?

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕБАТЫ И ИСТОРИКО-НАУЧНЫЕ ВЫВОДЫ

В условиях развития Европы последних лет, которое было отмечено как несколькими раундами расширения, так и углублением финансового кризиса, стали все громче звучать призывы совместно взглянуть на европейскую историю для того, чтобы дать новые оценки прежде всего истории диктатур, геноцидов – особенно Холокоста – и Второй мировой войны. Отдельные политики, журналисты и ученые выступили с категорическим требованием общей культуры памяти, которая должна стать основой коллективной европейской идентичности. Звучали единичные требования – предварять вступление в ЕС критическим осмыслением собственной истории, как это, например, проявилось на переговорах с Турцией, чье правительство сегодня не признает события 1915 г. в Армении геноцидом. Проводится мысль, что критическое рассмотрение собственного прошлого является предпосылкой для демократизации.

Европейцев, которые пострадали в период господства национал-социализма, находясь на оккупированных территориях, в первые послевоенные годы объединяло отмежевание от послевоенной Германии. Следует учитывать также, что различные пласты памяти в отдельных странах не полностью изолированы. Скорее всего, уже в 1950-е гг. происходил трансграничный обмен между европейскими обществами. Он вовсе не ограничивался дипломатическими отношениями между правительствами и, соответственно, многосторонними политическими переговорами о компенсации жертвам. Более того, в 1970-е гг. в Западной Европе уже возник широкий спектр трансграничных взаимодействий: от инициатив церкви к примирению и научного сотрудничества до обмена в сфере организаций гражданского общества, таких как спортивные клубы, союзы ветеранов и объединения в сфере культуры. Уже в первые послевоенные годы, благодаря партнерству европейских городов, когда еще не были возобновлены межгосударственные отношения, стали возможны информационные контакты между подданными прежде враждебных государств. Начавшаяся политика разрядки вызвала про-

должительную дискуссию по поводу недавней истории, а также о границе конфронтации между Востоком и Западом.

Несмотря на эти разнообразные, преодолевающие границы контакты, воспоминания европейцев оставались довольно разноплановыми. Уже на первый взгляд видны неисчислимые противоречия между западноевропейскими странами и членами ЕС из центрально- и восточноевропейских государств, которые несут на себе устойчивый отпечаток господства национал-социализма в годы Второй мировой войны, советской гегемонии и коммунистической диктатуры в течение последующих четырех десятилетий. В этой связи в рамках исторической памяти завершение войны воспринималось не только как освобождение, но и как начало новой фазы оккупации и репрессий. Эти различные интерпретации истории вели к напряженности между современной Россией и входившими до 1989-1991 гг. в состав Советского Союза государствами. В то время как в российской культуре памяти с 1990-х гг. оценка коммунистической диктатуры, а иногда даже сталинского террора, не поддается точному определению, правительства стран Центральной и Восточной Европы отмечают, что их государства подвергались возрастающему давлению со стороны СССР, и требуют признания преступлений коммунистического режима.

Сверх того, национальные культуры памяти в отдельных европейских государствах демонстрируют особую настойчивость. Так, большинство европейских обществ, среди которых оба немецких государства и Австрия, прежде всего оплакивали собственные жертвы. К тому же во многих государствах культивировалась героическая культура воспоминаний, которая возвеличивала героическое национальное противостояние немецкой оккупации.

Например, политические элиты в Италии и Франции сделали фокусом исторической памяти движение Сопротивления, а именно Resistance, в то время как формы сотрудничества с оккупационным режимом «Третьего рейха» или адаптации к нему не актуализировались. Сходным образом действовали норвежские политики, которые маскировали свое неприятие оккупационных властей под позиционное противостояние (holdningskamp), вытесняя из памяти сотрудничество с немцами. Но эти формы европейского коллаборационизма нельзя рассматривать изолированно от проводимой нацистами общей политики истребления, поэтому они в ФРГ

вплоть до 1970-х годов не признавались или недооценивались в качестве границы между «тоталитарными» диктатурами и движениями, определявшимися в ГДР как «антифашистские».

Внутри европейских национальных государств политика памяти правительств и элит отличается от воспоминаний отдельных граждан и общественных групп, что особенно присуще коммунистическим диктатурам Центральной и Восточной Европы. Официальные особенности воспоминания и табуирования там были такими жесткими и односторонними, что они часто вызывающе противоречили коллективным воспоминаниям малых групп (прежде всего семей). Однако и в европейских демократиях политика памяти элиты иногда проводилась вопреки коммуникативной памяти. Так, затушевывалось противостояние коллаборационизма и Сопротивления в рамках форм повседневного общения с немецкими оккупантами, связанного с личными отношениями между немецкими захватчиками и местным населением. Знания, полученные в ходе школьного обучения, нередко противоречили воспоминаниям собственных родителей, бабушек и дедушек. К тому же до 1970-х гг. убийство европейских евреев едва лишь начали рассматривать и обсуждать в качестве катастрофы как в Европе, так и за ее пределами, или же этим вовсе пренебрегали.

Между тем, прежде всего в Западной и Центральной Европе национал-героические мотивы все чаще заслонялись ориентированными на жертвы нарративами памяти, которые опирались на универсальные нормы, прежде всего на права человека. Хотя это явление наблюдалось отнюдь не постоянно и не повсюду. Более того, сегодня внутри отдельных государств ведутся исторические дискуссии, в рамках которых различные личности и группы спорят об описаниях, интерпретациях и смыслах. При этом история становится аргументом политической легитимности, а свои притязания она должна обосновывать поддержкой общества. Европейская память несет на себе отпечаток многочисленных конфликтов как на межгосударственном уровне, так и внутри национальных обществ.

Эти дискуссии отражаются в особо компромиссных формулировках решений европейских институтов. Так, например, проект резолюции Европарламента в Брюсселе 2004-2005 гг. о польских парламентариях очень сильно критиковали потому, что Аушвиц был некорректно назван «польским концентрационным лагерем».

К тому же немецкие депутаты выступили против идентификации своей страны с этим концентрационным лагерем. Напоследок в связи с Днем памяти Холокоста, который отмечался 27 января 2005 г., парламент принял резолюцию, где была достигнута договоренность – называть Аушвиц-Биркенау «лагерем смерти “Todeslager”», который был основан нацистской Германией.

Планируется, что проектом, который призван внести вклад в преодоление конфликта европейской памяти, является создание «Дома европейской истории» в Брюсселе. Содержательная «европеизация» воспоминаний оспаривается институтами Европейского союза, что иллюстрирует спор о музее между Европейской комиссией и Европейским советом. Так, Хансу Герту Пёттерингу, тогдашнему президенту Европарламента, и другим инициаторам проекта приписывалось намерение создать и обеспечить единую позицию в интерпретации истории Европы. Они предлагали альтернативу концепту децентрализации, поддержанному европейскими музеями, которые были ориентированы на освещение локальной, региональной или национальной истории. Они считали, что таким образом должны выявляться противоречия или даже антагонизмы мест памяти Европейского союза. Концепция постоянной экспозиции, которая в скором времени должна открыться, также вызвала возражения у представителей отдельных государств – членов ЕС. Так, польские депутаты Европарламента не согласились с точкой зрения, направленной на элиминацию собственной национальной истории в рамках ее общеевропейской версии.

В любом случае, на заднем плане этого конфликта просматривается осмысленная политика памяти ЕС, которая иницирует и требует критического рассмотрения истории диктатур, истребления народов и Второй мировой войны. Открытый, без обозначения четких пространственных границ, и недостаточно институализированный обмен различными, а отчасти и противоположными воспоминаниями, может стать вкладом в критическое осмысление собственного прошлого. В какой мере «Домом европейской истории» будет поддерживаться процесс (само)критичного, транснационального рассмотрения отмеченных насилием диктатур и войн, а также история континента, связанная с интеграцией и примирением, – это вопрос будущего.

Перевод с немецкого Н.В. Ростиславлевой

АННОТАЦИИ

О.В. Воробьева

**Профессиональная историография и историческая память:
аспекты взаимодействия**

В статье поставлена проблема взаимодействия истории и памяти в исторической ретроспективе, а также показаны современные проблемные узлы этого взаимодействия. Автор демонстрирует дифференцированный и изменчивый характер исторической памяти, ее постоянное обновление, воспроизведение, проверку и трансформацию, в том числе при помощи историографии. Одним из наиболее ярких примеров этого является воздействие профессиональной историографии на память при решении задач нациостроительства. Подчеркивается телеологическая направленность такой историографии, ее приверженность мифотворчеству, взаимосвязь с типом исторической культуры и тем самым акцентируется наличие у историков внешних ограничителей, накладываемых обществом и культурой и требующих обязательного изучения. К числу современных проблем взаимодействия историографии и памяти автор относит резкое сокращение временного лага между моментом совершения события и началом его изучения в истории; изменение места историка в обществе и появление конкурирующих контрагентов по формированию памяти. Отдельно ставится вопрос о таком традиционном контрагенте историка в его воздействии на историческую память, как художественная литература, причинах ее конкуренции с историками в воздействии на историческое сознание.

Ключевые слова: *историческая память, профессиональная историография, историография и нациостроительство, агенты исторической памяти.*

А.А. Линченко

**Историческая наука как фактор демифологизации
исторической культуры: философско-методологический аспект**

На основе культурно-исторической теории деятельности и деятельностного подхода в статье предпринимается попытка философского анализа проблемы демифологизации исторической культуры. Избранная методология позволила выделить познавательную, ценностную и практическую стратегии демифологизации исторической культуры. Автор приходит к выводу, что с позиций постнеклассического понимания научной рациональности есть основания для оптимистической оценки возможностей исторической науки в демифологизации исторической культуры. Однако это представляется возможным только в контексте трансформации эпистемологических критериев получения и верификации научного исторического знания в критерии социокультурные, позволяющие не столько устранять элементы мифологического из исторической культуры, сколько выявлять их подлинное место в ней, открывать возможности их включения в рациональный контекст исторической культуры, делать их частью общественной рациональной рефлексии и деятельности.

Ключевые слова: историческая культура, историческое сознание, историческая наука, демифологизация, социальный миф, деятельностный подход.

С.Е. Эрлих

Три в одном. Нарративы памяти, идентичности и этики

Коллективная память, идентичность и этика основываются на нарративах волшебной сказки, героического мифа и мифа самопожертвования. Нарратив волшебной сказки поддерживает эгоистическую цель захватить добычу и вернуться домой. На основе этого нарратива возможно сплотить только ограниченные коллективы родственников. Борьба за добычу превращается в источник бесконечной войны всех против всех. Антропологические исследования показывают, что средний уровень насилия в догосударственных обществах выше, чем в государственных образованиях. Нарратив героического мифа сочетает альтруизм и эгоизм, заботу о «своих» с ненавистью к «чужим». Он является основанием не только для древних и средневековых государств, но и для современного государства-нации. Героический миф

уменьшает уровень внутригосударственного насилия и в тоже время способствует внешней агрессии. В ядерную эпоху он становится постоянной угрозой человечеству. Альтруистический миф самопожертвования устраняет государственные границы, рассматривая всех людей в качестве братьев, отрицая понятие «чужие». Этот нарратив памяти, идентичности и этики провозглашает цель помощи людям независимо от их расы, религии, этничности и т.д. Усвоение нарратива самопожертвования становится важным инструментом предупреждения насилия в глобальном сообществе формирующейся информационной цивилизации. Миф самопожертвования служит основой феномена глобальной памяти, которая сочувствует жертвам всех преступлений мировой истории. Продвижение идей глобальной памяти должно стать одной из целей сообщества исследователей памяти.

Ключевые слова: коллективная идентичность, локальная, национальная, глобальная память, нарративы памяти, волшебная сказка, героический миф, миф самопожертвования.

А.В. Святославский

Между вымыслом и реальностью: художественная литература и публицистика как исторический источник

Предметом работы стала оценка возможностей использования произведений художественной литературы и публицистики в качестве исторического источника. Автором привлечен разнообразный фактический материал, представленный дискуссиями в истории литературы XIX–XX вв. вокруг проблемы исторической верности и так называемого «искажения» исторической действительности при формировании художественных образов. Рассмотрен ряд факторов субъективного и объективного плана, создающих «зазор» между литературной и действительной реальностью. Привлечен целый ряд мнений известных ученых по проблеме формирования исторических образов в литературе и проблемам эпистемологии (А. Эйнштейн, М. Блок, П. Рикёр, В.О. Ключевский, А.Я. Гуревич, М.С. Каган и др.)

Ключевые слова: исторический источник, публицистика, художественная литература, формирование исторических образов, художественный вымысел, художественная реальность, историческая верность, эпистемология, гносеология.

И.Г. Коновалова

Историческая память в пространстве средневекового географа

Статья посвящена рассмотрению одного из аспектов исторической памяти, связанного с практикой работы средневекового автора, перед которым – как и перед современным ученым – стояла задача поиска, интерпретации и оценки сведений о прошлом, а также инкорпорации их в свою картину мира. Этот вопрос проанализирован на материале написанного в жанре всемирной географии сочинения крупнейшего средневекового арабского географа ал-Идриси «Отрада страстно желающего пересечь землю» (*Нузхат ал-муштак фй-хтирāk ал-āfāk*, 1154 г.). В статье показано, как географ определял границы своего знания, устанавливал достоверность тех или иных сведений, включаемых им в состав сочинения, сопоставлял сведения из различных источников, использовал образы прошлого при локализации тех или иных географических объектов.

Ключевые слова: историческая память, арабская география, источниковедение, ал-Идриси.

О.И. Тогоева

Исторические «секреты», или Средневековые для обывателя

Статья посвящена историческим «секретам» как проблеме современного восприятия прошлого. Автор пытается ответить на вопросы: почему конспирологические теории оказываются столь востребованными, когда речь заходит об истории, в частности, об истории средних веков; каких именно персонажей они в основном касаются; какими признаками обладает типичное конспирологическое сочинение и каким образом должны реагировать на подобные псевдонаучные работы современные историки.

Ключевые слова: история, историография, исторический «секрет», конспирологические теории, псевдоисторики.

С.И. Маловичко

Традиции истории национального историописания в российской историографической практике

В статье рассматривается проблема российской практики написания истории национальной истории второй половины XIX – начала XXI века. Для реализации поставленной задачи последовательно изучаются следующие вопросы: складывание моделей национальной историографии в классической исторической науке; формирование российской традиции истории национальной истории; актуализация вопроса об

экспертной функции источниковедения историографии. Анализируются зарубежные и российская модели написания национальных историографий, выявляются черты, присущие российской традиции написания истории национальной истории, делается вывод о том, что такая традиция нивелирует деконструирующий эффект истории истории. Отмечается, что предметное поле источниковедения историографии наделяет историю истории не только методической, но системной и экспертной функциями.

Ключевые слова: история истории, история национальной истории, функции историографии, источниковедение историографии.

О.Б. Леонтьева

Историческая память и коллективная идентичность российского/советского общества: современные подходы к изучению

В статье анализируются отечественные исследования, выполненные в русле «историографии памяти» и посвященные изучению исторического сознания советского и современного российского общества. Автор выделяет ряд ключевых вопросов, которые ставятся в таких исследованиях: что представляла собой коллективная идентичность советского общества; вокруг каких ценностей строится идентичность современных россиян; насколько устойчивыми оказались в современных условиях те формы и содержание коллективной памяти, которые сформировались в советский период. Показано, что одной из центральных исследовательских проблем становится выяснение того, как соотносились на разных исторических этапах «большой нарратив», «официальный курс» памяти – и иные, неофициальные формы памяти.

Ключевые слова: историография, историческая память, коллективная идентичность, советское общество, современное российское общество.

Н.В. Ростиславлева

Юбилей «Битвы народов» в исторической памяти России и Германии

В статье сквозь призму юбилеев «Битвы народов» 1813 г. под Лейпцигом рассматриваются особенности трансформации культуры памяти в России и Германии. Показано, что они зависят от социальных и политических запросов обеих стран. Если в XIX в. восприятие «Битвы народов» в России и Германии имело много схожих черт, то уже 100-летний юбилей продемонстрировал неодинаковые подходы обеих стран

к юбилейным торжествам, которые были «вписаны» в пространство формирования национального мифа. Особенно ярко различия в интерпретации «Битвы народов» в исторической памяти проявились в праздновании 200-летнего юбилея: в России битва под Лейпцигом была вписана в патриотический дискурс войны 1812 г, а в Германии она позиционировалась как общеевропейское событие, призванное сплотить Европейский союз.

Ключевые слова: юбилеи «Битвы народов» 1813 г., особенности трансформации исторической памяти в России и Германии.

Е.Е. Савицкий

Колониальные места памяти в Германии и в России

В статье обращается внимание на ограниченность первоначальных проектов изучения «мест памяти», лишь маргинально затрагивавших темы, связанные с колониальным прошлым. Анализируются два современных немецких проекта изучения колониальных мест памяти: «Колониальная метрополия Берлин» У. ван дер Хайдена и У. Целлера, а также «Без места под солнцем: места памяти немецкой колониальной истории» Ю. Циммерера. Особое внимание уделяется связи этих проектов с низовыми гражданскими инициативами, а также с политическими дискуссиями о колониальном прошлом в современной Германии. Немецкий опыт участия профессиональной историографии в осмыслении и конструировании политически востребованных форм публичной памяти рассматривается на предмет возможности его применения в России. Для сравнения используются также некоторые примеры, связанные с осмыслением памяти о колониальном прошлом во Франции (Колониальная выставка 1932 года) и в Великобритании (общественное движение «Родс должен пасть»).

Ключевые слова: места памяти, Россия, Германия, колонии, историография.

Е.Ю. Ванина

Историческая память побежденных: разрушение и воссоздание (колониальная Индия)

В статье рассматривается колониальная историография Индии, ее основные концепции и прежде всего – концепция «антиисторичности» индийского мышления в контексте проблемы изменения исторической памяти побежденного народа доминирующей группой победителей.

Созданные британскими индологами концепции, прежде всего «исторической амнезии» индийцев и упадка как единственной парадигмы их истории, навязывались туземцам, в то время как их собственная историческая память отрицалась как «миф». Получившей английское образование индийской элите пришлось заново «открывать» для себя собственное прошлое, и этот процесс стал важнейшей составляющей идеологии и практики национально-освободительного движения.

Ключевые слова: историческая память, историческая травма, колониализм, ориентализм, национализм, индофилия, индофобия.

Т.Г. Скороходова

**Концепция индийской истории Джодунатха Шоркара:
итоги развития исторического сознания Бенгальского Возрождения**

Курс лекций «Индия сквозь эпохи» Дж. Шоркара (Саркара) рассматривается в статье как итог интеллектуального осмысления истории страны в эпоху Бенгальского Возрождения XIX – первой трети XX в. В предложенной историком концепции индийской истории интегрированы базовые идеи и смыслы нового исторического сознания: представление об Индии как социокультурной целостности, объединяющей разные народы, религии и культуры, её векторно-ориентированное развитие, история как история народа, значимость исторического наследия Индии для всего мира. Сердцевиной концепции Дж. Шоркара стало представление о позитивной роли в истории Индии Других, создавших её достижения своими «дарами», – ариев, буддистов, мусульман, британцев. Понимание истории вырастает из признания современности как *блага* – невзирая на ее противоречия и сложности. Главный смысл образа индийской истории в лекциях Дж. Шоркара заключён в развитии через усвоение нового независимо от его источника, а не в ориентации на прошлое, которая это развитие тормозит.

Ключевые слова: Джодунатх Шоркар (Саркар), историческое сознание, Бенгальское Возрождение, образ индийской истории, роль Другого в истории.

Т.М. Гавристова

Африка и «дети Геродота»: стенограмма памяти поколений

Статья посвящена анализу африканских мемуаров. Их авторы (политические и государственные деятели, писатели, ученые) возложили на себя функцию написания истории в надежде разрушить стереотипы в

отношении к Африке как континенту «без истории». Первый африканский лауреат Нобелевской премии в области литературы Воле Шойинки назвал их «детьми Геродота». Стенограмма памяти вместила в себя борьбу за освобождение от колониального гнета, эйфорию первых лет независимости, модернизацию и метаморфозы повседневности. «История, – по словам Л.П. Репиной, – прежде всего способ самопознания и самоидентификации общества», которая «в разные в разные исторические эпохи облекалась в самые разные формы – мифа, эпоса, священного предания». В обществах эпохи модерна она выступает как «рациональное научное знание, ориентированное на поиск истины и опирающееся на правила исторической критики и общепринятые критерии достоверности»; и «поскольку история всегда является ответом на потребности общества, она обречена на постоянное переписывание». Все это видно на примере изучения Африки, где противостояние евроцентризма и афроцентризма породило такое явление, как афрополитизм. История Африки в представлении ее акторов и создателей есть прежде всего эго-история. Из личных историй складывается современная история континента. И она способна разрушить сложившиеся стереотипы.

Ключевые слова: Воле Шойинка, «Дети Геродота», африканские мемуары, персональная история, идентичность, история Африки, репрезентация истории.

Арно Бауеркемпер

На пути к «европейской культуре памяти»?

Общественно-политические дебаты и историко-научные выводы

Столкнувшись с новыми вызовами – финансовым кризисом, миграцией и глобализацией, – европейские политики и интеллектуалы призывали к созданию транснациональной идентичности, которая должна будет обеспечить стабильность и легитимность Европейского Союза. Результатом их усилий стал запрос на создание общеевропейской культуры памяти о фашистском режиме, нацистской оккупации и Холокосте. Однако, как показывает это исследование, отнюдь не самоочевидно, что создание общей европейской культуры памяти о недавнем прошлом является достижимым или по крайней мере желательным. Напротив, историками выявлено существенное разнообразие памяти о фашистских диктатурах, оккупации и массовом истреблении евреев в различных европейских государствах. Более того, предметом дискуссии стала специфика Холокоста, рассмотренного в более ши-

роком ряду геноцидов. Наконец, в Восточной Европе сложился дополнительный слой памяти – о коммунистических диктатурах, установленных после Второй мировой войны, и акцент в этих воспоминаниях ставится на репрессивную политику советской власти. Поэтому, помимо общей тенденции к формированию более самокритичной памяти, особенно в Западной и Центральной Европе, общеевропейская культура памяти мало в чем проявила себя. Тем не менее европейцы стремятся достичь соглашения по процедурам открытого трансграничного обмена различными и даже противоположными воспоминаниями. Транснациональная память о фашистских диктатурах, нацистской оккупации и Холокосте могла бы базироваться на ключевых ценностях гражданского общества, таких как эмпатия, взаимоуважение и мирное решение конфликтов, а также на знании о различиях исторического опыта, а не на хлипком соглашении о содержании иллюзорного европейского консенсуса памяти.

Ключевые слова: *европейская память, фашистские диктатуры, нацистская оккупация, Холокост, коммунистические режимы, ценности гражданского общества.*

SUMMARIES

Olga Vorobieva

Professional Historiography and Historical Memory: Aspects of Interaction

The article sets the problem of history and memory interaction in a historical retrospective. It also depicts some modern knotty problems of this interaction. The author presents the differentiated and changeable nature of historical memory, its continuous updating, reproduction, check and transformation by means of historiography as well. One of the most striking examples of this is the impact of professional historiography on memory when solving the issues of nation-building. The teleological orientation of such historiography, its commitment to myth-making, interrelation with the historical type of culture is emphasized and thus, the presence of external limiters imposed by the society and culture and demanding obligatory studying is considered. The author refers the increased reduction of a time lag between the point of performance of an event and the beginning of its studying to number of modern problems of interaction of a historiography and memory in the history; change of the historian's place in the society and emergence of the competing counterparties like Mass media, the Internet, publishing houses, Grant-making organizations, etc. The question of literature as a traditional counterparty of the historian in his impact on historical memory, the reasons of its competition with historians in respect of the impact on historical consciousness is separately considered.

Keywords: *historical memory, professional historiography, historiography and nation-building, agents of historical memory.*

Andrey Linchenko

Historical Science as a Factor of Demythologization of Historical Culture: Philosophical and Methodological Aspect

On the basis of the cultural-historical activity theory and the activity approach, the author presents a philosophic analysis of the problem of the demythologization of historical culture. The selected methodology allowed to distinguish cognitive, value and practical strategies of demythologization of historical culture. The author comes to the conclusion that from the standpoint of the post-non-classical understanding of scientific rationality there are grounds for an optimistic assessment of the possibilities of historical science in the demythologization of historical culture. However, this is possible only in the context of the transformation of the epistemological criteria for obtaining and verifying scientific historical knowledge to socio-cultural criteria that allow us not only to remove the elements of the mythological from historical culture but rather to reveal their true place in it, to discover the possibilities for incorporating them into the rational context of historical culture, and to make them part of the social rational reflection and activity.

Keywords: *historical culture, historical consciousness, historical science, demythologization, social myth, activity approach.*

Sergey Ehrlich

Three in One. Narratives of Memory, Identity, and Ethics

The collective memory, identity and ethics are based on narratives of the fairy tale, the heroic myth, and the myth of self-sacrifice. The fairy tale narrative supports an egoistic aim to get pray and return home. Based on that such narrative permits to unite only limited number of relatives. The competition for pray turns into the source of infinite war of all against all. Anthropological research shows that the average level of violence in the tribal societies is greater than in the state societies. The heroic myth narrative combines altruism and egoism, the care of your “own” and the hate of “others”. It serves as a foundation not only for the Ancient and Medieval states, but for the Modern nation-state as well. The heroic myth diminishes the level of violation in the state and at the same time supports the external aggressions. During the nuclear

era it turns to the permanent threat to humanity. The altruistic myth of self-sacrifice goes beyond the national borders by regarding all people as brothers, eliminates the meaning “the others”. This narrative of memory, identity, and ethics is promoting the aim of helping people regardless of their race, religion, ethnicity and so on. Adoption of a self-sacrifice narrative becomes an important instrument in prevention of violence in the global community in emerging of the “information society”. The myth of self-sacrifice serves as a foundation of the global memory phenomenon, which compassioned towards all victims of World history crimes. The promoting ideas of the global memory should become one of the aims of the memory studies community.

Keywords: *collective identity, local, national, global memory, memory's narratives, fairy tale, heroic myth, myth of self-sacrifice.*

Alexey Svyatoslavsky

Between Fantasy and Reality: Fiction and Publicism as Historical Sources

The subject of the work is an assessment of using the possibilities of fiction and journalism as historical sources. The author involved a variety of factual material, presented by discussions in the history of literature of the XIX-XX centuries around the problem of historical correctness and the so-called “distortion” of historical reality while forming the images. A number of subjective and objective factors that create a “gap” between literary and historical reality is considered. A number of opinions of well-known scientists on the problem of the historical images formation in literature and problems of epistemology (Albert Einstein, Marc Bloch, Paul Ricoeur, V.O. Klyuchevsky, A.Ya. Gurevich, M.S. Kagan, etc.) has been attracted.

Keywords: *historical source, historical correctness, fiction, publicism, image formation, artistic reality, epistemology.*

Irina Kononova

Historical Memory in the Space of Medieval Geographer

The paper is devoted to one of the aspects of historical memory related to the practice of the medieval author, who, just like modern scientists, had to find, interpret and evaluate information about the past, and incorporate it into his own world picture. This issue is analyzed on the

basis of the work of the greatest medieval Arab geographer, al-Idrīsī, “The Amusement of Him Who Desires to Traverse the Earth” (*Kitāb Nuzhat al-mushtāq fī-khtirāq al-āfāq*, 1154). It is demonstrated how the geographer defined the boundaries of his knowledge, established the reliability of certain information included in his composition, compared information from various sources, and used images of the past to localize geographical objects.

Keywords: *historical memory, Medieval Arab geography, source studies, al-Idrīsī.*

Olga Togoeva

Historical “Secrets”, or a Usable History of the Middles Ages for Everyone

The article deals with the historical “secrets” as a phenomenon of the modern perception of the past. The author tries to answer the questions why the conspiracy theories are so demanded when it comes to history, in particular, to the history of the Middle Ages; which persons they mostly relate; what features has a typical conspiracy essay; and how the modern historians may respond to such pseudo-scientific works.

Keywords: *history, historical research, historical “secret”, conspiracy theories, pseudo-historians.*

Sergei Malovichko

The Traditions of History of National History Writing in the Practice of the Russian Historiography

The article is devoted to the problems of the Russian practice of writing history of national historical writing from the midst of the 19th to the early 21st century. In order to achieve the purpose of the study, the author consistently concentrates on the following topics: formation of the models of national historiography in the classical historical studies; creation of the Russian tradition of writing history of national history; actualization of the expert option of studies of historiographical sources. The author examines the foreign and Russian models of writing national historiography and reveals the features of the Russian tradition of writing history of national historical writing; he comes to the conclusion that the given tradition nullifies the deconstructing effect of the history of historical writing. He points that the area of research of

the studies of historiographical sources provides the history of historical writing with not only methodical but also system and expert functions.

Keywords: *history of historical writing, history of national history writing, functions of historiography, studies of historiographical sources.*

Olga Leontieva

Historical Memory and Collective Identity of the Russian/Soviet Society: Contemporary Approaches to Studying

The article contains a historiographical analysis of the Russian “memory studies” which are devoted to the examination of the historical conscience of the Soviet and contemporary Russian society. The study focuses on some key questions which are often raised in these studies: “what was the collective identity of the Soviet society?”; “which values now represent a foundation for the collective identity of Russian people?”; “are the frames and contents of the collective memory which had been formed in the Soviet times still sustainable in the contemporary Russia?” The author stresses that many scholars are particularly interested in the interrelations of the “grand narrative”, “official discourse” of memory, and the different, private forms of memory at the different historical stages.

Keywords: *historiography, historical memory, collective identity, Soviet society, contemporary Russian society.*

Natalia Rostislavleva

Anniversaries of the Battle of the Nations in the Historical Memory in Russia and Germany

Aspects of transformation in the culture of memory in Russia and Germany are described in the article from the perspective of the anniversaries of the Battle of the Nations. It is shown that these aspects depend on social and political demands in Russia and Germany. In 19th century the historical memory regarding this event in both countries had a lot of common. But already 100th anniversary of the Battle of the Nations showed considerable differences in the interpretation which were caused by the influence of national myths of respective countries. On 200th anniversary the differences in the interpretation broadened. In Russia the Battle of the Nations was attached to the historical memory

of the Patriotic War of 1812 (French invasion of Russia of 1812) but in Germany the Battle of the Nations was regarded as a Europe-wide event which served to consolidation of the European Union.

Keywords: *anniversaries of the Battle of Nations 1813, aspects of transformation of the historical memory in Russia and Germany.*

Eugeny Savitsky

Colonial sites of memory in Germany and Russia

This article makes attention to the limits of the first projects studying the “lieux de memoire” in France and Germany, where colonial experiences were only marginally represented. Two recent German projects were studied as an attempt to study the colonial sites of memory in Germany: «The Colonial Metropolis Berlin» («Kolonialmetropole Berlin») ed. by U. van der Heyden and J. Zeller, as well as «No Place under the Sun: The Sites of German Colonial Memory» («Kein Platz an der Sonne: Erinnerungsorte der deutschen Kolonialgeschichte») ed. by J. Zimmerer. Particular attention was given to the links of these projects with the grass-root civil initiatives as well as with the German political debates about the colonial past. Experiences of the German historiography in rethinking and constructing politically relevant issues of public memory are considered as partially usable in working with the Russian history. For comparison examples from other European countries are also used, namely of the Colonial exhibition of 1932 in France as a site of memory and of the civil movement «Rhodes Must Fall» in the UK.

Keywords: *sites of memory, Russia, Germany, colonies, historiography/*

Eugenia Vanina

The Historical Memory of the Defeated: Destruction and Re-Creation (Colonial India)

The paper discusses colonial historiography of India and its major concepts like “ahistoricity” of the Indian mentality within the context of changing historical memory of the vanquished people by the dominating victors. The British concepts, first and foremost of India’s “historical amnesia” and degradation as major paradigm of its historical

evolution, were imposed upon the natives while their own historical memory was denigrated as “myth”. The English-educated Indian elite had to “rediscover” the past of its own country, and this process emerged as a pivotal component of the ideology and practice of the nationalist movement.

Keywords: *historical memory, historical trauma, colonialism, orientalism, nationalism, Indophobia, Indophilia.*

Tatiana Skorokhodova

Jadunath Sarkar's Conception of Indian History: The Result of Development of Historical Consciousness in the Bengal Renaissance

Lectures “India through the Ages” by Jadunath Sarkar are interpreted as the result of intellectual comprehension on the country's history in the Bengal Renaissance of the XIX – the early XX century. Professional historian offers the conception of Indian history, in which had integrated basic ideas and meanings of new historical consciousness: idea of India's sociocultural integrity which is able to unite different peoples, religions, and cultures; its vector-oriented development from ancient times to Modernity; cultural and spiritual heritage which is meaningful for the whole world; a history of India was interpreted as history of people. The core of Jadunath Sarkar's conception is an idea of a positive role of the Others in Indian history: they have created her achievements by their own gifts. The Others are Aryans, Buddhists, Muslims and the English. The understanding of Indian history by Jadunath Sarkar grows from understanding of Modernity as the good, notwithstanding its controversies and difficulties. Therefore, the main meaning of Indian history is the development through imbibing of the new, independently of its sources.

Keywords: *historical consciousness, Bengal Renaissance, Jadunath Sarkar, image of Indian history, role of the Other in history.*

Tatiana Gavristova

Africa and the "Children of Herodotus": A Transcript of the Memory of Generations

The article is dedicated to the analysis of African memoirs. Their authors (political leaders, writers, scholars) have entrusted themselves with the function of writing history in the hope of destroying

stereotypes regarding Africa as a continent “without history”. The first African Nobel laureate in literature Wole Soyinka had called them “the Children of Herodotus”. The transcript of memory had included the struggle against colonial oppression, the euphoria of the first years of independence, modernization and metamorphosis of everyday life.

“History – according to L.P. Repina – above all, is a way of self-knowledge and self-identification of society. It has been enveloped in various forms - myth, epic, sacred tradition - in different historical epochs”. In societies of the modern era, it acts as “rational scientific knowledge, oriented to the search for truth and based on the rules of historical criticism and generally accepted criteria of reliability”. Thanks that “history is always a response to the needs of society, it is doomed to constant rewriting”. All this can be seen from African Studies, where the confrontation between Eurocentrism and Afrocentrism gave birth to such a phenomenon as Afropoliticism. The history of Africa in the representation of its actors and creators is primarily an ego-story. The contemporary history of the continent is formed as a amount of personal stories. And it is able to destroy the stereotypes.

Keywords: *Wole Soyinka, “Children of Herodotus”, African Memoirs, personal history, identity, history of Africa, representation of history.*

Arnd Bauerkämper

Towards a “European culture of memory”: Public and Political Controversies and Historical Insights

Faced with the new challenges of financial crisis, migration and globalization, politicians and intellectuals throughout Europe have called for a transnational identity that is to lend the European Union stability and legitimacy. These efforts have resulted in demands for a common European memory culture of fascist rule, Nazi occupation and the Holocaust. As this contribution demonstrates, however, it is by no means self-evident that a common European memory culture of the recent past is feasible or even desirable. On the contrary, historiography has highlighted the very diversity of the experiences and memories of fascist dictatorships, occupation and the mass extermination of the Jews in the various European states. Moreover, the specificity of the Holocaust in a wider range of genocides has been discussed. Not least,

the Communist dictatorships that were established after the Second World War have added another layer of memories in Eastern Europe, emphasizing persecution under Soviet rule. Apart from a general trend towards more self-critical memories, especially in Western and Central Europe, a common European memory culture is therefore not discernible. Yet Europeans are to agree on the procedures of an open cross-border exchange of different and even opposing memories. A transnational memory of fascist dictatorships, Nazi occupation and the Holocaust should be based on key civic values such as empathy, mutual respect and the peaceful resolution of conflicts as well as knowledge of the diverse historical experiences rather than a shaky agreement on the content of an illusionary European memory consensus.

Keywords: *European memory, fascist dictatorships, Nazi occupation, Holocaust, communist regimes, civic values.*

ОБ АВТОРАХ

БАУЕРКЕМПЕР Арнд, профессор Института Фридриха Мейнеке факультета истории и культурологии Свободного университета Берлина, Германия

ВАНИНА Евгения Юрьевна, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института Востоковедения РАН, Москва

ВОРОБЬЕВА Ольга Владимировна, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник, руководитель Центра сравнительной истории и теории цивилизаций Института всеобщей истории Российской академии наук; доцент кафедры теории и истории гуманитарного знания Российского государственного гуманитарного университета, Москва

ГАВРИСТОВА Татьяна Михайловна, доктор исторических наук, профессор, зав. лабораторией африканистики и востоковедения кафедры всеобщей истории Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова

КОНОВАЛОВА Ирина Геннадиевна, доктор исторических наук, главный научный сотрудник, заместитель директора Института всеобщей истории Российской академии наук, Москва

ЛЕОНТЬЕВА Ольга Борисовна, доктор исторических наук, профессор кафедры Российской истории Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева

ЛИНЧЕНКО Андрей Александрович, кандидат философских наук, доцент, научный сотрудник Липецкого филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

МАЛОВИЧКО Сергей Иванович, доктор исторических наук, профессор Государственного гуманитарно-технологического университета (Московский государственный областной гуманитарный институт), Орехово-Зуево; профессор кафедры истории и теории гуманитарного знания Российского государственного гуманитарного университета, Москва

РОСТИСЛАВЛЕВА Наталья Васильевна, доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории Российского государственного гуманитарного университета; профессор кафедры теологии Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», Москва

САВИЦКИЙ Евгений Евгеньевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и теории Отделения социокультурных исследований Российского государственного гуманитарного университета; старший научный сотрудник Центра истории и теории цивилизаций Института всеобщей истории Российской академии наук, Москва

СВЯТОСЛАВСКИЙ Алексей Владимирович, доктор культурологии, профессор Института филологии Московского педагогического государственного университета

СКОРОХОДОВА Татьяна Григорьевна, доктор философских наук, кандидат исторических наук, профессор кафедры теории и практики социальной работы Пензенского государственного университета

ТОГОЕВА Ольга Игоревна, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, Москва

ЭРЛИХ Сергей Ефроимович, доктор исторических наук, генеральный директор издательства «Нестор-История», Санкт-Петербург – Москва

ABOUT THE AUTHORS

BAUERKÄMPER Arnd, Professor, Dr., Friedrich-Meinecke-Institute of History, Department of History and Cultural Studies, Freie Universität Berlin, Germany

EHRlich Sergey, Dr.Sc. (History), General Director of the Editorial “Nestor-Historia”, Saint-Petersburg – Moscow

GAVRISTOVA Tatiana, Dr.Sc. (History), Professor, Head of the Laboratory of the African Studies and Orientalism, General History Department, P.G. Demidov Yaroslavl State University, Yaroslavl

KONOVALOVA Irina, Dr.Sc. (History), Leading Researcher, Deputy Director, Institute for World History, Russian Academy of Sciences, Moscow

LEONTIEVA Olga, Dr.Sc. (History), Professor, Department of Russian History, Samara National Research Academician S.P. Korolev University

LINCHENKO Andrey, PhD (Philosophy), Associated Professor, Researcher, Financial University under the Government of the Russian Federation, Lipetsk branch

MALOVICHKO Sergei, Dr.Sc. (History), Professor, State Humanitarian Technological University (Moscow Region State Institute of Humanities), Orekhovo-Zuyevo; Theory and History of the Humanitarian Knowledge Department, Russian State University for the Humanities, Moscow

ROSTISLAVLEVA Natalia, Dr.Sc. (History), Professor, World History Department, Russian State University for the Humanities; Professor, Theology Department, National Research Nuclear University “Moscow Engineering Physics Institute”, Moscow

SAVITSKY Eugeny, PhD in History, Associate Professor, History and Theory of Culture Department, Russian State University for the Humanities; Senior Researcher, Comparative History and Theory of Civilizations Center, Institute of World History, Russian Academy of Science, Moscow

SKOROKHODOVA Tatiana, Dr.Sc. (Philosophy), Professor, Theory and Practice of Social Work Department, Penza State University

SVYATOSLAVSKY Alexey, Dr.Sc. (Culturology), Professor, Institute of PHILOLOGY, Moscow State University of Education

TOGOEVA Olga, Dr.Sc. (History), Leading Researcher, Institute of World History, Russian Academy of Science, Moscow

VANINA Eugenia, Dr.Sc. (History), Chief Researcher, Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences, Moscow

VOROBIEVA Olga, PhD in History, Leading Researcher, Head of the Comparative History and Theory of Civilizations Center, Institute of World History, Russian Academy of Science; Associate Professor, Theory and History of the Humanitarian Knowledge Department, Russian State University for the Humanities, Moscow

CONTENTS

От редколлегии	5
----------------------	---

History and Memory: Theoretical Foundations

Vorobieva Olga. Professional Historiography and Historical Memory: Aspects of Interaction.....	9
Linchenko Andrey. Historical Science as a Factor of Demythologization of Historical Culture: Philosophical and Methodological Aspect	21
Ehrlich Sergey. Three in One. Narratives of Memory, Identity, and Ethics.....	40
Svyatoslavsky Alexey. Between Fantasy and Reality: Fiction and Publicism as Historical Sources.....	49

Practices of Historical Writing and Politics of Memory

Konovalova Irina. Historical Memory in the Space of Medieval Geographer.....	73
Togoeva Olga. Historical “Secrets”, or a Usable History of the Middles Ages.....	85
Malovichko Sergey. The Traditions of History of National History Writing in the Practice of the Russian Historiography.....	106
Leontieva Olga. Historical Memory and Collective Identity of the Russian/Soviet Society: Contemporary Approaches to Studying.....	123
Rostislavleva Natalia. Anniversaries of the Battle of the Nations in the Historical Memory in Russia and Germany.....	145
Savitsky Eugeny. Colonial Sites of Memory in Germany and Russia.....	152
Vanina Eugenia. The Historical Memory of the Defeated: Destruction and Re-Creation (Colonial India).....	165

Skorokhodova Tatiana. Jadunath Sarkar's Conception of Indian History: The Result of Development of Historical Consciousness in the Bengal Renaissance.....	181
Gavristova Tatiana. Africa and the "Children of Herodotus": Transcript of the Memory of Generations	203
Bauerkämper Arnd. Towards a "European culture of memory": Public and Political Controversies and Historical Insights.....	226
Аннотации.....	230
Summaries.....	239
Об авторах.....	248
About the Authors.....	250
Содержание.....	254

СОДЕРЖАНИЕ

От редколлегии	5
----------------------	---

История и память: теоретические основания

Воробьева О.В. Профессиональная историография и историческая память: аспекты взаимодействия.....	9
Линченко А.А. Историческая наука как фактор демифологизации исторической культуры: философско-методологический аспект.....	21
Эрлих С.Е. Три в одном. Нарративы памяти, идентичности и этики.....	40
Святославский А.В. Между вымыслом и реальностью: художественная литература и публицистика как исторический источник.....	49

Практики историописания и политика памяти

Коновалова И.Г. Историческая память в пространстве средневекового географа.....	73
Тогоева О.И. Исторические «секреты», или Средневековье для обывателя.....	85
Маловичко С.И. Традиции истории национального историописания в российской историографической практике.....	106
Леонтьева О.Б. Историческая память и коллективная идентичность российского/советского общества: современные подходы к изучению.....	123
Ростиславлева Н.В. Юбилеи «Битвы народов» в исторической памяти России и Германии.....	145
Савицкий Е.Е. Колониальные места памяти в Германии и в России.....	152

Ванина Е.Ю. Историческая память побежденных: разрушение и воссоздание (колониальная Индия).....	165
Скороходова Т.Г. Концепция индийской истории Джодунатха Шоркара: итоги развития исторического сознания Бенгальского Возрождения.....	181
Гавристова Т.М. Африка и «дети Геродота»: стенограмма памяти поколений.....	203
Бауеркемпер Арнд. На пути к «европейской культуре памяти»? Общественно-политические дебаты и историко-научные выводы	226
Аннотации.....	230
Summaries.....	239
Об авторах.....	248
About the Authors.....	250
Contents.....	252

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

ОПЫТ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

Под редакцией О.В. Воробьевой, О.Б. Леонтьевой

Корректор *М.М. Горелов*
Дизайн обложки *И.Н. Граве*

Подписано к печати 09.09.2017
Формат 60х90/16

Гарнитура Times. Печать цифровая.
Усл. печ. л. 20. Тираж 600 экз.

Издательство «Аквилон»
Тел.: +7 (968) 924-97-30
e-mail: aquilopress@gmail.com

Отпечатано в типографии
Onebook-ru ООО «САМ ПОЛИГРАФИСТ»
Москва, 109316, Волгоградский пр., дом 42, Технополис МОСКВА
Тел. +7 (495) 545-37-10
Электронная почта: info@onebook.ru
Сайт: www.onebook.ru

ISBN 978-5-906578-27-3

ISBN 978-5-906578-27-3



9 785906 578273